This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

400.3

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828

ПЕРЕЖИТОЕ
и
ПЕРЕДУМАННОЕ.

ВОСПОМИНАНІЯ

Василія Кельсіева.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатня В. Головина, у Владимірской церкви, № 15.
1868.

(81)

Hav 1400.3

HARVARD COLLEGE
Sep 29. 1933
LIBRARY

Minot Fund

ВОЗВРАТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

БИБЛІОТЕКА
РУССКОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ
Д. Г. СМИРНОВА.
въ Вильнѣ.

Пріѣздъ мой въ Яссы изъ Галичины. — Мое нравственное состояніе.—Цареградскія разочарованія и Тульчанскія неудачи. — Смерть своихъ. — Выѣздъ на Западъ. — Жизнь въ Вѣнѣ. — Впечатлѣніе политическихъ споровъ. — Результаты. — Будущность славянства. — Поѣздка въ Галичину.

1010

.....Въ Яссы я прибылъ 4 ноября 1866 г. съ твердымъ намѣреніемъ окончить въ «Голосѣ» мое «Путешествіе по Галичинѣ», и затѣмъ посвятить лѣто 1867 г. на изученіе Молдавіи и Валахіи, двухъ совершенно неизвѣстныхъ у насъ странъ. Зиму, которую мнѣ приходилось провести въ грязной столицѣ Молдавіи, собирался я просидѣть за книгами въ библіотекахъ, составить знакомство съ передовыми дѣятелями румынской національности и такимъ образомъ воспользоваться несправедливостью графа Голуховскаго, который, самъ не зная за что, изгналъ меня изъ Австріи, по одному, ни на чемъ не основанному и совершенно

не заслуженному подозрѣнію, будто я русскій агентъ.

Съ первыхъ же дней по пріѣздѣ въ Яссы, я засѣлъ за работу,—но одиночество и отсутствіе знакомыхъ, сосредоточенность и до нѣкоторой степени осѣдлая жизнь стали наводить меня на раздумье. Знакомыхъ у меня еще не было, — я почти не выходилъ изъ номера гостинницы, въ которой остановился. Чтеніе мое ограничивалось скудными произведеніями галицко-русской литературы, которыя я вывезъ съ собою изъ Австріи, изученіемъ славянскихъ граматикъ, да номерами «Голоса», которые мнѣ присылались изъ Петербурга. Въ этомъ-то уединеніи, въ этой замкнутой жизни, во мнѣ начала происходить та страшная внутренняя драма, которая кончилась возвращеніемъ моимъ въ Россію.

Отъ агитаторства, отъ всего того, что можно характеризовать общимъ, хотя не совсѣмъ вѣрнымъ, названіемъ революціонерства, я былъ вынужденъ отречься еще въ Цареградѣ, въ 1862—63 г., когда ходъ польскаго возстанія и паденіе нашихъ, такъ-называемыхъ нигилистовъ, сильно

потрясли во мнѣ вѣру въ осуществимость нашихъ идеаловъ, а близкое столкновеніе съ политическими дѣятелями и съ народомъ раскрыло мнѣ съ безпощадной ясностью невѣжество однихъ и неподготовленность другихъ. Ложь стала такъ ясна, что всякая практическая дѣятельность подъ прежнимъ знаменемъ оказалась для меня невозможной: проповѣдывать то, чему не вѣруешь, строить то, чего очевидно нельзя было построить,—было противно, было выше моихъ силъ. Возвратиться въ Россію тогда не было возможности: во-первыхъ меня ожидала бы каторга, а во-вторыхъ у меня была на плечахъ семья, которой я былъ единственной опорой и поддержкой. Люди же стали мнѣ противны,—ихъ фразы, ихъ либеральничанье, ихъ консерватизмъ и радикализмъ возмущали мнѣ душу. Я одно понималъ: что мнѣ нужно куда-нибудь уйти, въ какую-нибудь пустыню, гдѣ бы я никого не видалъ, гдѣ не слыхалъ бы фразъ и гдѣ не читалъ бы газетъ. Если бы я былъ одинокимъ человѣкомъ, я или постригся бы на Аѳонѣ, или пошелъ бы пѣшкомъ куда-нибудь въ Индію, или забрался бы куда-нибудь на Тихій Океанъ—у меня тогда была нешуточная потребность отрѣшиться отъ міра, и я могъ бы

сдѣлаться Робинзономъ Крузо. Если я не пустилъ себѣ пули въ лобъ,—то единственно по чувству долга къ своей семьѣ.

Случай, стеченіе странныхъ обстоятельствъ, дало мнѣ возможность забраться въ Добруджу и сдѣлаться тамъ казакъ-баши (атаманомъ некрасовцевъ), гдѣ мнѣ хорошо бы жилось и гдѣ я могъ бы остаться до сихъ поръ, если бы не личныя потери (смерть брата и самоубійство Краснопѣвцева), и если бы въ характерѣ моемъ была та завидная твердость и стойкость, которая даетъ возможность набивать карманы, ловя рыбу въ мутной водѣ. Я бросилъ Тульчу—холера 1865 г., въ Молдавіи, лишила меня всего моего семейства. Я остался одинъ, безъ вѣры, безъ упованій, съ ненавистью ко всему существующему. Я сосредоточился, ушелъ въ себя и пришелъ къ такимъ отрицаніямъ, до какихъ едва-ли кто-нибудь доходилъ.

Я проклялъ міръ, родъ человѣческій, мысль, чувство, свои воспоминанія и свои надежды, — и нѣсколько мѣсяцевъ, въ буквальномъ смыслѣ слова, велъ жизнь Діогена, не по нуждѣ, не въ силу какихъ-нибудь внѣшнихъ обстоятельствъ, но изъ боязни имѣть что-нибудь свое, хоть бы свой

уголъ, лишній носовой платокъ; я хотѣлъ довести себя до возможности ничѣмъ не дорожить, ничего не жалѣть, ни къ чему не привязываться, а составлять только публику при переворотѣ стихій и при катастрофахъ рода человѣческаго.—Но діогенство мое, этотъ послѣдній якорь спасенія,—оказалось натяжкой. Я дошелъ до того, что не признавалъ себя принадлежащимъ къ какой-нибудь національности, что былъ искреннимъ космополитомъ, что ходилъ, по принципу, въ лохмотьяхъ, что не имѣлъ квартиры и ничѣмъ не брезгалъ, что ни въ чемъ не нуждался, но я одного въ себѣ не могъ заглушить—мысли. Мнѣ кажется, когда я обсуждаю эти тяжелые годы моей жизни послѣ моего разочарованія въ 1863 г., что человѣкъ можетъ ото всего отказаться и можетъ въ себѣ все подавить,—кромѣ потребности ѣсть и думать. Мысль возникаетъ у насъ въ головѣ такъ же помимо насъ, какъ въ желудкѣ развивается апетитъ помимо нашего произвола. Чѣмъ меньше стараешься думать, чѣмъ меньше стараешься разсуждать, тѣмъ мысль пристаетъ безотвязнѣй, тѣмъ умъ работаетъ скорѣй, и скорѣй подыскиваетъ матеріалы для своей работы. Арестантъ, которому не о чемъ думать, создаетъ себѣ иску-

ственные интересы, изучаетъ наружность своихъ караульныхъ, считаетъ, сколько шаговъ въ его комнатѣ, сколько клѣтокъ въ обояхъ, сколько досокъ въ полу, наблюдаетъ нравы разныхъ пауковъ и таракановъ, именно въ силу этой потребности чѣмъ-нибудь занять свою голову. Въ періодъ моего діогенства я никакъ не могъ отказаться отъ передумыванья разныхъ старыхъ, прежде дорогихъ мнѣ, научныхъ вопросовъ о славянской миѳологіи и филологіи, которыми я занимался въ былое время. Граматическія формы и обрывки миѳовъ то и дѣло носились у меня въ памяти и невольно сосредоточивали на себѣ все мое вниманіе,—а отъ мірскаго и житейскаго умъ мой сталъ совершенно свободенъ. И чѣмъ дольше шло время, и чѣмъ болѣе я ломалъ себя, стараясь уйдти въ своего рода буддійскую нирвану безмятежности и самозабвенья, тѣмъ дороже и дороже становилась для меня наука и тѣмъ сильнѣй и сильнѣй, противъ моей воли, противъ моего желанія, разгоралась во мнѣ охота посвятить себя умственной жизни. Потребность въ книгахъ, потребность въ свѣжемъ воздухѣ, въ умныхъ разговорахъ стала невольно охватывать мою душу, свободную отъ всякаго патріотизма, смѣявшуюся

надъ служеніемъ какому-нибудь принципу или какимъ-нибудь благамъ рода человѣческаго,—и меня снова потянуло на западъ, гдѣ цвѣтетъ эта наука, гдѣ есть библіотеки, академіи, и гдѣ, можетъ быть, найдутся люди, съ которыми будетъ стоить подѣлиться тѣми страшными выводами—о мірѣ, о жизни и о человѣкѣ, къ которымъ я пришелъ на этихъ пустынныхъ берегахъ Дуная.

Была весна. Листъ развертывался. Съ юга на сѣверъ тянулись птицы стая за стаей, и ихъ радостные, оглушительные крики, казалось, вливали въ душу какую-то бодрость и какую-то свѣжесть.—Удивительное дѣло весна!—сколько силы и сколько свѣжести вливаетъ она въ душу, и сколько ранъ залечиваетъ ея юношеское дыханіе...

Я очутился на пароходѣ, шедшемъ вверхъ по Дунаю. Куда я ѣхалъ—я не зналъ. У меня не было ни одного плана. Мнѣ хотѣлось прежде всего разстаться съ этими полудикими, полуотупѣлыми странами, гдѣ нельзя отыскать ни одной живой души, ни одной умной головы, ни одного свѣжаго человѣка. Я ненавидѣлъ этотъ край умственнаго сна, фразистаго образованія, грубо-меркантильныхъ разсчетовъ, гдѣ все, что не приноситъ ни

денегъ, ни карьеры, считается безуміемъ, гдѣ на меня дивились, а понять не могли, хотя и старались понять.

Пароходъ сталъ подходить къ Вѣнѣ. Я сообразилъ, что въ Вѣнѣ я еще никогда не жилъ, и что познакомиться съ ней стоитъ, что въ Вѣнѣ много славянъ, и что профессоръ церковно-славянскаго языка тамъ— самъ знаменитый Миклошичъ; что въ вѣнской императорской библіотекѣ должно быть множество славянскихъ книгъ, и что изученіе славянства легче производить въ Вѣнѣ, чѣмъ въ Парижѣ, Гёттингенѣ или въ Эдинбургѣ.—Короче сказать, я остановился въ Вѣнѣ просто потому, что мнѣ все равно было гдѣ остановиться,—весь земной шаръ былъ для меня домомъ; отечества у меня не было, квартиры тоже, про имущество свое я могъ совершенно вѣрно сказать: omnia mea mecum porto..... я остановился въ Вѣнѣ такъ, какъ на прогулкѣ садишься не на ту, а на эту скамейку. Вѣна показалась мнѣ удобообитаемой, и я поселился въ ней, разчитывая, что если завтра мнѣ въ Вѣнѣ не понравится, то переберусь въ Мюнхенъ, въ Римъ, въ Прагу, въ Копенгагенъ.....

Первымъ долгомъ по пріѣздѣ въ Вѣну было на-

дѣть на себя нѣсколько человѣческое облаченіе, умыться, остричься и вообще измѣнить наружность бродяги на студенческую, затѣмъ получить право ходить на лекціи славянскаго языка, санскрита, зенда и сдѣлаться постояннымъ посѣтителемъ Славянской Бесѣды. *) Совершить эту операцію было недолго, и недѣли черезъ двѣ я ужъ былъ полнымъ гражданиномъ Вѣны въ качествѣ дунайскаго раскольника (хлыстовской секты);—я объявилъ, что я турецкій подданный Василій Петровичъ Ивановъ-Желудковъ, который много путешествовалъ для изученія сектъ и уже давно занимается изслѣдованіями по части славянства — преимущественно-же этнографіей и миѳологіей. Приличная обстановка, комфортъ, порядочное общество и вообще всѣ условія европейской жизни произвели во мнѣ такую рѣзкую перемѣну, что мое недавнее діогенничанье ужъ казалось мнѣ какимъ-то смутнымъ и страннымъ сномъ. Не признавая себя русскимъ и все еще отрицая всякую свою солидарность съ интересами рода человѣческаго, я тѣмъ не менѣе съ большой охотой вдавался во всякіе политическіе споры

*) Клубъ, въ родѣ артистическаго кружка или собранія художниковъ въ Петербургѣ.

моихъ знакомыхъ, и приводилъ ихъ въ ужасъ и негодованіе своимъ отрицаніемъ.

Быть патріотомъ казалось мнѣ ниже человѣческаго достоинства, а стараться сохранить національный языкъ, обычаи и вѣру, сознавая въ глубинѣ души, что этотъ языкъ, обычаи и вѣра несравненно ниже и неразвитѣе хоть бы тѣхъ же нѣмецкихъ,—казалось мнѣ до того узкимъ и нечестнымъ, что я не могъ относиться къ славянамъ иначе, какъ съ презрѣніемъ. Меня привязывала тогда къ славянамъ единственно научная сторона вопроса,—какъ археологъ можетъ крайне интересоваться каменнымъ періодомъ, нисколько не считая его лучше бронзоваго, а тѣмъ болѣе желѣзнаго. Затѣмъ, вопли славянъ противъ германизаціи и мадьяризаціи казались мнѣ несправедливыми: германская и мадьярская національность все же выработала хоть что-нибудь въ сравненіи съ какой-нибудь словацкой, сербской, или даже и самой чешской. Не лучше ли брать готовое? думалъ я; не лучше ли просто онѣмечиться, чѣмъ на tabula rasa славянства воздвигать новыя постройки, которыя еще, Богъ знаетъ, удадутся или не удадутся. Вообще, первое впечатлѣніе мое отъ знакомства съ славянской интелиген-

ціей было весьма невыгодное,—оно дразнило меня, оно напоминало мнѣ тотъ страшный результатъ, къ которому я пришелъ въ низовьяхъ Дуная, что міръ, человѣчество, исторія, чувство—все это страшный сарказмъ надъ личностью, которая обречена на страданія изъ любви къ личностямъ, къ знанію, къ послѣдовательности, которая обречена вѣчно наталкиваться на разочарованія, на потери, на непослѣдовательность. И досадно мнѣ было, глядя на этихъ славянъ, поминать, что и я когда-то тепло вѣровалъ и глубоко любилъ.....

Другое, что меня дѣлало чужимъ въ средѣ славянъ, было мое невѣжество, которое разъ ужъ сдѣлало изъ меня эмигранта и агитатора, даже помимо согласія Герцена и Огарева. Прежде, при кабинетной жизни, я имѣлъ понятіе о людяхъ и о Россіи только изъ книгъ, и только по своему соображенію думалъ ихъ облагодѣтельствовать,—такъ и теперь я зналъ австрійскихъ славянъ единственно по наслышкѣ, и судилъ объ нихъ тоже по тѣмъ же самымъ соображеніямъ.

Первый вопросъ, на которомъ я споткнулся, былъ вопросъ о національности. Я разстался съ книгами и съ нашей публицистикой въ 1862 году; съ

тѣхъ поръ я почти не видалъ ни одного развитаго русскаго. Польское возстаніе не удалось—мнѣ казалось, что оно подавлено исключительно грубою силою; мнѣ казалось, что народъ польскій въ сущности все-таки хочетъ возстановленія независимости хоть царства польскаго; что Малороссія дѣйствительно боготворитъ Шевченко, и что украйнофильство дѣйствительно не фантазія двухъ-трехъ увлекающихся головъ, а напротивъ того, завѣтная мечта, оформулированное сознаніе южноруссовъ; мнѣ казалось величайшею несправедливостью, что у насъ такъ вопіяли противъ кулишевскаго правописанія, противъ старанія сдѣлать украйнскій говоръ южнорусскаго нарѣчія литературнымъ языкомъ — короче сказать, какъ я ни отрѣшался отъ всякихъ политическихъ мнѣній, но старая закваска во мнѣ еще сильно бродила. Я много толковалъ о федераціи, о правахъ каждаго племени и даже каждаго областнаго говора на отдѣльное независимое существованіе. Къ полякамъ я ужъ давно потерялъ вѣру, имѣвши случай близко видѣть ихъ агитаторство; и, проживши нѣсколько лѣтъ въ средѣ польской эмиграціи, я давно пересталъ уважать ихъ какъ политическихъ дѣятелей и какъ людей, имѣющихъ

государственный смыслъ—но все-таки считалъ ихъ правыми въ ихъ борьбѣ противъ насъ, и мнѣ прискорбно было, что русскіе такъ несправедливо къ нимъ относились. Въ Польшѣ и на Южной Руси я тогда еще не бывалъ; въ Добруджѣ и въ Молдавіи я зналъ о томъ, что происходило на свѣтѣ, какъ тотъ отшельникъ въ драмѣ графа А. Толстаго, «Смерть Іоанна Грознаго», который цѣлые годы слышалъ изъ своего подземелья:

Лишь дальній гулъ господней непогоды
Да тихій звонъ святыхъ колоколовъ....

а о томъ, гдѣ Курбскій, гдѣ сила и вліяніе Іоанна рѣшительно ничего не зналъ. — Мудрено ли послѣ этого, въ какомъ странномъ отношеніи стоялъ я къ славянамъ, которые въ восторгъ приходили отъ поступковъ нашего правительства съ поляками и съ ума сходили ото всего, отъ чего я именно и краснѣлъ за Россію?!....

Начались споры, преимущественно съ галицкими русскими и съ сербами-католиками. Они упрекали меня въ украйнофильствѣ, въ полонофильствѣ, они смотрѣли на русское государство какъ на идеалъ славянской державы, они восторгались тѣмъ, отъ чего насъ самихъ русскихъ коробитъ, и иногда

въ полемическомъ увлеченьи даже доходили до апоѳеозы кнута, самоуправства, нагайки донскихъ казаковъ и предварительной цензуры. Дико и странно звучали въ моихъ ушахъ ихъ рѣчи. Все то, что издавна привыкъ я уважать, — какъ-то: конституціонный порядокъ, свободу личности, федерацію, свободу слова, — они все отрицали, а все то, что я уважалъ, ко всему они относились съ ненавистью.

Они стали для меня загадкой...

Я вдался не только въ изученіе своихъ спеціальныхъ предметовъ, но и въ изученіе быта славянъ. Мнѣ стало странно, какимъ образомъ эти, повидимому, не глупые и много читающіе и многому учившіеся люди могли придти къ такимъ страннымъ, рѣжущимъ ухо и мысль оскорбляющимъ, убѣжденіямъ. — Они приводили мнѣ факты изъ исторіи ихъ племенъ, они разсказывали мнѣ анекдоты. Я слѣдилъ за ихъ журналистикой — и я сталъ колебаться. Мнѣ больно было, мнѣ противно было соглашаться съ ними, что дѣйствительно при всѣхъ недостаткахъ нашихъ, все же лучше имъ было бы быть подъ нашей властью, чѣмъ подъ властью Вѣны, Пешта и Цареграда. Мнѣ было досадно чувствовать въ себѣ эту перемѣну, мнѣ горько было опять ста-

новиться русскимъ, но я не могъ себя преодолѣть.

Часъ за часомъ, день за днемъ отлеталъ и исчезалъ мой космополитизмъ, національная гордость во мнѣ пробуждалась, а съ ней вмѣстѣ рождалась въ сердцѣ страстная любовь къ Россіи, тоска по ней, и отчаянное сознаніе, что мнѣ нельзя воротиться въ нее. Что я эмигрантъ, никто не зналъ; что я политическій преступникъ — мнѣ нельзя было говорить имъ, потому что если бы я сказалъ имъ, кто я, если бы они узнали мое прошедшее, то, несмотря на ихъ личную дружбу и уваженіе ко мнѣ, ни одинъ изъ нихъ не задумался бы выдать меня полиціи; у насъ съ Австріей существуетъ договоръ о взаимной выдачѣ всѣхъ бѣглыхъ, а стало-быть въ томъ числѣ и политическихъ преступниковъ. Если бы я не скрылъ, что я Кельсіевъ,—давнымъ-давно меня выслали бы въ Россію, и явился бы я на русской границѣ не вольнымъ человѣкомъ, идущимъ съ повинной, а пойманнымъ звѣремъ, который ждалъ бы не воли, а другой, страшной участи. Я молчалъ, хитрилъ, и ни одинъ изъ моихъ лучшихъ друзей въ Вѣнѣ не зналъ, кто я именно — меня всѣ принимали за некрасовца или просто за что-то неопредѣленное.

Чѣмъ болѣе я изучалъ въ Вѣнѣ славянскій вопросъ, тѣмъ болѣе и болѣе замѣчалъ, что при всѣхъ недостаткахъ и неустройствахъ нашего государства, въ немъ есть столько свѣтлыхъ чертъ и столько великаго совершается, столько силъ и задатковъ на будущее, что наконецъ мнѣ стало за себя страшно.

Какъ? неужели? — думалъ я — я, достигшій до крайнихъ предѣловъ отрицанія, я, отвергшій даже республику, даже соціализмъ, даже знаніе, даже мысль, даже способность рода человѣческаго выдѣлать изъ себя что-нибудь путное, отъ міра отъ цѣлаго отрѣшившійся и стыдящійся того, что родился человѣкомъ, потому что человѣкъ величайшее несовершенство изъ всѣхъ величайшихъ несовершенствъ — неужели я способенъ увлечься до патріотизма, до панславизма?!!! Зачѣмъ, для чего, по какому праву, мое остывшее сердце опять забилось этой горячей любовью къ людямъ? Зачѣмъ въ мою душу засѣла охота служить имъ, жертвовать собой для нихъ? Чтó общаго между мною и хоть бы этими галичанами, — грубыми, тяжелыми на подъемъ, прозаическими поповичами? Что меня тянетъ, что влечетъ меня къ этимъ торгашамъ-чехамъ, къ этимъ

забитымъ судьбою и оставшимъ подъ вѣковымъ гнетомъ словакамъ? Почему я, который не пошелъ бы ни за что на парижскія барикады во имя не только республики, но даже фурьеризма, почти готовъ въ настоящую минуту сложить голову за освобожденіе и объединеніе славянства? Гдѣ жъ логика? Гдѣ послѣдовательность?

И мнѣ было душно, и я боролся съ собою, я старался подавить въ себѣ этотъ странный приливъ любви и родственнаго чувства — и ничего я не могъ съ собою сдѣлать!... Я былъ русскій, я былъ гордъ Россіей, во мнѣ родилась неудержимая страсть служить русскому государству, — не идеямъ, не принципамъ, не катехизису какому-нибудь, не знамени, на которомъ написаны какія-нибудь громкія положенія о свободѣ, о равенствѣ, объ общемъ имуществѣ, о желѣзныхъ дорогахъ что-ли — я сдѣлался русскимъ къ томъ смыслѣ, въ какомъ москвичи въ XIV и XV вѣкѣ ни о чемъ не мечтали кромѣ созданія русскаго государства, и сами, крестя лбы, клали спины подъ батоги, и шеи подъ топоры, только бы сопротивленіемъ власти не потрясти къ ней довѣрія, какъ къ олицетворенію этого государства. Не узкій національ-

ный эгоизмъ зародилъ во мнѣ эту идею, толкалъ меня на подобное служеніе, а совершенно ясно и послѣдовательно сознанный фактъ, что присоединеніе славянства къ Россіи было бы спасеніемъ для самихъ славянъ и выигрышемъ для насъ; и не только выигрышемъ для насъ, но оно необходимо и неизбѣжно, потому что таковъ духъ нашей исторіи со временъ Ивана Даниловича Калиты, таково стремленіе нашего народа во всѣхъ его классахъ и таково дѣйствительное и неоспоримое желаніе самого славянства.

Я былъ въ Вѣнѣ во время прусской войны. Я видѣлъ, какъ вѣнскія дамы, нѣмки-патріотки, шили себѣ бѣлыя платья, готовили вѣнки, букеты и бѣлые флаги—встрѣчать побѣдителей и просить ихъ пощадить мирный городъ; я видѣлъ, какъ тѣ же чехи не осмѣливались дать отпоръ иноземцамъ, вторгнувшимся въ ихъ, такъ любимую ими, землю, и отправили своихъ предводителей испрашивать высочайшаго разрѣшенія возстать поголовно противъ пруссаковъ, и какъ, не получивъ этого разрѣшенія, съумѣли отказаться отъ народной войны! Я это видѣлъ, и припоминалъ, какъ Москва вспыхивала панихидной свѣчей за наши неудачи,

и вспоминалъ, какъ въ крымскую войну могъ бы въ Петербургѣ камень на камнѣ не остаться, если бы союзники, вмѣсто того, чтобъ стоять передъ Кронштадтомъ, отправили свой десантъ на берега Невы,—да такъ бы могъ неостаться, что въ одинъ день разорились бы въ пухъ и въ прахъ всѣ россійскія страховыя общества. Живучесть государства, полнаго жизни, полнаго силъ, котораго не могли потрясти польскія возстанія, внутреннія неурядицы, попытки на цареубійство, разстройство финансовъ, ошибки государственныхъ людей и даже полное страсти и вѣры порывистое движеніе прежнихъ декабристовъ и нынѣшнихъ утопистовъ — стала мнѣ поразительно ясна. Я началъ догадываться, что наша государственная жизнь слагается двумя путями, что у насъ двѣ потребности, которыя идутъ паралельно и одинаково требуютъ настоятельнаго удовлетворенія. Одна изъ нихъ — внутреннія преобразованія; другая— опредѣленіе границъ сліяніемъ воедино всѣхъ славянскихъ племенъ, въ какой бы формѣ не совершилось это сліяніе, въ видѣ ли Бѣлградской Губерніи, Бѣлградскаго Намѣстничества или въ видѣ Slavischer Bund, United Slavonian States. Границы

наши должны также неизбѣжно и мимовольно измѣниться, какъ мимовольно и неизбѣжно измѣнились томы свода законовъ о государственныхъ правахъ, обязанностяхъ и учрежденіяхъ. Кто жилъ между славянами и близко сходился съ ними, кто изучалъ ихъ бытъ, ихъ потребности, ихъ воззрѣнія, тотъ вполнѣ подтвердитъ мои слова, и точно такъ же, какъ я, скажетъ, что нѣтъ силы человѣческой, которая могла бы воспрепятствовать этому, природой и народнымъ инстинктомъ вызываемому, объединенію славянства во едино цѣлое. — Государственные люди, въ видахъ государственныхъ интересовъ или личныхъ воззрѣній и личныхъ симпатій и антипатій, могутъ игнорировать эти факты и даже бороться противъ нихъ; но только ручьи можно загораживать плотинами, и только бури въ стаканѣ воды можно унимать масломъ: Дунай и Волгу нельзя загородить и нельзя своротить океаническихъ теченій съ ихъ вѣковыхъ путей....

Но совѣсть моя все еще не была спокойна. Я скептикъ по природѣ, и обжегшись разъ на молокѣ, имѣю слабость дуть и на воду. Мои вѣнскіе знакомые (литераторы и публицисты) были люди пре-

имущественно кабинетные, книжные, — а горькій опытъ научилъ меня, какъ мало можно довѣряться господамъ, которые не потрудились выйти изъ своего ученаго затворничества и спуститься въ глубь народа, потолковать съ массой; которые, не то чтобъ брезгаютъ мужицкимъ хлѣбомъ, а изъ-за личнаго комфорта и безопасности не рѣшаются забираться въ тѣ трущобы народной жизни, гдѣ все ясно, все откровенно, гдѣ слышится голосъ народа, безъ фразъ, грубо-рѣзкій, непосредственный. Плохо вѣря толкамъ и возгласамъ славянской интелигенціи, я въ Вѣнѣ спустился къ простонародью и собственными ушами слышалъ ропотъ словаковъ, «зачѣмъ не приходитъ русскій цѣсарь, взять ихъ подъ свою власть». Простолюдины сербы-католики чуть не на шею бросались мнѣ «за то только, что я русскій;» простолюдины хорваты-католики до боли жали мнѣ руку, со вздохами, «что они не русскіе подданные» — и все это при ихъ личномъ уваженіи и даже привязанности къ цѣсарю, Францу-Іосифу, котораго они искреннѣйшимъ образомъ почитаютъ *намѣстникомъ* государя Александра Николаевича.—Въ сторонѣ стояли одни поляки; но скоро и поляковъ я узналъ ближе...

Истомленный сомнѣніями и колебаніями, все еще не вѣря себѣ, все еще думая, что я съ толку сбился, что я увлекся, — я наконецъ порѣшилъ разрубить этотъ гордіевъ узелъ недоразумѣній и пустился изучать Галичину. Путешествіе это было довольно опасное: во-первыхъ, нигдѣ такъ не преслѣдуютъ русскихъ, какъ въ Галицко-Володимірскомъ королевствѣ; другое, — я русскій съ турецкомъ паспортомъ, стало-быть личность во всякомъ случаѣ подозрительная; и въ-третьихъ, меня знаетъ въ лицо множество польскихъ эмигрантовъ—въ Краковѣ или во Львовѣ я могъ весьма легко быть узнаннымъ, названнымъ по имени,—а этого было бы достаточно, чтобъ быть выпровожденнымъ въ Россію. Но колебаться было тяжелѣе, чѣмъ подвергаться опасности и, какъ меня ни отговаривали мои вѣнскіе друзья, пророчившіе мнѣ, что меня вышлютъ изъ Галичины уже за то только, что я турецкій подданный, и что я изучаю этотъ заповѣдный для иностранцевъ край, я двинулся въ путь, и первымъ моимъ знакомствомъ съ польскимъ простонародіемъ было то, что бабы-перекупки въ Краковѣ на рынкѣ Суконницѣ, съ которыми я разговорился изъ лю-

бопытства, ругали москалей, зачѣмъ они не присоединяютъ къ себѣ Кракова.

«Подати, пане, тяжелыя! — причали онѣ: — житья намъ, пане, бѣднымъ и честнымъ женщинамъ нѣтъ! разореніе, пане, несемъ, — ни порядковъ нѣтъ, ни уваженія къ намъ, честнымъ женщинамъ, нѣтъ!... Порядочной женщинѣ, пане, торговать не даютъ! Порядочная женщина, пане, хоть съ голоду умирай! Всякія обиды, пане, здѣсь терпимъ! И чего они, москали, нейдутъ? и чего они смотрятъ? Москали для бѣдныхъ хорошо сдѣлали, а въ нашемъ Австріяцкомъ цесарствѣ бѣднымъ людямъ только одно разореніе»! — Національный бытъ Галичины, которую я изучалъ, разъѣзжая изъ конца въ конецъ по священническимъ домамъ, по хлопскимъ хатамъ, по корчмамъ и даже въ послѣдствіи въ тюрьмѣ, въ которую попалъ совершенно невинно, по недоразумѣнію съ паспортомъ, и изъ которой былъ высланъ въ Молдавію черезъ Буковину, гдѣ также по дорогѣ имѣлъ возможность натолковаться досыта съ простонародіемъ,—окончательно привелъ меня къ убѣжденію, что мои вѣнскіе пріятели были совершенно правы, что Россіи предстоитъ великая будущность, что сплоченіе славянъ въ

одно государство неизбѣжно;—и я въѣхалъ въ Яссы гордый сознаніемъ, что я русскій, и скорбя сердцемъ, что я эмигрантъ, навѣки отрѣзанный ломоть отъ Россіи. Подавляя въ себѣ тоску и досаду, я рѣшился посвятить свою жизнь на изученіе славянскихъ земель, на описаніе ихъ и на раскрытіе объ нихъ нашей публикѣ всей правды, во всей ея наготѣ, какъ она мнѣ представлялась по внимательномъ и елико возможно добросовѣстномъ изученіи.

И вотъ я принялся было въ Яссахъ за окончаніе моего труда о Галичинѣ и за подготовку путешествія по Молдавіи и Валахіи,—которое намѣревался совершить лѣтомъ 1867 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

II.

Новости изъ Россіи. — Взглядъ на Россію нашихъ заграничныхъ сектантовъ. — Наши утописты и практики. — Разговоръ съ безпоповцемъ о бунтѣ. — Филипповецъ пьетъ здоровье Синода и Государя. — Обрядность и государственный инстинктъ русскихъ. — Молдаване и Россія. — Взглядъ на насъ прочихъ народностей въ Молдавіи.

Вотъ, въ такомъ-то взволнованномъ состояніи очутился я въ Яссахъ, гдѣ, разсчитывая на предстоящее мнѣ одиночество, надѣялся взвѣсить и обдумать все, что со мной произошло, и критически провѣрить совершившійся во мнѣ переворотъ. Изъ Петербурга мнѣ присылался «Голосъ» — единственная русская газета, которую я тогда читалъ. Съ жадностью перечитывалъ я каждый номеръ отъ строки до строки, начиная съ оглавленія и кончая объявленіями: такъ дорога стала мнѣ тогда каждая новость изъ Россіи, а вѣсти все были отрадныя.

Ужъ передъ этимъ я неравнодушно относился

къ пріѣзду американцевъ и къ женитьбѣ государя наслѣдника на датской принцесѣ, къ извѣстіямъ о ходѣ новыхъ судебныхъ учрежденій, — а тутъ вдругъ пришло извѣстіе о маскарадѣ въ пользу кандіотовъ... Надо было видѣть, какое впечатлѣніе произвелъ этотъ маскарадъ въ Яссахъ не только на грековъ, но на молдаванъ и на нашихъ раскольниковъ, съ которыми я уже успѣлъ сблизиться по моей страсти къ изученію ихъ быта и вѣрованій. Тогда на улицахъ мнѣ проходу не стало: греки чуть не на шею мнѣ бросались за то, что я русскій, и тяжелое было чувство скрывать отъ нихъ, что я эмигрантъ, и что Россія навѣки отъ меня замкнута, — совѣстно быть отрѣзаннымъ ломтемъ отъ того, что любишь и что уважаешь. Скопцы меня навѣщали, — они очень любили толковать со мной о своихъ вѣрованіяхъ, о Россіи, которую они до сумасшествія любятъ, и справляться у меня о томъ, что происходитъ у насъ.

Съ первыхъ дней моего пріѣзда на Дунай меня начала поражать страстная любовь къ Россіи нашихъ сектантовъ, бѣжавшихъ въ эти края за вѣру, за бороду, отъ рекрутчины, равно и несектантовъ, бѣжавшихъ — какъ тамъ выражаются — по сво-

имъ дѣламъ т. е. по фальшивой монетѣ, потому что смошенничалось какъ-то, пришлось кого на тотъ свѣтъ отправить — и за тому подобныя шалости. Люди, изъ которыхъ одна половина не можетъ воротиться въ Россію, а другая не смѣетъ, до такой степени преданы ей, что каждый свѣжакъ или новикъ *) находитъ у нихъ самый радушный пріемъ за то только, что можетъ сообщить имъ новыя свѣдѣнія о Землѣ Русской. Съ гордостью, съ восторгомъ принимаютъ они извѣстіе объ освобожденіи крестьянъ, объ уничтоженіи тѣлеснаго наказанія, о гласномъ судѣ, о сокращеніи срока солдатской службы, хвастаются, что въ Россію пріѣзжали американцы, искренно радуются каждому нашему успѣху въ дипломаціи и ведутъ дѣятельную пропаганду русскаго имени и преданности Россіи между окружающимъ населеніемъ. Пропаганду эту они ведутъ не сознательно, безъ всякаго опредѣленнаго умысла, безъ всякой задачи, но они до того проникнуты любовью и уваженіемъ къ Россіи, что заражаютъ ими все окружающее. Въ лавочкѣ или на мельницѣ какого-нибудь молокана, старообрядца,

*) Свѣжаками и новиками называются тамъ недавніе — свѣжіе — выходцы изъ Россіи.

сторона вы всегда встрѣтите грека, болгарина, молдавана, еврея даже, съ которыми хозяинъ толкуетъ о Россіи и восхваляетъ ее даже до преувеличенія,— а извѣстно, какъ люди, давно невидавшіе родины и страшно тоскующіе по ней, преувеличиваютъ всѣ ея хорошія качества и забываютъ обо всемъ, что въ ней дѣйствительно дурно. Противъ Россіи они имѣютъ одно—боязнь, что ихъ или назадъ вытребуютъ, или что войска наши войдутъ въ эти края, и имъ придется бѣжать. Понятно, какъ, при моемъ тогдашнемъ настроеніи, дѣйствовали на меня раскольники своей восторженной любовью къ Россіи. Они одни, да еще польскіе эмигранты, въ Яссахъ знали, кто я такой, и первые мнѣ постоянно толковали: «Полно тебѣ бродить по чужимъ землямъ, Василій Ивановичъ! воротись добро, теперь время доброе, проститъ тебя государь!...»

Но легко было говорить воротись, — не такъ легко было это сдѣлать. Воротиться—значило отречься отъ всего пережитаго; значило торжественно заявить, что все прошедшее было ненужной и печальной ошибкой. Воротиться значило сказать, что все, чему я нѣкогда горячо и искренно вѣровалъ, было мечта, и все, чего я добивался, было

вещью не осуществимой. Я не могъ такъ увлекаться, какъ увлекались сектанты: я очень хорошо понималъ, что въ Россіи еще далеко не царствіе небесное, и что, при всѣхъ колосальныхъ реформахъ нашего времени, при всемъ прогресѣ, все-таки найдутся такія вопіющія и темныя стороны нашего быта, отъ которыхъ захочется не только глаза зажмурить, но подчасъ даже и бѣжать. Одно, что меня постоянно наталкивало на мысль о возвращеніи, это было полное сознаніе, пріобрѣтенное тѣснымъ сближеніемъ съ народомъ, хоть бы и бѣглымъ, что изъ всѣхъ путей, которыми мы, русскіе революціонеры, шли, нашъ былъ самый невѣрный и самый непрактичный, потому что мы всѣ были болѣе или менѣе утописты. Люди среднихъ стремленій, tiers-parti — постепеновцы, какъ ихъ называли, выиграли хоть кое-что, потому что они могли выиграть; — мы-же, таща своимъ задоромъ и идеализмомъ отсталыхъ впередъ, не смогли-бы и того сдѣлать, потому что для насъ не дѣло дорого, а идеалы, — мы всѣ болѣе или менѣе генералы Пфули (въ IV томѣ «Войны и Мира»). Если взять въ разсчетъ, какъ дешево обошлись сдѣланныя уже преобразованія, какъ относительно мало было

экзекуцій, разстрѣливаній, ссылокъ, то нельзя не сознаться, что путь крутаго и рѣшительнаго переворота во всемъ, для достиженія крайнихъ идеаловъ общественнаго быта, стоилъ бы несравненно дороже и, кто еще знаетъ, какъ бы удался. Студенческія демонстраціи и польскія дѣла окончательно убѣдили меня, что личности, стоявшія на идеалистической сторонѣ, рѣшительно ничего не могли сдѣлать, если бы имъ даже и была дана полная воля говорить, кричать и агитировать сколько имъ угодно — они до такой степени не знали народа, который собирались вести, что постоянно сбивались съ толку, встрѣчая то его неподвижность, то его вражду къ ихъ затѣямъ. Со мною самимъ бывали случаи, въ послѣдствіи сильно меня отрезвившіе, что народъ не оказывалъ сочувствія моимъ затѣямъ даже тамъ, гдѣ его сочувствіе казалось бы логически-необходимымъ.

Извѣстно, что нѣкоторыя секты безпоповцевъ считаютъ всѣхъ русскихъ государей, начиная съ Алексѣя Михайловича, воплощеніемъ антихриста; высшіе государственные чины, начиная съ генеральскаго, и церковные съ архіерейскаго, воплоще-

ніемъ архангеловъ сатаны, а всѣхъ остальныхъ чиновныхъ — мелкими бѣсами; — и толкуютъ, основываясь на писаніи, что православные (т. е. они сами) должны вести брань съ антихристомъ. Спрашивается, — какъ было имъ не протянуть руки намъ, русскимъ революціонерамъ, или даже полякамъ, на союзъ? Какъ было не заключить этого союза съ нами, шедшими во имя свободы, имъ, шедшимъ противъ силы ада? И чтожъ выходило? «Сатана-то онъ сатана, говорилъ мнѣ одинъ безпоповскій наставникъ про....., мы это доподлинно знаемъ: такъ отъ писанія выходитъ; — да бунтовать противъ него дѣло намъ неподходящее, потому что сказано: «Властемъ придержащимъ повинуйтеся, нѣсть бо власть, аще не отъ Бога суть».

— Да вѣдь онъ антихристъ? говорилъ я.

— «Антихристъ»... отвѣчали мнѣ.

— Антихристъ значитъ сатана?

— «Значитъ сатана»...

— Стало-быть слѣдуетъ повиноваться сатанѣ, по-вашему?

— «Нѣтъ, не слѣдуетъ: это будетъ великій грѣхъ, — этого отъ писанія не показано».

— Такъ стало надо брань вести?

— «Мы и ведемъ брань, да опять ведемъ такъ, какъ отъ писанія показано».

— А какъ же отъ писанія показано? спрашивалъ я, желая позаимствоваться.

— «Отъ писанія показано, что святые никогда не бунтовали а гоненія и мученія за вѣру претерпѣвали, огнемъ и мечемъ казнь смертную принимали, а бунтовщиками святые никогда не были».

— Такъ вы сатаны стало слушаетесь?

— «Нѣтъ, мы не сатаны слушаемся,—а мы русскаго царя первые, значитъ, слуги».

— Хороши вы первые слуги, когда за него даже молиться не хотите.

— «А молиться за него намъ не показано, потому что онъ никоніанской вѣры держится, и молиться мы за него не станемъ, а станемъ мы его обличать. Обличаемъ и за то гоненіе терпимъ и разсѣяніе великое,—а бунтовать намъ все-таки противъ власти не приходится, потому что—одно слово—царская власть. Такъ и отъ писанія показано, что царской власти повиноваться надо. Кабы не царская власть, такъ бы всѣ народы въ смятеніе пришли и не было бы никакого порядка и

устройства, а было бы запустѣнье, плачъ и воздыханіе великое.—Вотъ что, другъ любезный!»

— Такъ вы, значитъ, и противъ поляковъ пойдете, которыхъ такъ же гонятъ и тѣснятъ, какъ и васъ?

— «А полякъ зачѣмъ бунтуетъ? зачѣмъ ему противъ русскихъ вставать? Небось, нашихъ бить и рѣзать хотитъ?»

— Да вѣдь ты же говорилъ, что у поляка волю отняли, всего его лишили.....

— «А онъ, значитъ, противъ насъ не бунтуй; потому что полякъ безмозглый, никакихъ порядковъ соблюсти не умѣетъ. Отчего ему не покориться? Всѣ мы покоряемся.—Коли вѣру его тѣснятъ,—пускай обличаетъ, пускай на соборъ идетъ и нашихъ пусть призываетъ. Мы ему и докажемъ, которая вѣра права, его ли папежская или великороссійская-синодская или наше древле-православное благочестіе. А бунтовать мы не станемъ, и поляку бунтовать тоже не дозволимъ, потому что надо царство соблюдать, какой тамъ царь ни-наесть—это дѣло первое. И святые бывали воинами у нечестивыхъ царей для того только, чтобъ царство соблюсти. А мы бы и отъ рекрутчины не

уходили за границу, кабы намъ посты соблюдать не препятствовали.....»

Не могу я воздержаться, чтобъ не разсказать одного случая со мной въ Добруджѣ.—Томимый своими сомнѣніями, бродилъ я пѣшкомъ около Тульчи, изучая нравы и бытъ мѣстнаго населенія: русскихъ, малороссовъ, татаръ, болгаръ, грековъ, молдаванъ, нѣмцевъ..... Ночь застигла меня въ степи. Страшно-усталый я ужъ собрался прилечь гдѣ-нибудь у кургана, какъ вдругъ вдали блеснулъ огонекъ.— Это была корчма-бурдейка, т. е. выкопанная въ землѣ. Я вошелъ, спросилъ себѣ чего-то и присѣлъ въ уголокъ. Подлѣ меня на лавкѣ сидѣло три человѣка, очевидно, не мѣстныхъ жителей. Это были поляки, шедшіе пѣшкомъ, безъ копѣйки въ карманѣ, изъ Цареграда въ Галичину участвовать въ польскомъ возстаніи. Двое были мужчины, а третій оказался женщиной въ мужскомъ платьѣ.... Сидѣвшій подлѣ меня, высокій брюнетъ, чрезвычайно красивой и симпатичной наружности, горячо проповѣдывалъ что-то нѣсколькимъ старообрядцамъ, которые сидѣли на другой скамьѣ. За стойкой стоялъ грекъ, сильно ругавшій Россію за нашу политику старыхъ временъ, поддержавшую Турцію

въ ущербъ Греціи; за то, что, начиная крымскую войну, мы не объявили независимости Балканскаго полуострова, за то, что мы нерѣшительны, за то, что мы болѣе дорожимъ мнѣніемъ запада и такъ называемыми интересами цивилизаціи, чѣмъ искренно преданными намъ нашими единовѣрцами юго-восточной Европы; за то, что мы самихъ себя не уважаемъ, сами въ себя не вѣримъ, и т. д. и т. д.—обыкновенная пѣсня, которую можно слышать на югѣ отъ любого православнаго турецкаго или румунскаго подданаго. Красивый полякъ ему поддакивалъ и обращался преимущественно къ старообрядцамъ, толкуя имъ о правотѣ польскаго дѣла, о казачествѣ, о казачьей волѣ и о казачьей славѣ.

— Вѣдь вотъ на васъ посмотрѣть, говорилъ онъ—изъ-за чего страдаете? За что васъ гонятъ? Васъ тоже за вѣру, какъ и насъ, преслѣдуютъ. Въ нашихъ краяхъ еще недавно была унія, и вотъ силой закрыли уніатскія церкви,—народъ плачетъ объ уніи, потому что уніатскіе попы были люди умные, строгой жизни, строгой нравственности, а теперь наслали пьяницъ, воровъ, чуть ни разбой-

никовъ, которые дерутъ съ бѣдныхъ и богатыхъ и народъ ничему не учатъ.

Высокій, плечистый, широкобородый старообрядецъ, къ которому товарищи его, все молодые люди, относились съ видимымъ почтеніемъ, какъ къ хозяину,—впослѣдствіи я узналъ, что онъ былъ бессарабскій купецъ, а товарищи его были его прикащики,—улыбнулся и проговорилъ:

— «Да, это точно. Унія ваша была дѣло не крѣпкое, разомъ вырвалъ ее Николай Павловичъ съ корнемъ вонъ, такъ что даже и запаху не осталось. А вотъ насъ, старообрядцевъ-то, били, били, а никакъ до смерти не убили; мы все тутъ да тутъ, да все еще насъ больше становится!.....»

— Уніатовъ нѣтъ, продолжалъ полякъ, какъ будто не обращая вниманія на слова старообрядца,—потому что всѣ церкви уніатскія обратили въ православныя, а всѣхъ поповъ, которые не хотѣли принять греко-россійской вѣры, поссылали.

— «Я къ тому и веду, говорилъ старообрядецъ—что, значитъ, некрѣпкая вѣра была унія, коли можно было въ одинъ годъ перевести ее. Вотъ и у старообрядцевъ поссылали поповъ и наставниковъ, и церкви и моленныя позакрывали и печати

понакладали. Поймаютъ попа въ Лужкахъ, анъ, глядишь, въ Москвѣ архіерей выросъ, закрыли въ Москвѣ церковь — анъ, глядишь, эпархіи развелись. Значитъ, плохая вѣра была унія-то ваша, не твердая была, коли можно было ее взять да и съ корнемъ вонъ, ровно за окошко выбросить».....

— Это правда, отвѣчалъ полякъ, — у насъ народъ глупъ, какъ бараны: возьми палку да гони его куда хочешь, сегодня въ унію, завтра въ православіе, а послѣзавтра хоть — въ жиды.

— «Къ тому то я и клоню, продолжалъ старообрядецъ, что, значитъ, вѣра не крѣпкая была, коли народъ за нее не стоитъ. — Анъ то, что̀ вы говорите, пане, что народъ глупый: а я вамъ скажу, что народа глупаго нѣтъ, а есть вѣра не крѣпкая, за крѣпкую вѣру стоятъ, а за некрѣпкую вѣру не стоятъ».

— Да оно, пожалуй, та̀къ, говорилъ полякъ, — наша католическая вѣра крѣпче будетъ всякой уніи и всякой греко-россійской церкви, наша вѣра такая же крѣпкая, какъ и вотъ ваша раскольничья.

— «Раскольничья — говорить не слѣдуетъ! это выходитъ обидно: мы не раскольники, а мы право-

славные. Старообрядцами, пожалуй, можно насъ называть: мы, значитъ, старину держимъ».

— Ну такъ вотъ я и говорю, что двѣ вѣры крѣпкія — ваша старообрядская, да наша католическая. Какъ у васъ закрываютъ церкви, такъ и наши закрываютъ, да еще обращаютъ ихъ въ магазины, — жидамъ даютъ квартировать въ нихъ!!!! А кто гонитъ и насъ и васъ? Одинъ и тотъ же святѣйшій правительствующій синодъ. — Въ Россіи чего хотятъ? Въ Россіи хотятъ, чтобъ у всѣхъ былъ одинъ языкъ, одна вѣра, и чтобъ по всѣмъ спинамъ одинъ кнутъ ходилъ. Одни только мы дѣло и и дѣлаемъ: встали за свою вольность и за вольность вашего же русскаго народа. Мы идемъ за нашу и вашу вольность! Врагъ у насъ общій: русское правительство и греко-россійскій синодъ. — Если бы вы, гг. старообрядцы, были поотважнѣе, да поддержали насъ въ Россіи, поднялись вмѣстѣ съ нами, слетѣло бы, въ тартарары провалилось бы это правительство, гонитель и мучитель всѣхъ своихъ подданныхъ! — Всѣмъ стала бы воля, и были бы мы, поляки, лучшіе друзья и пріятели вольныхъ русскихъ.

— «Я къ тому и веду, что, не дѣло вы, пане,

говорите, сказалъ старообрядецъ, покачивая головой и допивая стаканъ вина; дать вамъ волю — и всѣмъ дать волю: царство если разрушить, какой порядокъ будетъ? Каждый въ свою сторону потянетъ. И нѣмцы забунтуютъ тоже и отложатся отъ Россіи — только примѣръ покажи....»

— Что̀ жъ, что нѣмцы отложатся: и нѣмцы тоже люди, и имъ тоже воли хочется. Пусть всѣмъ будетъ хорошо; каждому надо свое дать, чтобъ каждому народу и каждой вѣрѣ было свободно,—только тогда на землѣ честному человѣку и житье будетъ....

— «А коли вѣрѣ дать свободу, говорилъ старообрядецъ, — такъ опять толку не будетъ: это значитъ, ваша папежская вѣра станетъ народъ русскій смущать, опять унію заводить можно будетъ. Это значитъ нѣмецъ тоже пойдетъ въ свою лютерскую ересь народъ переводить. Тогда и пошатнется все, тогда и древнее православное благочестіе исчезнетъ».

— Да отчего жъ, говорилъ полякъ — нельзя позволять людямъ вѣровать такъ, ка̀къ они хотятъ? Если, дастъ Богъ, освободится Польша, то мы первые сдѣлаемъ законъ, что каждый изъ насъ, изъ

поляковъ, можетъ идти по какой вѣрѣ онъ хочетъ. Захочетъ быть лютераниномъ — будь лютеранинъ; захочетъ православнымъ сдѣлаться — будь православный; захочетъ сдѣлаться старообрядцемъ — будь старообрядцемъ; даже въ жиды, въ турки пойди, кому охота пришла....

— «Ну вотъ я и довелъ, значитъ теперь, васъ. Теперь и всѣмъ стало видно, что энто не порядокъ вы, пане, говорите, сказалъ старообрядецъ, выпрямился и подошелъ къ стойкѣ.—Ученый вы человѣкъ и изъ пановъ, это видно, только вы, значитъ, не дошли еще; а я вамъ сейчасъ покажу, что такое старообрядцы, и какъ легко подбить ихъ на то, куда вы это клоните. Мы понимаемъ, къ чему вы ведете рѣчь-то эту — къ бунту».

— «Костаки, крикнулъ онъ корчмарю — двѣ оки*) вина», и самъ, повернувшись круто къ поляку, уперся руками въ бока и разставилъ ноги:— sprichst du deutsch?!..»

Полякъ глядѣлъ на него, выпуча глаза. Я тоже смотрѣлъ въ недоумѣніи....

— «Ja, ich bin ein deutscher! Ich bin von geburt

*) *Ока* какъ мѣра жидкости, равняется двумъ бутылкамъ шампанскаго.

ein lutheraner!!! Nun, was willst du? Jetzt bin ich ein altgläubiger....»

Минута молчанія была по истинѣ торжественная. Я и полякъ, мы всѣ смотрѣли на него въ недоумѣніи; товарищи его, старообрядцы, подсмѣивались исподтишка. Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на эту могучую фигуру въ рубахѣ съ косымъ воротомъ, въ русскихъ портахъ и сапогахъ съ высокими голенищами, и въ армякѣ, надѣтомъ въ одинъ рукавъ. Закоптѣлая лампа тускло бросала свѣтъ на это энергическое, умное лицо бывшаго колониста, на его огромную бороду съ просѣдью и на его маленькіе сѣрые, какъ-то серьезно-веселые, глаза.

— Неужели вы въ самомъ дѣлѣ нѣмецъ? спросилъ я его.

— «А вотъ, какъ видите, отвѣчалъ онъ — еретикомъ родился, а какъ позналъ правую вѣру да окрестился, такъ таперича самъ себя человѣкомъ чувствую, и ни за что ужъ этой вѣры на ересь не промѣняю. А вы, небось, изъ ихнихъ?» и онъ ткнулъ пальцемъ въ поляковъ.

— Нѣтъ, я русскій, отвѣчалъ я.

— «Вы по какому же согласію?»

—Православный, отвѣчалъ я:—или, по вашему, никоніанинъ.

— «Это ничего — привѣтливо улыбнулся онъ — все значитъ, къ намъ ближе, чѣмъ къ нимъ, и вотъ ужъ вы бунтовать не станете!»...

— А вы по какому согласію? спросилъ я его, проглатывая его неумышленную пилюлю.

— «Я по старой вѣрѣ».

— Священство новое признаете?

— «Нѣтъ, пакости австрійской не признаемъ. Священства таперича на землѣ нѣтъ, сударь вы мой, отъ лѣтъ Нинона патріарха нѣтъ...»

— И какого толка вы держитесь? спрашивалъ я его.

— «Да какого же держаться? Теперь одинъ толкъ только и есть, котораго держаться можно...»

— Какъ же вашихъ называютъ?

— «Да называются всячески: безпоповцами называютъ, филипповыми называютъ, раскольниками называютъ, а мы сами себя православными именуемъ».

(Филипповщина признаетъ царя антихристомъ.)

Костаки тѣмъ временемъ нацѣдилъ двѣ оки вина.

— «Ребята, сказалъ нѣмецъ-старообрядецъ, разливая вино по стаканамъ (разумѣется, они подали свои собственныя — филипповцы не мірщатъ), хочу я энто позабавить пановъ да и васъ, молодцевъ, уму наставить!!!... Кто со мной будетъ пить за здравіе и долгоденствіе синода?..»

Старообрядцы пожались, переглянулись и въ раздумьѣ задвигались къ стойкѣ, очевидно не смѣя противорѣчить хозяину и полагаясь на его богословскій авторитетъ. Я тоже подошелъ и тоже взялъ стаканъ, во-первыхъ искренно, а во-вторыхъ изъ любопытства участвовать въ этой невѣроятной комедіи и видѣть эффектъ ея на бѣдныхъ поляковъ.

— «Таперича отчего будемъ пить за здравіе синода? — Оттого, что покуда есть синодъ (святѣйшимъ онъ его никогда не называлъ), до тѣхъ поръ ни католикамъ, ни лютерамъ, ни кальвинамъ, ни молоканамъ, ни скопцамъ богопротивнымъ — воли нѣтъ. Синодъ грѣхъ великій,—не освященный онъ а паче оскверненный, это точно, — да онъ такую сякую, а все будто православную вѣру блюдетъ. Покуда онъ въ силѣ, до тѣхъ поръ еще не въ конецъ пропала вѣра правая,—такъ, значитъ, надо

за синодъ стоять. — Такъ за здравіе и благоденствіе синода!!!»

И мы выпили. — Оставалась еще ока вина.

— Таперича за здравіе и благоденствіе Его Императорскаго Величества Государя Императора Всероссійскаго Александра Втораго Николаевича — чтобъ онъ одолѣлъ всѣхъ своихъ враговъ и супостатовъ, паче же бунтовщиковъ и безбожниковъ, и чтобъ Земли Русской, въ которой наша вѣра православная, хоть и слабо, а все-таки соблюдается, не растерялъ. (Но «пошли ему Богъ» — тонкій богословъ все-таки не сказалъ — молиться за царя филипповымъ нельзя).

И мы выпили за здоровье Государя.

— «Alez to szelma moskal!» прошепталъ высокій полякъ.

— «To musi być albo szpeg, albo ajent!» замѣтила ему шепотомъ полька.

Мнѣ было смѣшно, досадно и вмѣстѣ совѣстно. Это было весною 1864 г.

Не разъ, не два, а десятки разъ бывали со мной подобныя столкновенія. Молоканы, которыхъ у насъ считаютъ почему-то республиканцами; скопцы, у которыхъ есть не только свой царь, но и цѣлая

царская фамилія, свои генералы, адмиралы и архіереи; хлыстовская богородица, которая, предлагая мнѣ сдѣлаться христомъ, говорила мнѣ, что я буду царемъ небеснымъ и земнымъ и владыкой всего міра видимаго и невидимаго, такъ что всѣ цари земные по моей власти ходить будутъ, — всѣ они были такіе вѣрноподданные государя и такіе русскіе патріоты, какихъ поискать надо. Дѣло вѣры у нихъ само по себѣ; дѣло практической жизни, этотъ глубокій государственный смыслъ, проникшій всю нашу исторію и весь нашъ народный и домашній бытъ — опять само по себѣ.

Кажется, что послѣ «Окружнаго Посланія», предавшаго анаѳемѣ лондонскихъ дѣятелей, ни одинъ честный окружнинъ не сталъ бы сидѣть въ одной комнатѣ со мной,—а между тѣмъ я преспокойно роспивалъ чаи съ бѣлокриницкими архіереями и гащивалъ у самыхъ искреннихъ старообрядцевъ.

Много толкуютъ о нашей страсти къ обрядамъ и къ формальностямъ, да сплошь и рядомъ обвиняютъ нѣмцевъ за введеніе у насъ бюрократизма, формализма, за страсть къ мундирамъ и къ чинопочитанію. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы тутъ нѣмцы виноваты были; они, кажется мнѣ, только жару

поддали, а паръ и безъ нихъ былъ готовъ. Стоитъ заглянуть въ наши лѣтописи и хронографы, вспомнить мѣстничество, разряды, времена приказовъ, чинъ царскаго вѣнчанія, выхода, пріема посольствъ, чтобъ убѣдиться, что эта страсть къ обрядности, которая высказалась у насъ такъ рѣзко въ расколѣ и въ чиновничествѣ, даже въ недавней парадной выправкѣ солдатъ и въ подниливаніи ружейныхъ винтовъ, присуща нашему народному духу съ тѣхъ поръ, какъ народъ нашъ самъ себя помнитъ.

Соблюденіе формы во всемъ стоитъ у насъ впереди, во всемъ требуется не столько внутренняго убѣжденія, сколько внѣшняго приличія. Старообрядецъ у насъ не тотъ, кто вѣруетъ искренно, что съ 1666 г. правая вѣра пошатнулась, а тотъ, кто крестится двуперстно, кладетъ началъ, говоритъ: Господи Исусе Христе Сыне Божіи помилуи насъ»; а не «Господи Іисусе Христе Боже нашъ помилуй насъ»,— а что онъ тамъ себѣ вѣритъ и какъ онъ себѣ думаетъ, до этого никому нѣтъ дѣла. Практически это привело къ тому, что мы, требуя другъ отъ друга соблюденія извѣстныхъ религіозныхъ и гражданскихъ обрядовъ и не допуская никакой разницы въ нихъ для себя, налагали

ихъ силой на всѣ народности, которыхъ мы покоряли и такимъ образомъ ихъ обрусили, а тѣмъ и сплотили наше великое государство. Не правъ былъ тотъ иностранецъ, который отозвался объ Россіи, будто это глыба снѣга, держащаяся только привычкой, только потому, что ей не доставало внѣшняго толчка. Толчковъ Россія выдержала много и выдержала съ честью; удары не разрушили ея, а только крѣпче сковываютъ въ одно цѣлое. — Держитъ ее не привычка, а держитъ обрядъ быть русскимъ, говорить всегда по-русски, исповѣдывать русскую вѣру, почитать извѣстные законы, имѣть православнаго царя и извѣстныя границы и властвовать надъ извѣстными народностями. Такъ и сектанты наши позволяютъ себѣ думать, что̀ имъ угодно, и имѣть какія имъ угодно связи, водить съ кѣмъ полюбится хлѣбъ-соль и даже расходиться съ господствующей церковью и не молиться за царя — но все это не выходя изъ предѣловъ уваженія къ синоду, страстной любви къ Россіи и вѣрноподданства, потому что обрядъ ихъ, какой бы онъ ни былъ, требуетъ, чтобъ они были русскіе и заботились о благоденствіи Россіи. Я сплошь и рядомъ замѣчалъ, что къ бѣглому мошеннику, даже къ

убійцѣ, они относятся какъ-то снисходительнѣе, чѣмъ къ бунтовщику. Мошенникъ, на ихъ взглядъ, казнится за частное дѣло, за нарушеніе подробности; бунтовщикъ же святотатственно идетъ противъ цѣлаго, противъ всего, т. е. царя, — а царь выраженіе государства. Бѣглому мошеннику они никогда не посовѣтуютъ возвратиться въ Россію; мнѣ и польскимъ эмигрантамъ они постоянно трубили въ уши о явкѣ на границу съ повинной—и вовсе не затѣмъ, чтобъ мы погибли, а чтобъ мы покаяніемъ вымолили себѣ прощеніе. Понятно, какъ это меня первое время досадовало, и какъ я сильно обманулся въ своихъ разсчетахъ поддержать политическую пропаганду въ Россіи при помощи нашихъ заграничныхъ старообрядцевъ.—Но какъ бы то ни было, общій голосъ всѣхъ этихъ выходцевъ сильно меня тревожилъ еще до временъ моего діогенства.

Въ Яссахъ мнѣ пришлось ужъ совсѣмъ жутко. Одинъ за другимъ приходили они ко мнѣ, и, волей-неволей, стоило только заговорить о Россіи — а мы ни объ чемъ не могли говорить, кромѣ какъ объ ней — разговоръ сводился на возможность и невозможность моего возвращенія. Къ чему я ни прибѣгалъ, какихъ рѣшительныхъ мѣръ ни употреб-

лялъ я заглушить въ себѣ эту страстную тоску по родинѣ, какихъ ни подъискивалъ я темныхъ сторонъ въ нашемъ современномъ бытѣ и въ нашемъ настоящемъ правительствѣ, но какая-то невольная, независимая отъ меня сила постоянно заставляла меня болѣе и болѣе любить Россію, болѣе и болѣе тосковать по ней, болѣе и болѣе понимать, что она не можетъ быть иной, еслибъ того и хотѣли отдѣльныя личности.

Чтобъ отвязаться отъ этой тоски, я сталъ, въ мартѣ 1867 года, готовиться къ путешествію по Молдавіи и, для изученія ея, перезнакомился съ нѣкоторыми ясскими боярами, — я надѣялся, что этимъ знакомствомъ и этимъ занятіемъ я развлеку свой умъ и избавлюсь отъ давившей меня тоски — а она меня давила такъ, что я даже не могъ продолжать своего сочиненія о Галичинѣ.

Но ясскіе бояре оказались плохимъ средствомъ противъ моихъ страданій. Первое знакомство мое съ ними началось ихъ бранью на Россію. Они бранили насъ не такъ, какъ валахи,—не за наше варварство, не за наши кнуты и плети, не за Сибирь, не за наши поступки съ поляками, не за наши завоеванія,—а за нашу безпечность.

— «Что у васъ дѣлаютъ въ Москвѣ и Петербургѣ? кричали они мнѣ хоромъ, дрожа отъ негодованія — чего у васъ спятъ? Зачѣмъ оставляютъ насъ на произволъ судьбы, игрушкой Франціи и Австріи? Мы не хотимъ союза съ Валахіей, — онъ намъ въ тягость, онъ насъ разоряетъ. Валахи захватили къ себѣ все наше правительство, сдѣлали изъ Молдавіи подчиненную область, въ букурештскомъ парламентѣ валаховъ больше чѣмъ молдаванъ, и они заглушаютъ нашъ голосъ во всѣхъ вопросахъ. Мы лишены суда, мы лишены войска, мы задолжали по милости ихъ; на наши молдавскія деньги украшаютъ Букурештъ, строятся церкви въ Валахіи, — а у васъ спятъ!!! Наше положеніе до того тяжело и невыносимо, что мы уже не хотимъ ни бо̀льшей политической свободы, ни независимости. — Мы обращались съ мольбою къ вашимъ консуламъ, чтобъ они вступились за насъ передъ валахами, — но ваши консула отъ насъ прячутся, говорятъ, что они ни на что не уполномочены, и что безъ особыхъ инструкцій ничего не могутъ дѣлать. Французскій и австрійскій консулы изъ кожи вонъ лѣзутъ, чтобъ заискать у насъ добраго мнѣнія о своихъ правительствахъ, но мы имъ извѣрились: намъ

надоѣло плясать по дудкѣ Франціи и Австріи, намъ надоѣли толки ихъ о томъ, что мы принадлежимъ къ благородному латинскому племени, что мы потомки древнихъ римлянъ, и потому судьбы наши должны быть связаны съ судьбами западной, а не восточной Европы. Куда намъ, крохотному племени, мечтать о политической независимости или играть какую бы ни было серьезную роль въ судьбахъ Востока? Если бы у васъ въ Петербургѣ понимали нашъ вопросъ, и знали бы наши желанія, если бы намъ только руку протянули, только бы согласіе свое дали, завтра же «suffrage universel» заявилъ бы себя въ пользу присоединенія къ Россіи на какихъ-нибудь правахъ васальнаго княжества, въ родѣ Финляндіи,—намѣстничествомъ, даже генералъ-губернаторствомъ; мы вамъ не стали бы предписывать условій этой анексаціи, и если бы вы намъ въ судахъ и администраціи оставили нашъ языкъ и нѣкоторые наши народные законы и обычаи, мы вамъ были бы за это благодарны, и приняли бы это какъ подарокъ. — Валаховъ мы ненавидимъ; наша вражда къ нимъ длится цѣлые вѣка; мы не можемъ, мы не хотимъ быть съ ними. Колосальная Россія можетъ

угнетать насъ, но оскорблять насъ она не можетъ, потому что она слишкомъ велика для этого. Но маленькая Валахія, это ничтожное княжество, гдѣ нравы грубѣе нашихъ, гдѣ образованность находится сравнительно на низшей степени, гдѣ общественная нравственность представляетъ все самое ужасное, что только можно придумать, оскорбляетъ насъ своей наглостью, своей заносчивостью и несправедливостью».

И тутъ я опять наткнулся на Россію! И тутъ, въ этой Молдавіи, въ этой латинской расѣ, которая еще такъ недавно насъ ненавидѣла, я опять-таки нашелъ то же самое, что и у западныхъ славянъ; опять та же безпредѣльная любовь къ Россіи, та же вѣра въ нее, то же стремленіе слиться съ ней въ одно государство,—все равно въ какое,—только бы слиться.

А что правы были мои бояре, толкуя о результатахъ «suffrage universel», я это самъ зналъ не хуже ихъ отъ молдавскаго простонародія, съ которымъ имѣлъ я множество случаевъ весьма коротко познакомиться. Дѣйствительно, молдавскій простолюдинъ ни о чемъ такъ не мечтаетъ, какъ о приходѣ русскихъ, которые одни съумѣютъ ввести и удержать

хоть какой-нибудь порядокъ, а объ остальномъ онъ не заботится, разсчитывая что împeratur ruséscü esti omul bunŭ — «русскій царь добрый человѣкъ».

Тому, кто не бывалъ въ этихъ неизвѣданныхъ мѣстахъ, примыкающихъ къ нашей границѣ, кто не живалъ подолгу между славянами и румунами, тому трудно себѣ представить, какое обаяніе производитъ на нихъ Россія. Ни агентовъ мы не посылаемъ къ нимъ, ни рублями нашими мы не сыплемъ, какъ насъ обвиняютъ французскія и жидовско-австрійскія газеты — мы въ простотѣ души даже не знаемъ, кто живетъ въ этихъ краяхъ, что̀ тамъ творится, что̀ тамъ думаютъ, что̀ говорятъ, о чемъ мечтаютъ, а между тѣмъ тамъ горячо бьются сердца любовью къ намъ и упованіемъ на насъ. Не руками нашими хотятъ они жаръ загребать, — они хотятъ отдаться намъ просто, беззавѣтно, потому что ихъ оскорбилъ и отторгнулъ Западъ, потому что Австрія дѣлала изъ нихъ игрушку своихъ видовъ, потому что они окончательно потеряли вѣру во все невосточное, т. е. не свое. Если они и бранятъ насъ, то бранятъ за наше невѣдѣніе и за наше слишкомъ великое уваженіе къ мнѣнію объ насъ Парижа, Лондона, Вѣны и Берлина, да за то, что

ми посылаемъ нашими представителями между ними людей не нашей православной вѣры, а еще чаще и хуже, людей невѣжественныхъ въ тамошнихъ вопросахъ, робкихъ, нерѣшительныхъ и несочувствующихъ имъ.

Славянскій съѣздъ готовился въ Москвѣ—яссскіе чехи перезнакомились со мной за то, что я русскій. На евреевъ поднято было гоненіе (впрочемъ совершенно справедливое); я изучалъ тогда еврейскій вопросъ съ цѣлью изслѣдовать причины общей ненависти къ этому несчастному племени, и перезнакомился со множествомъ лучшихъ его представителей въ Яссахъ. Евреи тамъ большею частью бѣглые изъ Россіи и изъ Австріи, и всѣ они хоромъ пѣли мнѣ о своей любви и преданности Россіи, въ которой они намошенничались до того, что нельзя было и носу показать въ родной Житоміръ, Бердичевъ, Минскъ, Пинскъ, Шкловъ и тому подобные земные еврейскіе раи.—Одни поляки и мадьяры смотрѣли косо на все русское и громко заявляли мнѣ, тоже и ихъ изучавшему, свое негодованіе на созданныхъ ихъ же собственнымъ воображеніемъ русскихъ агентовъ и подкупателей. Кромѣ поляковъ и мадьяровъ, да чиновниковъ австрійскаго консуль-

ства, — въ Яссахъ никто не благоговѣетъ передъ Австріей, и никто къ ней не тянетъ. Какъ Австрія ни лѣзетъ вонъ изъ кожи и какъ ни старается пріобрѣсти сочувствіе народовъ Балканскаго полуострова и лѣваго берега нижняго Дуная, ничего ей бѣдной не удается. Одна мечта у всѣхъ, отъ милліонера-боярина до послѣдняго водовоза: «скоро ли придутъ русскіе, и скоро ли устроится хоть какой-нибудь порядокъ?!»

Понятное дѣло, каково мнѣ приходилось при подобной обстановкѣ. Тутъ уже было не до изученія Молдавіи и не до какихъ-либо ученыхъ изслѣдованій. Какъ кошмаръ засѣла во мнѣ страшная мысль воротиться во чтобы то ни стало, и воротиться какъ можно скорѣй...

Я отбился отъ сна, отъ ѣды, отъ занятій, я по цѣлымъ недѣлямъ ничего не дѣлалъ — цѣлые часы лежалъ на диванѣ или цѣлые часы сидѣлъ на крыльцѣ двора, разсматривая растилавшіеся передо мной виды за ручьемъ Бахлуемъ....

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

III.

Какъ воротиться? — Разговоръ съ консуломъ — Упадокъ силъ — Скопецъ Константинъ Степановичъ — Его горе о Россіи и любовь къ ней — Мытье коляски разрубаетъ гордіевъ узелъ — Желѣзная музыка — Почему пало наше торговое вліяніе на Турцію?

Вопросъ, зачѣмъ воротиться, былъ для меня ясенъ; — мнѣ хотѣлось быть между русскими, дышать русскимъ воздухомъ, хоть бы въ вѣчной тюрьмѣ или каторгѣ. Оставаться эмигрантомъ было физически невозможно — я бы съ ума сошелъ, если бы не воротился, сошелъ бы съ ума оттого, что считалъ бы себя непослѣдовательнымъ. Мнѣ тошно стало оставаться протестомъ противъ правительства, совершившаго столько великихъ реформъ, и, противъ убѣжденія, держаться за знамя, вѣру въ которое потерялъ. Меня совѣсть мучила, что я, изъ постыдной боязни тюрьмы или ссылки, не участвую на этомъ общемъ пирѣ пробужденія государства, которое для меня дороже моей соб-

ственной личности. Тоска моя была такъ велика, что если бы я вѣрилъ, что готовившееся тогда болгарское возстаніе въ самомъ дѣлѣ будетъ возможно, въ чемъ я сильно сомнѣвался, не вѣря, чтобъ разсудительные и тяжелые на подъемъ болгаре отважились на такое рѣшительное дѣло, — я бѣжалъ бы отъ самого себя въ Балканы, чтобъ въ трудахъ волонтерской жизни найдти себѣ успокоеніе и, можетъ быть, развязаться съ самимъ собою въ какой-нибудь схваткѣ.

Вопросъ стало-быть стоялъ, какъ воротиться?

Самое простое и самое естественное было бы обратиться въ наше консульство съ просьбой исходатайствовать мнѣ обыкновеннымъ путемъ помилованіе, но на это я не рѣшился. Во-первыхъ, былъ ли бы я помилованъ этимъ путемъ — неизвѣстно; мнѣ предложили бы, по всей вѣроятности, ссылку на нѣсколько лѣтъ хоть бы во внутреннія губерніи (гдѣ такъ удобно можно задохнуться со скуки и съ тоски, и гдѣ жизнь, во всякомъ случаѣ, хуже ясской, — изъ Яссъ я могъ разъѣзжать по цѣлому свѣту, а изъ какого-нибудь Устьсысольска, или даже изъ Саратова, меня не отпускали бы никуда безъ особаго разрѣшенія). Во-вторыхъ, въ

ссылкѣ ли или на полной свободѣ, я игралъ бы весьма двусмысленную роль въ глазахъ правительства, которое не имѣло бы никакого залога въ искренности моего обращенія. Состоять подъ надзоромъ полиціи, знать, что слѣдятъ за каждымъ моимъ шагомъ, что меня терпятъ, но не вѣрятъ мнѣ,— вообще, быть въ двусмысленномъ положеніи казалось мнѣ и унизительно и невыносимо. Наконецъ, третье, что меня удерживало хлопотать обще-принятымъ порядкомъ было то, что переписка обо мнѣ, наведеніе всевозможныхъ справокъ и т. п. затянулась бы на нѣсколько мѣсяцевъ,—а мнѣ каждый день былъ невыносимой пыткой...

Другая мысль болѣе меня прельщала—явиться къ самому Государю и сдаться ему лично...

Я могъ бы взять въ Яссахъ паспортъ на имя какого-нибудь молдавана, спокойнѣйшимъ образомъ визовать его въ русскомъ консульствѣ, гдѣ меня никто въ лицо не зналъ, и отправиться или въ Парижъ или въ Петербургъ. По дорогѣ въ Петербургъ, я успѣлъ бы въ Москвѣ осмотрѣть этнографическую выставку, которая меня сильно занимала, а въ Парижѣ всемірную, гдѣ было собрано такъ много образчиковъ архитектуры разныхъ народовъ, на-

ціональной промышленности, костюмы и т. п., на что меня тоже сильно манило взглянуть, а затѣмъ, удовлетворивъ своему любопытству,—отдаться на произволъ судьбы, что бы она мнѣ ни готовила.— Планъ этотъ мнѣ очень нравился, и я долго и долго обдумывалъ его,—но и его принужденъ былъ бросить. Во-первыхъ, неожиданное появленіе мое передъ Государемъ, котораго весьма легко можно бы остановить на улицѣ, могло подѣйствовать на него непріятно и, во всякомъ случаѣ, показалось бы если не эффектной штукой, то отсутствіемъ такта и чувства благопристойности съ моей стороны. Въ Парижѣ это было бы крайне невѣжливо, а въ Петербургѣ даже и дерзко. Да и сверхъ того, если я захотѣлъ сдаться и порвать съ своимъ прошедшимъ, то съ какой же стати я разъѣзжаю по Россіи и проживаю въ ней съ молдавскимъ паспортомъ подъ чужимъ именемъ? Наконецъ, если бы подобный поступокъ и доставилъ мнѣ помилованіе то опять-таки роль моя въ глазахъ правительства и въ глазахъ порядочныхъ людей казалось бы двусмысленной. Это было бы показыванье удали, а людей, показывающихъ удаль и всякіе фокусы выкидывающихъ, мало кто уважаетъ. Мнѣ же не хотѣ-

лось ронять себя ни въ своихъ глазахъ, ни въ глазахъ общественнаго мнѣнія. Надо было сдѣлать проще и какъ можно не казистѣй.

Отсюда истекало, что мнѣ слѣдуетъ просто-на-просто явиться въ ближайшую таможню и, объявивъ, кто я такой, попросить, чтобъ меня арестовали и препроводили въ Петербургъ.

Намучился я и наколебался порядкомъ покуда пришелъ къ этому страшному рѣшенію, но какъ оно мнѣ ни было страшно, и какъ мнѣ ни было жутко идти на «панъ или пропалъ», а другаго исхода не было. Сознаніе, что другаго исхода нѣтъ, еще больше стало томить мой умъ, и безъ того измученный предшествовавшимъ тяжелымъ переворотомъ всего образа мыслей и настроенія. Куда дѣвалось мое недавнее спокойное состояніе духа и самодовольное отрицаніе всего живаго и неживаго, презрѣніе чувства, мысли, знанія, невѣріе въ абсолютъ и ненависть ко всему существующему, которое я такъ спокойно и логически презиралъ? Стоило мнѣ, живому мертвецу, очутиться въ средѣ, дышащей жизнью, молодыми, свѣжими страстями, гдѣ пульсъ бойко бьется, гдѣ кровь кипитъ и гдѣ

подчасъ жолчь клокочетъ, — я воскресъ, я опять сталъ и человѣкомъ, и гражданиномъ!...

День и ночь обдумывалъ и передумывалъ я, что мнѣ сдѣлать и какъ поступить, и ничего не могъ придумать до субботы 13-го мая (1867 г.). Никому ничего не говоря — никто не зналъ, что̀ меня мучитъ и что̀ я собираюсь сдѣлать (вообще, если я затѣваю что-нибудь крупное, я какъ-то инстинктивно скрываю отъ всѣхъ свое намѣреніе) — вдругъ пришла мнѣ въ голову мысль отправиться къ ясскому консулу, г. Корчевскому, и я отправился.

На всякій случай, не желая возбуждать толковъ о моемъ посѣщеніи консульства, — что̀ на эмигрантскій взглядъ считается болѣе чѣмъ подозрительнымъ, — я велѣлъ доложить о себѣ какъ объ Ивановѣ-Желудковѣ.

Меня ввели въ залу.

— Какими судьбами? спросилъ меня г. Корчевскій; — чрезвычайно радъ съ вами познакомиться.

— Я къ вамъ являюсь подъ псевдонимомъ... началъ я.

— Я знаю ваше настоящее имя.

— Я пришелъ къ вамъ за совѣтомъ и, если

можно, за помощью: научите, пожалуйста, какъ мнѣ воротиться въ Россію....

— А вы давно за границей? спросилъ г. Корчевскій.

— Девять лѣтъ.

— Особенно ни въ чемъ не замѣшаны?

— Замѣшанъ въ очень многихъ дѣлахъ, и, по сенатскому приговору, объявленъ неосужденнымъ государственнымъ преступникомъ, изгнаннымъ на вѣчныя времена изъ предѣловъ государства; въ случаѣ же возвращенія моего въ Россію или выдачи меня правительству, долженъ быть переданъ суду правительствующаго сената. Вотъ у меня какое званіе и какія права съ нимъ соединены....

— Да-съ, это не совсѣмъ хорошо. Однако, извините за нескромность: что же васъ побуждаетъ возвратиться? спросилъ г. Корчевскій.

— Да какъ вамъ сказать? — и надоѣло мнѣ скитаться какимъ-то вѣчнымъ жидомъ, хочется имѣть родину, да и взгляды мои на ходъ русскихъ дѣлъ сильно перемѣнились. Короче сказать, имѣю причины и не считаю себя въ правѣ продолжать эмигрантскую жизнь. Мнѣ хочется воротиться,

но я совершенно сбиваюсь съ толку, *какъ* къ этому приступить. Самое простое было бы явиться въ Сиуляны; но, признаюсь, перспектива вѣчной крѣпости или долголѣтней каторги, даже самой ссылки во внутреннія губерніи, гдѣ можно съ ума сойдти отъ скуки и отъ бездѣйствія,—меня пугаетъ! Просить помилованія, разумѣется, можно и отсюда, но я опять-таки боюсь, что условіемъ моего помилованія мнѣ поставятъ выдачу разныхъ старыхъ дрязгъ и сношеній, которыя теперь не имѣютъ смысла, но за которыя люди, нѣкогда увлекавшіеся и дѣлавшіе разные глупости, могутъ пострадать. Меня въ ужасъ приводитъ, что я могу погубить или даже не погубить, а ввести въ хлопоты людей, которые мнѣ нѣкогда довѣрялись, перепугать ихъ семьи, ихъ пріятелей... Даже и помимо того, возвращеніе въ Россію предателемъ сдѣлаетъ то, что никто руки мнѣ не протянетъ, и что само правительство не станетъ меня уважать. Вотъ ужъ нѣсколько мѣсяцевъ ломаю я голову надъ этой дилеммой, страдаю не только нравственно, но и физически, дошелъ до страшнаго разстройства нервовъ и, признаюсь, ничего не могу выдумать. За васъ я хватаюсь, какъ утопающій за щепку, — можетъ

быть, вы, здѣшній представитель нашего правительства, надоумите меня, что мнѣ дѣлать...

Консулъ задумался.

— Да, я понимаю, сказалъ онъ,—ваше положеніе не совсѣмъ легкое, и право не знаю, что вамъ посовѣтовать... Попробуйте вотъ что: напишите мнѣ частное письмо съ изложеніемъ вашей краткой біографіи и взглядовъ, а я отправлю его въ Петербургъ, откуда, во всякомъ случаѣ, придетъ какой-нибудь отвѣтъ, а изъ этого отвѣта вы узнаете, à quoi vous tenir.

Въ этотъ день г. Корчевскій переѣзжалъ на дачу. Въ Яссахъ ему нужно было быть въ середу 17-го мая, и мы условились, что въ середу я явлюсь къ нему съ такимъ письмомъ.

Легко мнѣ стало и весело, когда я вышелъ отъ него,—точно половина дѣла была сдѣлана. Но едва я добрался до своей квартиры, какъ снова цѣлый потокъ черныхъ и бурныхъ думъ охватилъ мою душу. Во-первыхъ, какъ рѣшиться написать письмо? отречься отъ стараго? Какъ порвать связи съ міромъ, который мнѣ все-таки дорогъ и близокъ, потому что я столько лѣтъ жилъ только въ немъ и только имъ? Люди, которыхъ я думалъ

бросить и которыхъ все-таки не могъ не любить и не уважать, могли заклеймить меня страшнымъ именемъ отступника, ренегата, предателя!.. Я зналъ, что лучшіе изъ нихъ знаютъ меня на столько, что поймутъ и оцѣнятъ мой поступокъ— но что скажетъ масса? Относиться къ общественному мнѣнію можно, пожалуй, легко, но относиться ко мнѣнію своихъ — какіе бы они ни были—вещь трудная.

Что написать? Какъ написать? Въ какихъ выраженіяхъ, въ какомъ тонѣ? Писать, для меня, штука не трудная; но на этотъ разъ руки у меня не поднимались. Нѣсколько разъ начиналъ я писать письмо къ консулу и нѣсколько разъ бросалъ. Голова какъ-то тупѣла, перо не держалось въ пальцахъ, фраза съ фразой не склеивалась.—Ни разу въ жизни своей не чувствовалъ я такого отупѣнія.

Съ утра до вечера лежалъ я неподвижно на спинѣ или, какъ статуя, стоялъ у забора, смотря на дальніе забахлуйскіе монастыри, и одна мысль— все одна мысль — томительно и тяжело работала у меня въ мозгу. Сколько времени пройдетъ, пока изъ Петербурга придетъ хоть какой-нибудь отвѣтъ? Все не раньше двухъ-трехъ мѣсяцевъ, да еще, мо-

жетъ быть, два-три мѣсяца протянутся въ какихъ-нибудь перепискахъ, переговорахъ, а—развѣ я могу ждать мѣсяцы? Я недѣль ждать не могу: каждый день, каждый часъ истомляетъ меня. Я началъ замѣчать, что отъ страшной внутренней борьбы, у меня память слабѣетъ, и умъ тупѣетъ. Я сдѣлался какъ-то разсѣянъ, забывчивъ, неакуратенъ; у меня воля упала,—даже физически я замѣтно ослабѣлъ.... Не желаю я никому испытать той нравственной ломки, которая досталась мнѣ на долю весной 1867 г. До сихъ поръ чувствую я слѣды ея, и не знаю, поправится ли когда, а если и поправится, то скоро ли, мое здоровье...

Я не могъ написать письма.

Пришла середа. Пробило двѣнадцать часовъ, нужно было ѣхать къ г. Корчевскому, а у меня ничего не было написано...

Въ мрачномъ отупѣніи я лежалъ неподвижно, ни о чемъ не думая, ничего не желая, ненавидя себя и все окружающее. Слуга мой то и дѣло входилъ въ комнату посмотрѣть, что со мной творится, и уговорить меня или поѣсть или пройтись. — Этотъ молдаванъ, Димитраки, былъ крѣпко мнѣ преданъ и сильно заботился о моемъ здоровьѣ. Онъ съ толку

сбивался, что̀ со мной такое творится и почему я чахну и слабѣю безъ всякой видимой причины...

Прошла середа, прошелъ четвергъ; я никуда не выходилъ, ничего не дѣлалъ, читалъ что-то, помнится «Петербургскія Трущобы» въ двадцатый разъ перечитывалъ; но перечитывалъ не для того, чтобъ прочитать, — а просто чтобъ занять себя процесомъ чтенія. Меня душила злоба на мое безсиліе, на нерѣшительность, и меня подавляло бѣшенство, что дѣло возвращенія затягивается по моей собственной милости.

Ночь съ четверга на пятницу я не спалъ — сна не было. Съ разсвѣтомъ я всталъ, шатаясь; голова кружилась, ноги дрожали; солнце только всходило. Я вышелъ на дворъ къ забору и сталъ опять разсматривать забахлуйскіе монастыри. (Жилъ я у «Трехъ Святителей»).

— Не дурно было бы пройтись, мелькнуло у меня въ головѣ, а то я ужъ черезчуръ засидѣлся.

Я переодѣлся и вышелъ. Было свѣжее майское утро; городъ еще спалъ, лавки были затворены, прохожихъ почти не попадалось, и громко звучали шаги мои по плитамъ. Я шелъ на Прокурары. Прокурары — кварталъ на краю Яссъ — нѣчто въ

родѣ нашей Ямской, — населенный преимущественно извощиками; а такъ какъ лучшіе извощики въ Яссахъ скопцы, то Прокурары составляютъ нѣчто въ родѣ скопческаго квартала. Тамъ живетъ единственный и лучшій мой другъ въ Яссахъ: мценскій крестьянинъ Константинъ Степановичъ, лѣтъ тридцать тому назадъ ушедшій изъ Россіи за принятіе полной чистоты...

Это человѣкъ высокаго роста, безбородый, съ той безцвѣтной и матовой морщинистой кожей, которая отличаетъ ихъ секту, и съ той теплой и живой душой, которая, признаться сказать, рѣдко встрѣчается между его единовѣрцами. Я мало видалъ скопцовъ, которые такъ не любили бы сплетень, ссоръ, имѣли бы такое чуткое и благородное сердце, такую благоуханную душу, какъ мой пріятель. Несмотря на то, что онъ не получилъ почти никакого образованія, и что всѣ его знанія ограничиваются умѣньемъ читать и писать, разговоръ съ Константиномъ Степановичемъ всегда доставлялъ мнѣ глубокое наслажденіе, и посѣщенія его всегда были для меня истинной радостью и отдыхомъ. Меня влекло къ нему его умѣнье любить, понимать и прощать людей, его искренняя и теплая вѣра,

отвращеніе отъ всякой лжи и неправды, а въ последнее время насъ окончательно связала наша общая и горячая любовь къ Россіи.

— Боже мой, говаривалъ онъ мнѣ часто, — какой вы, Василій Ивановичъ, счастливый человѣкъ! Вамъ можно воротиться, — васъ хоть въ каторгу сошлютъ, да все въ Россіи будете; а нашего брата даже не пускаютъ отсюда назадъ въ Россею, даже и въ каторгу-то эту самую не берутъ!.. Тридцать лѣтъ живу я въ Молдовѣ; вотъ и устроился, и обзавелся, и деньжонки кое-какія нажилъ, свой дворъ поставилъ, биржи *) у меня есть, — а не глядѣла бы душа моя на нихъ! Какъ подумаю, что придется умирать въ этой Молдовѣ, кости свои сложить на чужой сторонѣ, такъ вотъ защемитъ, защемитъ и заноетъ мое сердце!.. На все бы пошелъ, только бъ пустили меня старика взглянуть на нашъ мценскій уѣздъ! Что я сдѣлалъ? За что отрѣшился отъ русской земли! смущалъ я кого? обращалъ я кого въ нашу вѣру?—Ни въ чемъ неповиненъ, да и повиненъ не буду!... Развѣ за то, что оскопился? — да кто захочетъ нашу участь

*) Извощичьи колиски.

принять — милости просимъ! а силой мы никого не тянемъ и никого не подговариваемъ. Кто хочетъ, самъ къ намъ идетъ. Да и не любо намъ, что идутъ къ намъ всякіе: набралось промежъ нашихъ такихъ, что только худую славу на насъ кладутъ; такъ что подчасъ даже и скопцомъ изъ-за нихъ стыдно быть. Великое дѣло скопечество, но надо умѣть нести его, и горше будетъ на томъ свѣтѣ тому, кто принялъ нашу участь, да соблюсти ее не съумѣлъ, чѣмъ вамъ, мірянамъ. И ужъ будто мы такіе вредные, будто мы такіе опасные!? Вонъ, живемъ мы здѣсь, въ этой Молдовѣ,— кого мы здѣсь совратили? кого мы въ свою участь переманили? Обвиняютъ насъ, болтаютъ про насъ— а никто насъ не знаетъ. Охъ, счастливый ты человѣкъ, счастливый ты человѣкъ, Василій Ивановичъ, пустятъ тебя въ Россію, а нашего брата не пускаютъ! Это все Липранди этотъ надѣлалъ, что насъ пускать не велѣно... похвалятъ его на томъ свѣтѣ за его неправду!..

Я часто заходилъ къ Константину Степановичу поналякать и напиться его превосходнаго парного молока (почти всѣ скопцы держатъ коровъ и куръ, потому что ихъ главная пища въ скором-

ные дни состоитъ изъ молока, масла, творогу, сыра и яицъ, — мяснаго и хмѣльнаго они не употребляютъ). Этотъ разъ я шелъ къ нему и для прогулки и для его парного молока, и для того, чтобъ было съ кѣмъ потолковать о Россіи, и просто для того, что надо же человѣку куда-нибудь идти, если ужъ пошелъ; да, пожалуй еще, чтобъ избавиться отъ надоѣдавшихъ мнѣ поляковъ, которые въ то время тоже вдругъ восчувствовали огромную и нешуточную привязанность къ Россіи по поводу разнесшихся слуховъ, будто Ригеръ и Палацкій взялись примирить ихъ съ нами, и будто наше правительство идетъ съ ними на какія-то сдѣлки... Поляки этому ликовали, ликовали чехи, болгаре, сербы, греки, — всѣ поздравляли поляковъ и русскихъ съ ожидаемымъ примиреніемъ. Одни австрійскіе нѣмцы да мадьяры хмурились и ругались, видя, что поляки тутъ же прервали съ ними всякія сношенія. Но это мнѣ начало ужъ надоѣдать, потому что еще больше злило меня, зачѣмъ я эмигрантъ, зачѣмъ я не въ Россіи.

Когда я отворилъ калитку огромныхъ, какъ кирпичъ красныхъ, воротъ Константина Степаныча, онъ стоялъ на дворѣ и мылъ коляску.

— А, Василій Ивановичъ! крикнулъ онъ, увидѣвъ меня, — вотъ доброе дѣло сдѣлали, что зашли,—чайку напьемся, да потолкуемъ. Ну, а что новаго въ Росси дѣлается?

— Славяне пріѣхали, торжество за торжествомъ идетъ, всѣ радуются, — отвѣчалъ я угрюмо.

— Эхъ, хорошо, хорошо! говорилъ Константинъ Степановичъ — а нѣмецъ и французъ поди злятся?

— Злятся, Константинъ Степановичъ, — ругаютъ насъ на повалъ, трусятъ.

— Боже, какъ Росея-то въ гору идетъ!—такъ и забираетъ, такъ и забираетъ! — Ну, а кандіоты что?

— А для кандіотовъ складчины дѣлаютъ.

— Доброе дѣло! Люблю! Знай, не выдавай нашихъ! — Хоть греки, а все нашей вѣры, все православные. — Ну, а Максимиліанъ?

Разговоръ мой съ Константиномъ Степановичемъ всегда начинался политикой и всегда сходилъ на сравненіе нашей политики и силы съ французской, англійской, австрійской и т. п.

— Что это сегодня вы коляску моете?

— Да вотъ, одного боярина сегодня повезу въ Скуляны, въ Росею ѣдетъ...

Я пошатнулся:

— Когда же выѣдетъ?

— Да такъ часика черезъ полтора-мѣста...

— А долго до Скулянъ ѣхать?

— Нѣтъ, не то чтобъ долго, — всего верстъ двадцать пять, много тридцать, будетъ.

Я ожилъ. Ноги стали у меня крѣпче, умъ свѣтлѣй. Какая-то сила прилила къ груди, — точно переломъ совершался со мной, точно галваническій токъ какой по мнѣ пробѣжалъ...

— Константинъ Степанычъ, — не въ службу, а въ дружбу, — нельзя ли присѣсть къ вамъ на козлы?

— На козлы? Да садитесь, пожалуй. — Что вамъ? Скуляны, что ли, любопытно посмотрѣть?

— Да, Скуляны...

— Что жъ, поѣдемте, — мнѣ жъ веселѣй будетъ. Позабавимся тамъ [1]) часика два, а къ обѣду поспѣемъ въ Яссы...

— Ну нѣтъ, Константинъ Степановичъ, — въ Яссы я ужъ назадъ не вернусь!...

— Э? — Константинъ Степановичъ вопроситель-

---

[1]) Позабавиться значитъ *промѣшкать*, провести время.

но взглянулъ на меня—вы думаете это... совсѣмъ?

— Да... думаю совсѣмъ.

— Одинъ конецъ?... а?

— Да чего жъ мѣшкать? Не сегодня, такъ завтра, надо жъ будетъ кончить.

— Не страшно?..

— Волковъ бояться — въ лѣсъ не ходить.

— Доброе дѣло надумали. Помогай вамъ Богъ,— а я здѣсь за васъ молиться буду.—Пойдемте чай пить. Только крѣпко мнѣ жалко васъ — скучать такъ вотъ буду. — Эхъ! а все хорошо надумали — молодецъ!..

Мы вошли въ комнату, Константинъ Степановичъ жилъ со своей сестрой, старой дѣвушкой, которая тоже принадлежала къ божьимъ и пріѣхала къ брату изъ Орловской губерніи вести около него женское хозяйство. Это было очень умное, довольно красивое, неразговорчивое существо; смирное, тихое, какъ всѣ эти бывшія сестры, матери, жены и дочери по-грѣху. Константинъ Степановичъ сообщилъ ей о моемъ намѣреніи.

— Страшно! сказала она и отвернулась.

— Все отъ Бога, мрачно проговорилъ ея братъ— молиться за него будемъ, Богъ его не оставитъ.

Доброе дѣло затѣялъ, и не знаю, сердце у меня, что ли, такой вѣщунъ,—а вотъ такъ мнѣ и кажется, что Государь его помилуетъ...

— Желѣзную-то музыку ему надѣнутъ!... проговорила сестра, отвернулась къ печи, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Что жъ, что желѣзную музыку, сказалъ я ей въ утѣшеніе,—кандалы все жъ легче чужой стороны: въ кандалахъ, да все дома будешь.

— Это ничего намъ, плакала бѣдная женщина, простымъ людямъ! мы ко всему тяжелому привыкли, — а вамъ-то каково?

Чтобъ перемѣнить тему разговора, мы съ Константиномъ Степановичемъ повели толки о политикѣ. Снова тутъ досталось Австріи и Турціи, снова обсуждалось, какъ были бы рады молдоване присоединенію къ намъ; но думали мы на этотъ разъ не о молдованахъ, не о славянахъ, а о томъ, что намъ, можетъ быть, никогда не придется свидѣться, и что, во всякомъ случаѣ, моя участь завиднѣе его. Для меня Россія, какъ бы она меня ни встрѣтила и на что бы меня ни присудила, не была замкнута, а это все-таки было выгоднѣй. «Могу, коли захочу» въ миліонъ разъ лучше «хочу, да немогу»...

Страшную ошибку сдѣлали у насъ въ сороковыхъ годахъ, когда, преслѣдуя австрійское священство и преувеличивая вліяніе на Россію заграничныхъ сектантовъ, усилили нашу паспортную систему и затруднили сношенія нашего сектантскаго купечества съ Молдавіей и Валахіей: отъ этого не только пало наше комерческое вліяніе на эти страны, не только выиграла Австрія въ политическомъ и торговомъ отношеніяхъ, но даже связь наша съ туземнымъ населеніемъ значительно ослабла. Боясь раскола, мы подорвали нашу промышленность и безъ нужды отчуждили отъ себя сочувствующія намъ народности. Седмиградскій Брашевъ (Kronstadt) занялъ въ отношеніи Соединенныхъ Княжествъ и Балканскаго полуострова то значеніе, которое по праву принадлежало бы Кишиневу или Одессѣ, и наши сукна, желѣзо, сундуки перестали являться на тамошнихъ рынкахъ. У насъ мѣтили въ ворону, да попали въ корову, и, избивая камнемъ расколъ за границей, раскроили лобъ нашей промышленности и торговли въ Молдавіи и въ Турціи.

Но, разговаривая о политикѣ и обдумывая, какъ явлюся я въ Скуляны, я вспомнилъ, что сегодня, т. е.

въ пятницу, мнѣ нѣтъ возможности разстаться съ Яссами — нужно было свести кое-какіе счеты, сдѣлать разныя распоряженія, позаботиться о своихъ книгахъ, замѣткахъ и всякой мелочи, которыхъ я не хотѣлъ брать съ собой, какъ лишнее, предполагая, что мнѣ придется не одинъ мѣсяцъ провести въ тюрьмѣ и имѣя все-таки въ перспективѣ нерчинскія и иркутскія палестины, хотя и сильно надѣялся почему-то на помилованіе.

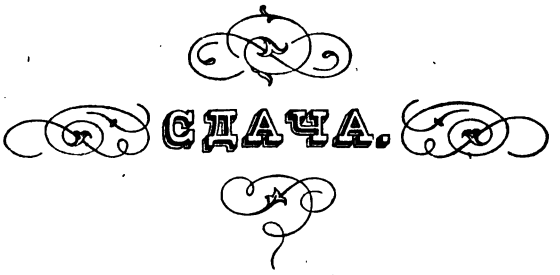
Условившись съ Константиномъ Степановичемъ, что явлюсь къ нему завтра, я отправился домой, веселый, поздоровѣлый, спокойный.

А поводомъ къ возвращенію въ Россію была все-таки эта коляска моего друга-скопца — если бы не мылъ въ это утро Константинъ Степанычъ коляски, я, можетъ быть, и не рѣшился бы воротиться въ Россію!..

Не помню, какъ я провелъ этотъ день,—помню только, что былъ въ разныхъ домахъ, говорилъ, что жду телеграмы, которая вызоветъ меня въ Парижъ; что отправляю книги свои къ Константину Степанычу на сохраненіе; говорилъ моему Димитраки, что, въ случаѣ моего неожиданнаго отъ-

ѣзда, онъ долженъ беречь мои вещи, и что если долго обо мнѣ не будетъ извѣстія, то онъ можетъ считать ихъ своей собственностью, — и съ спокойнѣйшимъ духомъ легъ спать, въ ожиданіи слѣдущаго утра, суботы 20 мая.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.



IV.

Причины молчанія о сдачѣ. — Благословеніе. — Обходъ заставы. — «Здравствуй, Мать Земля Русская!» — Молдавскій офицеръ. — На своей почвѣ. — Изгнаніе изъ Россіи. — Хлопоты съ молдаванами. — Закадычные друзья и разговоръ съ ними. — Арестъ.

Кромѣ Константина Степановича и его сестры, въ Яссахъ никто не зналъ, что я сдаюсь — не знали этого и въ Женевѣ.

Переписку съ Герценемъ и Огаревымъ я вынужденъ былъ прекратить въ іюлѣ 1866 г., потому что, вращаясь въ Вѣнѣ между славянами, я могъ бы погубить себя; если бы имъ какъ-нибудь попалось въ руки невиннѣйшее письмо издателя «Колокола», я могъ бы потерять ихъ довѣріе: все, что противъ русскаго правительства—врагъ ихъ. Надо было выбирать: или сохраненіе старыхъ дружескихъ сношеній съ вождями нашей эмиграціи, или отказаться отъ пристальнаго изученія славянства. Я,

разумѣется, выбралъ первое, собираясь возобновить эту переписку, когда буду въ безопасности, т. е. внѣ Австріи. Но въ Яссы я попалъ ужъ сильно поколебавшимся въ своихъ отрицаніяхъ всего существующаго и всего затѣваемаго людьми, не говоря уже, что идеи нашего лондонскаго кружка давно-таки стали мнѣ чужды.

Нуждаясь въ сосредоточеніи и въ провѣркѣ наединѣ результатовъ, къ которымъ я пришелъ въ послѣднее время, я опять-таки не возобновилъ этой переписки, потому что зналъ впередъ, что̀ они могутъ мнѣ сказать. Вражды къ нимъ у меня, разумѣется, не было, да и быть не могло; разставаясь съ ними въ 1862 г., я унесъ объ нихъ самое свѣтлое воспоминаніе, отъ котораго не имѣлъ повода до сихъ поръ отказаться. Если они ошибались и до сихъ поръ ошибаются, какъ политическіе дѣятели, все же я лично не имѣю повода считать ихъ нечестными или недобросовѣстными. Сообщать имъ о моемъ намѣреніи сдаться я не сталъ,—это испугало бы ихъ за меня, и они навѣрное стали бы меня уговаривать и урезонивать, я бы ихъ не послушался и сталъ бы къ нимъ въ то фальшивое положеніе, котораго мнѣ именно не хотѣлось. Да

наконецъ, какъ выше было сказано, сутки тому назадъ я самъ не думалъ сдаваться.

Въ Яссахъ я тоже никому не говорилъ, куда я исчезаю, потому что это возбудило бы толки,— меня бы тоже стали отговаривать, были бы лишнія слезы, которыхъ я терпѣть не могу, и которыя, кто знаетъ, можетъ быть, поколебали бы мою рѣшимость.

Я всталъ рано, одѣлся, захватилъ съ собою узелокъ необходимѣйшаго бѣлья, два молдавскихъ ковра, которые мнѣ могли бы служить постелями въ дорогѣ и одѣяломъ въ острогѣ, взялъ съ собою пакетъ послѣднихъ нумеровъ «Голоса», полученныхъ съ почты, чернильницу, перья и «Vergleichende Lautlehre der Slavischen Sprachen» Миклошича — книгу, которую можно читать цѣлые мѣсяцы и годы, и на которую я разсчитывалъ какъ на каменную стѣну въ ожидавшемъ меня одиночномъ заключеніи. Затѣмъ я вышелъ на улицу и, согнувшись-таки порядкомъ подъ своимъ тюкомъ, направилъ стопы свои къ Константину Степановичу.— Порядкомъ пришлось мнѣ пройдти, пока я нашелъ носильщика, какого то загулявшаго бродягу,—извощиковъ еще не было на улицѣ.

Утро было опять такое же свѣтлое, тихое, съ легкимъ морозцемъ, и такъ же длинно тянулась моя тѣнь за мной, какъ будто жалѣя разстаться съ этими Яссами, въ которыхъ я все-таки былъ свободнымъ человѣкомъ. Къ вечеру меня ожидала тюрьма, я это зналъ,—но шелъ спокойно, весело, насвистывая какой-то мотивъ.

Великое дѣло рѣшиться, разрубить гордіевъ узелъ.

Константинъ Степановичъ ждалъ меня съ завтракомъ—божьи люди всегда пьютъ чай передъ закуской.

— «Такъ-таки не передумали?» спросилъ онъ меня, лукаво улыбаясь.

— Какъ видите, нѣтъ.

— «Молодецъ! одно слово—русскій человѣкъ, по-нашему!» весело говорилъ онъ, и мы, по привычкѣ и во избѣжаніе излишнихъ душеизліяній, опять заговорили о политикѣ.—Сестра его опять молчала, хмурилась и украдкой стирала слезы. Очевидно, что у нея изъ головы не выходила желѣзная музыка, которой, признаться, я ждалъ, во-первыхъ, по незнанію русскихъ законовъ, а во-вторыхъ потому, что все-таки надо мной былъ произ-

несенъ сенатскій приговоръ, объявившій меня хоть и неосужденнымъ, но государственнымъ преступникомъ. Покуда мы закусывали, работникъ заложилъ легонькую телѣжку.—Меня разбирало нетерпѣніе, я все торопилъ. Константинъ Степановичъ все меня задерживалъ, ему было страшнѣе за меня, чѣмъ мнѣ самому. Я нѣсколько разъ подымался, — ему все было жалко меня отпустить.

Наконецъ, мѣшкать было нечего.

— «Что жъ, сказалъ онъ,—ужъ коли собрались, коли Богъ вамъ такъ положилъ на душу, довезу я васъ на своей лошади.—Помолимтесь!»

Мы, по русскому обычаю, помолчали, встали и помолились.—Слезы проступили у меня на глазахъ, и я искренно сталъ на колѣни.—Константинъ Степановичъ снялъ съ полки образъ Николая Чудотворца и благословилъ меня. — Сестра его подала хлѣба и соли на дорогѣ.—Душно было, слезы приступали къ горлу, но страха не было,—что-то спокойное и торжественное совершалось надо мной.

Константинъ Степановичъ выѣхалъ со двора, я вышелъ за нимъ пѣшкомъ.

Не знаю почему, ему непремѣнно хотѣлось скрыть, что онъ везетъ меня въ Скуляны. Онъ

— Охъ, счастливый вы человѣкъ, Василій Ивановичъ, проговорилъ онъ сквозь слезы—хоть и желѣзную музыку надѣнутъ, да все мать Росеюшку увидите, а мнѣ вотъ, бѣдному, придется ли ее повидать....

— Скорѣй, скорѣй, торопилъ я его, задыхаясь отъ радости.

Черезъ нѣсколько минутъ мы въѣхали въ Скуляны.

Скуляны — небольшой молдавско-еврейскій пограничный городокъ на Прутѣ, похожій на всѣ таможни по нашей западной границѣ. Точно такъ же, какъ повсюду, онъ дышетъ контрабандой, конокрадствомъ, проводниками бѣглыхъ и т. п., и точно также отрѣзанъ отъ насъ тяжелой системой паспортовъ, тарифовъ, пограничной стражи и т. п.—Константинъ Степановичъ остановилъ свою лошадь въ гостинницѣ и указалъ мнѣ контору молдавскаго пограничнаго офицера. Я вошелъ и представилъ свой паспортъ.

— Mais pardon, monsieur, votre passeport n'est pas visé, сказалъ мнѣ молдавскій офицеръ, весьма юный и весьма щеголявшій знаніемъ французскаго языка.

— «Я это знаю, отвѣчалъ я,—мнѣ нужно побывать на русской сторонѣ всего дня два. Если съ вашей стороны нѣтъ никакихъ препятствій, я переправлюсь».

— О, разумѣется, нѣтъ. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes une nation libre. Но русскіе—другое дѣло, они васъ не пустятъ.

Я засмѣялся.

— «Какъ не пустятъ! Они примутъ меня съ распростертыми объятіями. Управляющій русской таможней мой лучшій другъ, а становой знакомъ со мной еще съ дѣтства»...

— Повѣрьте, они не пустятъ, несмотря ни на что. Они такіе страшные формалисты, pas comme nous autres.

— «Хотите пари, сказалъ я ему,—что они въ восторгъ придутъ отъ моего появленія? Они никакъ не предполагаютъ, что я въ Яссахъ. Я проведу у нихъ два-три дня и затѣмъ явлюсь къ вамъ, въ доказательство, что, несмотря на весь ихъ формализмъ, они точно также дѣлаютъ исключенія въ пользу des gens comme il faut et pour leurs amis».

— Eh bien, monsieur, essayez!

Мы пожали руки и разстались.

— Ну что? спрашивалъ Константинъ Степановичъ, поджидавшій меня на улицѣ, — препятствій нѣтъ?

— Пускаютъ, отвѣчалъ я,—сейчасъ-же и переправлюсь.

Однако меня слегка била лихорадка. Константинъ Степановичъ пытливо смотрѣлъ на меня и замѣтилъ мое волненіе.

— «Послушайте, сказалъ онъ угрюмо,—выпейте-ка для храбрости рюмку водки; это васъ пріободритъ».

Я согласился, — и тутъ мнѣ вспомнился Михаилъ Петровичъ Погодинъ, который, толкуя когда-то о Герценѣ, предсказывалъ ему, что онъ возвратится въ Россію, потому что всѣ русскіе бродяги, промотавъ послѣднюю копейку и хвативъ для храбрости шкаликъ, сами сдаются становому. Къ довершенію курьеза я выпилъ свой шкаликъ по совѣту скопца, которому, по вѣрѣ, не только самому запрещено пить, но даже повелѣно чуть не съ омерзеніемъ глядѣть на каждаго пьющаго и курящаго, и который, будучи самъ бѣглымъ, безкорыстно сдавалъ меня начальству... Есть многое въ природѣ, другъ Гораціо, чего не снилось нашимъ мудрецамъ!

Мы подъѣхали къ парому и крѣпко-крѣпко обнялись.

— Не забывайте меня, Василій Ивановичъ, сказалъ онъ, — а мы за васъ будемъ Богу молиться.

Я вскочилъ на паромъ и сталъ переправляться. Прутъ не шире Москвы-рѣки, только бурливѣе и течетъ между крутыми берегами. Минуты черезъ три я выскочилъ на русскій берегъ, и какъ-то весело было мнѣ послѣ столькихъ лѣтъ скитаній стать на свою почву.

Взявъ свой багажъ подъ мышку, я поднялся на берегъ, гдѣ около какой-то будки стоялъ человѣкъ въ кепи съ кокардой, въ сѣромъ офицерскомъ пальто изъ толстаго сукна.

— Пасъ, паспортъ, говорилъ онъ мнѣ, протягивая ко мнѣ руки.

Я ему подалъ свой турецкій.

— Визы нѣтъ, сказалъ онъ, — нельзя-съ... пожалуйте назадъ.

— Назадъ я, г. офицеръ, не пойду, сказалъ я.

— Да нельзя-съ, пускать не приказано безъ визы. Пожалуйте назадъ.

— Не пойду я назадъ, а дайте мнѣ клочекъ бумаги, г. офицеръ, карандаша или пера, я черкну

Я свернулъ бумажку какъ можно меньше и отдалъ. Солдатикъ исчезъ.

— Ну, а я покуда у васъ посижу и почитаю, сказалъ я писавшему. Положилъ свои ковры, взялъ «Голосъ» и сталъ перечитывать. Признаться сказать, у меня начало сильно рябить въ глазахъ.

Солдатикъ не возвращался.

Я все ждалъ его, ждалъ, ждалъ, а его все нѣтъ. Время показалось мнѣ ужасно долгимъ — я думаю, прошло съ полчаса.

Вдругъ онъ вбѣжалъ.

— Пожалуйте, пожалуйте ваши вещи, пробормоталъ онъ въ попыхахъ, — пожалуйте, я снесу.

— Куда? спросилъ я его.

— На паромъ, на паромъ...

— Да зачѣмъ же на паромъ?

— На ту сторону пожалуйте...

— На ту сторону? Ты не отдалъ, что ли, моей записки?

— Нѣтъ-съ, я отдалъ. Его высокородіе очень удивились, и спросили, гдѣ вы; такъ я сказалъ, что вы на томъ берегу; а они сказали, что сами выйдутъ на берегъ повидаться съ вами.

— Зачѣмъ же ты сказалъ, что я на томъ берегу, когда я здѣсь?

— Да, нельзя жъ было. Я не осмѣлился: намъ строго наказано никого сюда не пущать!

Что мнѣ было дѣлать? Остаться здѣсь и подводить бѣднаго подчаска подъ гнѣвъ начальства, когда онъ ни въ чемъ не виноватъ, кромѣ своей трусости или глупости, и который не понималъ совершенно, о чемъ идетъ дѣло, — не стоило того. Я покорился судьбѣ, покинулъ Россію и очутился опять въ Молдавіи. Россія принимала меня не съ распростертыми объятіями. Я былъ теперь à la lettre изгнанъ на вѣчныя времена изъ предѣловъ государства.

Блѣдный, взволнованный Константинъ Степановичъ все еще стоялъ на молдавскомъ берегу, молча смотря черезъ рѣку.

— Что вы? Какими судьбами?

— Да вотъ видите, выгнали...

Я ему разсказалъ все дѣло.

— Ну что же вы собираетесь дѣлать?

— Ничего, подожду, покуда они появятся встрѣчать меня.

— Я остановился у парома, вглядываясь въ

русскій берегъ.—Тамъ было все тихо и неподвижно.

— Domnul oficer chiamŭ pe Domnéta (офицеръ васъ зоветъ), сказалъ мнѣ молдавскій сержантъ, подходя ко мнѣ.

— Ce el vrei? (что ему нужно?)

— Nu sciu,—el a ceva vorbi cu Domnéta (не знаю, ему нужно о чемъ-то поговорить съ вами).

Я послѣдовалъ за нимъ.

— Eh bien, monsieur, j'ai eu raison, сказалъ мнѣ офицеръ, торжественно улыбаясь.

— Pas encore, monsieur. Тамъ только недоразумѣніе вышло. Пограничная стража надѣлала какую-то путаницу съ моей запиской; управляющій таможней явится сію секунду самъ на берегъ.

— Да, но, можетъ быть, вамъ придется долго ожидать, а мы не имѣемъ права оставлять постороннихъ лицъ долгое время на границѣ.

— О, повѣрьте, мнѣ долго ждать не придется, моя записка ему ужъ передана. Во всякомъ случаѣ больше получаса дѣло не протянется, а если черезъ полчаса ничего не выйдетъ, то я самъ явлюсь къ вамъ съ извиненіемъ, что надѣлалъ вамъ столько хлопотъ, поблагодарю васъ за вашу galanterie и возвращусь въ Яссы.

Слово galantêrie понравилось молдавскому офицеру, и онъ велѣлъ сержанту не мѣшать мнѣ стоять у парома. Прошло еще съ четверть часа, — мы все стояли съ Константиномъ Степановичемъ, изрѣдка перебрасываясь словами, какъ вдругъ сержантъ опять подошелъ къ намъ и, указавъ на русскій берегъ, сказалъ:

— Идутъ!

Дѣйствительно, по скату спускалась высокая, стройная фигура въ шинели и въ картузѣ, съ гладко выбритымъ лицомъ. Подлѣ него шелъ какой-то господинъ въ бѣлой офицерской фуражкѣ и въ кителѣ.

Опять на меня пахнуло Россіей: за границей нѣтъ ни кителей, ни бѣлыхъ офицерскихъ фуражекъ, ни шинелей, и давно ужъ гладко не брѣютъ лица.

— Наконецъ-то! вздохнулъ я, и бросился на паромъ.

Минуты черезъ двѣ я ужъ стоялъ передъ ними опять на своей почвѣ.

— Это вы писали записку? спросилъ меня статскій.

— Я. Считайте меня вашимъ арестантомъ.

— Да въ чемъ же вы себя обвиняете?

— Помилуйте, я, по приговору сената, неосужденный государственный преступникъ, изгнанный на вѣчныя времена изъ предѣловъ государства, и хочу сдаться безусловно.

— Но вашего имени нѣтъ въ спискѣ лицъ, которымъ запрещенъ въѣздъ въ Россію.

— Вина не моя! отвѣчалъ я, удивленный этимъ пріятнымъ извѣстіемъ, — но я самъ читалъ сенатскій приговоръ обо мнѣ.

— Да что жъ вы сдѣлали такое?

— Я ужъ девять лѣтъ эмигрантъ, замѣшанъ во множествѣ дѣлъ; между прочимъ, — въ лондонской пропагандѣ, въ польскихъ дѣлахъ, въ сектантскихъ дѣлахъ, былъ атаманомъ некрасовцевъ, чуть-чуть ни попалъ въ черкескіе султаны...

— Странно, — мы объ васъ ничего не слышали, и они переглянулись, какъ будто подумывая, не съ сумасшедшимъ ли они имѣютъ дѣло.

— Съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить? продолжалъ я.

— Съ управляющимъ таможней, отвѣчалъ статскій.

— А я здѣшній становой, прибавилъ военный.

— Право не знаю, сказалъ статскій какъ-то самому себѣ.

— Что васъ побуждаетъ на вашъ поступокъ?

— Побуждаетъ меня совершенная перемѣна моихъ взглядовъ, тоска по родинѣ, сочувствіе тѣмъ великимъ реформамъ, которыя теперь происходятъ въ Россіи...

— И вы обдумали?

Какая бездна мягкости и гуманности лежитъ въ русской натурѣ! Какъ совѣстится каждый русскій человѣкъ арестовать добровольно сдающагося, и съ какимъ торжествомъ бросился бы на меня французъ или нѣмецъ! По лицу этихъ двухъ незнакомыхъ мнѣ людей, по ихъ обращенію со мной было видно, что они почти противъ себя приступали къ исполненію этой тяжелой обязанности. — Дѣло зашло далеко; отпустить назадъ, они бъ, разумѣется, меня не отпустили, но имъ хотѣлось совершить эту щекотливую операцію какъ можно мягче, какъ можно нѣжнѣй, — и великое имъ за это спасибо.

— Такъ вы таки-совсѣмъ рѣшились?

— Зовите кузнеца, сказалъ я, готовясь къ желѣзной музыкѣ.

— О, нѣтъ, зачѣмъ? Этого не нужно, загово-

рилъ становой, — но если вамъ угодно послѣдовать за нами, то вотъ тутъ на берегу стоитъ бричка, мы проѣдемъ въ таможню, и тамъ вы сдѣлаете маленькое заявленіе о вашей личности.

Мы поднялись на берегъ. Я оглянулся на молдавскую сторону. Тамъ на берегу стояла высокая блѣдная фигура моего друга, въ его сѣрой поярковой шляпѣ съ широкими полями. Я махнулъ ему платкомъ... и съ тѣхъ поръ мы не видались.

За пригоркомъ стояла бричка; мы втроемъ подошли къ ней.

— Какъ же мы тутъ усядемся? сказалъ становой, взглянувъ на сидѣнье, гдѣ могли умѣститься только двое.

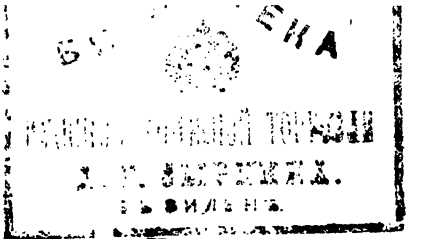
Я понялъ его затрудненіе.

— Садитесь вы и г. управляющій на сидѣнье, а я, въ качествѣ арестанта, помѣщусь на облучкѣ лицомъ къ вамъ; — и, не заставляя себя ждать, я очутился въ бричкѣ.

Мы поскакали.

Давно ужъ мнѣ не приходилось ѣздить по-русски, въскачъ, и я даже забылъ за границей, какъ наши ѣздятъ. — У меня духъ захватывало...

ГЛАВА ПЯТАЯ.



V.

Заявленія. — Обыскиванье. — Бѣльцы. — Пріѣздъ въ Кишиневъ. — Полиція. — Дворянская половина. — Поступленіе въ острогъ.

Куда мы ѣдемъ? спросилъ я.

— Въ таможню, отвѣчалъ управляющій, — вы тамъ сдѣлаете о себѣ маленькое заявленіе. Долго вы пробыли въ Яссахъ?

— Всю зиму.

— Что жъ вы дѣлали въ послѣднее время?

— Путешествовалъ по Австріи, занимался этнографіей.

— Гдѣ же вашъ чемоданъ, и что съ вами такъ мало багажа?

— Да я разсчитываю провести довольно долгое время въ заточеніи и совершить довольно длинные переѣзды, такъ что счелъ за лишнее таскать съ собою всякій хламъ, а у меня, какъ у путешественника, его и безъ того немного. Постояннаго жилища

у меня нигдѣ нѣтъ. То, что необходимо, я взялъ съ собой, а въ остальномъ я вполнѣ разсчитываю на гостепріимство остроговъ. Вмѣсто того чтобъ гноить свои вещи, которыхъ и всего-то немного — я ихъ предпочелъ оставить своему слугѣ. Въ острогѣ онѣ не понадобятся.

— Зачѣмъ же вы такъ преувеличиваете?! Повѣрьте, что васъ не ждетъ ничего худаго.

— Я не преувеличиваю, но я готовъ на все; и такъ какъ я явился по своей доброй волѣ, то не буду имѣть права даже поморщиться, какой бы пріемъ мнѣ ни былъ сдѣланъ.

— А что это у васъ въ карманѣ? Не револьверъ? спросилъ меня становой, указывая на боковой карманъ пальто, который оттопырился отъ бумажника, записной книжки и «Голоса», въ него засунутыхъ.

Я невольно улыбнулся: такъ и припомнилось, какъ во всѣхъ моихъ трудныхъ похожденіяхъ и при разныхъ арестахъ, меня заподозрѣвали австрійскія и прусскія власти, нѣтъ ли со мной оружія. Я отпахнулъ полу и показалъ содержаніе своего кармана.

— Оружія никакого нѣтъ? допытывался становой.

— Складной ножъ въ карманѣ есть, отвѣчалъ я; если хотите, сейчасъ его вамъ отдамъ.

— Ой, нѣтъ, не нужно, — это я только такъ спросилъ.

Можно, спрашивается, обойдтись вѣжливѣй? — а такъ только русскіе умѣютъ.

Черезъ нѣсколько минутъ мы подъѣхали къ небольшому зданію таможни, и управляющій со становымъ ввели меня въ присутствіе — длинную, широкую комнату, съ большимъ столомъ посрединѣ, покрытымъ зеленымъ сукномъ; на столѣ стояло зерцало. Какъ увидалъ я это зерцало, такъ мнѣ стало опять весело. Девять лѣтъ я не видалъ этого необходимаго знака присутственнаго мѣста, и опять чувствовалъ подъ собою почву.

Покуда мы о чемъ-то разговаривали съ становымъ, которому я вкратцѣ объяснялъ, кто я именно такой, управляющій призвалъ чиновника, въ мундирѣ съ зеленымъ воротникомъ, посадилъ его за столъ и началъ было разспрашивать меня, какъ писать заявленіе. Это меня испугало. Въ прошломъ году, въ Австріи, когда меня арестовали въ Карпатахъ, австрійскій исправникъ снималъ съ меня протоколъ. Я ему разсказывалъ свою біографію

(разумѣется, фантастическую), а онъ ее диктовалъ писарю. Подробностей, даваемыхъ мною, онъ не опускалъ, но до такой степени мѣнялъ выраженія и такой колоритъ придавалъ всему, что писалось, что протоколъ этотъ представилъ меня совершенно не въ томъ свѣтѣ, въ которомъ мнѣ нужно было показаться. Сдаваясь русскому правительству, я рѣшилъ: или упорно молчать на допросахъ, или добиться права самому писать или диктовать свои показанія. Адвоката въ моемъ дѣлѣ лучше меня самаго быть не можетъ: никто такъ не изложитъ моей жизни, моихъ взглядовъ, моихъ побужденій, какъ я самъ, и поэтому я первымъ дѣломъ попросилъ управляющаго позволенія продиктовать самому заявленіе. Мнѣ хотѣлось представить себя въ томъ свѣтѣ, въ которомъ я самъ себя вижу и понимаю. Онъ подумалъ и согласился. Заявленіе вышло чрезвычайно коротко. Какъ я его формулировалъ, я не помню; помню только, что въ немъ было сказано, что если бы даже меня ожидала каторга, то я приму ее безропотно и т. п. Я былъ сильно взволнованъ и нѣсколько восторженъ. Чиновникъ писавшій это заявленіе, былъ, какъ показалось мнѣ, недоволенъ моимъ недовѣріемъ къ его умѣнію сочинять бума-

ги, и счелъ все-таки нужнымъ поправить мой слогъ. Я сказалъ, что *не знаю,* коллежскій ли я регистраторъ, или губернскій секретарь *), а онъ поправилъ, что *не помню,* что̀ въ заявленіи вышло какъ-то смѣшно. Но мнѣ было не до того, я подписался, и становой пригласилъ меня ѣхать къ нему, гдѣ, по его словамъ, нужно было сдѣлать другое заявленіе, нѣсколько поподробнѣй.

— «Главное дѣло, говорилъ мнѣ становой,— сдѣлайте заявленіе коротко и ясно, небольшое— въ листъ; но коротко и ясно».

Я продиктовалъ его писарю коротко и ясно свою біографію; онъ прочелъ, одобрилъ и далъ мнѣ подписаться.

— «Теперь, сказалъ онъ,—надо совершить формальность, которая не должна васъ оскорблять, какъ человѣка образованнаго. Васъ надо обыскать».

Я согласился.

Волостной голова ввелъ двухъ понятыхъ, молдавскихъ мужиковъ, старыхъ, очевидно, незнавшихъ ни слова по-русски и совершенно непонимавшихъ, кого за что обыскиваютъ и въ чемъ об-

*) По выѣздѣ моемъ изъ Россіи въ 1858 г. мнѣ вышелъ чинъ губернскаго секретаря, но я не зналъ о томъ.

виняютъ. Другихъ понятыхъ, разумѣется, въ Скулянахъ и отыскать было нельзя, и они, во всякомъ случаѣ, отлично дѣйствовали при обыскѣ всякихъ контрабандистовъ и конокрадовъ; но для освидѣтельствованія книгъ, газетъ и бумагъ, разумѣется, были неспособны; но законъ выше личности, и мы со становымъ должны были ему подчиниться. Выгрузилъ я свои карманы, снялъ сюртукъ, жилетъ, брюки, сапоги; становой, голова, десятскій осмотрѣли швы, поискали въ шляпѣ, въ карманахъ, все переписали и все возвратили мнѣ въ цѣлости, за исключеніемъ ножа и спичечницы, потому что арестантамъ не позволяется держать при себѣ оружія и яда, а спичками, какъ извѣстно, можно отравиться. Затѣмъ становой любезно предложилъ мнѣ позавтракать и прислалъ мнѣ въ свою канцелярію великолѣпнѣйшій бифстексъ со стаканомъ краснаго вина.

Вообще я долженъ сказать, что съ перваго дня моего въ Россіи до той минуты, когда мнѣ въ Петербургѣ было объявлено, что я свободенъ, всѣ, отъ кого я зависѣлъ, обходились со мной такъ мягко и гуманно и такъ по-человѣчески исполняли свою тяжелую обязанность въ отношеніи меня, ихъ

арестанта, что я положительно перестаю вѣрить всѣмъ ужасамъ, которые разсказываются объ обращеніи у насъ съ политическими преступниками. Если съ ними и обходятся иногда грубо и жостко, то, мнѣ кажется, что это происходитъ отъ ихъ собственнаго неумѣнія держать себя съ тѣми, къ кому они попали въ зависимость. Если арестантъ самъ вѣжливъ, самъ не нахаленъ и самъ не мѣшаетъ полиціи поступать съ нимъ такъ, какъ она обязана, то полиціи никогда не придетъ охоты быть съ ними грубой. По всему, что я слышалъ, арестанты имѣютъ нелѣпую привычку вымѣщать свой гнѣвъ на разныхъ сторожахъ, на караульныхъ офицерахъ, на смотрителяхъ тюремъ и крѣпостей, которые ровно ни въ чемъ не виноваты, и которые, при всемъ желаніи облегчить ихъ участь, ровно ничего сдѣлать для нихъ не могутъ.

Объявивъ мнѣ, что мы немедленно же должны ѣхать въ Бѣльцы, т. е. въ уѣздный городъ, куда становой долженъ былъ представить меня своему непосредственному начальнику—исправнику, онъ велѣлъ закладывать тарантасъ. Мы усѣлись, и четверка обывательскихъ помчала насъ такъ, что у меня съ непривычки начало духъ захватывать.

Я сидѣлъ съ становымъ подъ кожухомъ, на облучкѣ съ ямщикомъ помѣстился волостной голова, господинъ геркулесовскихъ размѣровъ, а въ кузовъ, въ ноги наши, спустился не то десятскій, не то разсыльный, почему-то одѣвшійся въ казацкій чекмень и взявшій съ собой саблю безъ ноженъ, по собственному желанію, ради высоко-торжественнаго случая, — везти политическаго преступника, что ему удалось въ первый и увы! вѣроятно въ послѣдній разъ въ жизни. По дорогѣ оказалось, что становой приставъ, г. Папандопуло, былъ человѣкъ не только въ высшей степени мягкій и гуманный, но сверхъ того замѣчательно образованный, весьма далекій отъ попытокъ стѣснять меня и весьма готовый оказать мнѣ всевозможныя услуги и любезность, какія отъ него зависѣли, такъ что путешествіе это отъ Скулянъ до Бѣлецъ походило скорѣе на дружескую прогулку, чѣмъ на конвоированіе арестанта. Покачиваясь и подпрыгивая въ тарантасѣ, я невольно припоминалъ всѣ ужасы, разсказываемые за границей о невѣжествѣ и варварствѣ нашей полиціи, о зуботычинахъ, о побояхъ и ругани, которыми она будто бы надѣляетъ всякаго, кто только попадется ей въ руки, и мнѣ

странно казалось на самаго себя, что я долго колебался и ждалъ въ Яссахъ, вмѣсто того чтобъ ѣхать въ Бѣльцы мѣсяца два или три тому назадъ съ этимъ же самымъ г. Папандопуло.

Пріѣхали мы къ начальнику уѣзда, г. Леонарди, часовъ въ 11 вечера. Г. Папандопуло провелъ меня въ его канцелярію, а самъ вошелъ въ кабинетъ. Минутъ черезъ десять онъ вышелъ съ нимъ самимъ.

— Здравствуйте, сказалъ мнѣ г. Леонарди,— вы, я думаю, устали съ дороги. Войдите, отдохните, сейчасъ будетъ ужинъ готовъ.—Ни одного нескромнаго вопроса и ни одного жеста, который бы намекалъ на то, что я арестантъ, а онъ мой полновластный господинъ...

«Что новаго въ Яссахъ?» былъ его первый вопросъ, когда мы усѣлись въ залѣ, и разговоръ начался съ послѣднихъ ясскихъ событій,—какъ будто я пріѣхалъ къ нему не арестантомъ, а просто пріятелемъ г. Папандопуло. —Гдѣ въ западной Европѣ встрѣтите вы такую человѣчность?

— Вѣдь вамъ въ Кишиневъ нужно ѣхать? сказалъ онъ мнѣ послѣ ужина.

— Да; и я желалъ бы поскорѣй...

— Въ такомъ случаѣ, можно будетъ отправиться хоть завтра. Можетъ быть, я и самъ съ вами поѣду. Только вы хорошенько отдохните съ дороги.

Мнѣ постлали постель въ канцеляріи,—я легъ, но сна у меня не было. Впечатлѣнія этого дня были слишкомъ сильны, слишкомъ свѣжи, чтобъ можно было заснуть.—Нервы мои, напряженные всѣми этими переговорами съ молдавскимъ офицеромъ, съ досмотрщикомъ, съ управляющимъ, диктовкой заявленій, скачкой въ тарантасѣ, вечеромъ у начальника уѣзда — сильно расходились. Казалось, что въ этотъ день—съ тѣхъ поръ, какъ благословлялъ меня Константинъ Степановичъ, и до той минуты, когда я вышелъ изъ кабинета г. Леонарди—прошла цѣлая вѣчность. Столько было со мной странныхъ, непредвидѣнныхъ событій, столько разъ мнѣ приходилось переламывать себя, напрягать всѣ свои умственныя силы, казаться спокойнымъ, когда былъ взволнованъ, что спать я не могъ и провелъ крайне-мучительную ночь. Мнѣ не было страшно, мнѣ не было досадно на то, что я сдѣлалъ, нѣтъ,—чувство досады на то, что сдался, во мнѣ ни разу не появлялось,—но я былъ утомленъ, и отъ утом-

ленія какъ-то раздражителенъ, безпокоенъ, какъ-то неловко все было, какъ-то самъ себя не находилъ. Только къ утру я вздремнулъ, и то не надолго; всталъ поздно, безсильный, съ ломотой въ головѣ, съ разбитыми членами; въ ушахъ звенѣло, мысли путались и говорить даже было трудно. Г. Леонарди понялъ, что со мной творится, и предложилъ мнѣ остаться на этотъ день у него—это было въ воскресенье—отдохнуть, и отправиться въ Кишиневъ только завтра. Я съ величайшею благодарностью принялъ это предложеніе, кое-что почиталъ, побродилъ по городу подъ присмотромъ солдата, которому было поручено стоять у дверей дома г. Леонарди и всюду слѣдовать за мной шагъ за шагомъ, нисколько впрочемъ не стѣсняя меня; побрился въ лучшей бѣлецкой цирюльнѣ, подстригъ волосы еще короче,—во избѣжаніе разныхъ неудобствъ острбжной жизни,—пополнилъ провизію табаку, котораго я мало захватилъ съ собой изъ Яссъ, и къ вечеру совершенно успокоился, разгулялся и заснулъ сномъ праведника.

На другое утро возникъ вопросъ, съ кѣмъ мнѣ отправиться въ Кишиневъ. Самому г. Леонарди ѣхать было нельзя, его задерживали какія-то слу-

жебныя дѣла, и пришлось отправиться мнѣ съ которымъ-нибудь изъ канцелярскихъ чиновниковъ. Тутъ вышли сцены, которыя меня въ одно время и смѣшили и досадовали. Письмоводитель г. Леонарди призывалъ канцелярскихъ чиновниковъ одного за другимъ, и всѣ они отказывались отъ чести меня конвоировать, кто подъ предлогомъ нездоровья, кто по болѣзни матери, кто по случаю наступающаго рожденія или имянинъ,—ни одинъ не рѣшался взять на свою отвѣтственность важнаго и секретнаго арестанта. Время уходило. Наконецъ явился г. Малкочъ, тоже канцелярскій чиновникъ, который ужъ разъ возилъ изъ Бѣльцевъ въ Кишиневъ кого-то, обвинявшагося въ троеженствѣ, и который не только не струсилъ, но даже въ удовольствіе себѣ поставилъ сдѣлать эту прогулку и заявить передъ начальствомъ свою смѣлость, ловкость и расторопность. Я чуть на шею ему не бросился за то, что онъ меня не боялся, и мы съ нимъ да еще съ пожарнымъ, который, сидя на облучкѣ, представлялъ собою военный составъ моего конвоя, весьма весело доскакали на обывательскихъ до столицы Бессарабіи, останавливаясь по разнымъ волостямъ для перемѣны лошадей.—Изъ поѣздки

этой я убѣдился, что молдаванамъ въ Бессарабіи живется дѣйствительно лучше, чѣмъ въ Румуніи.

Поздно ночью, часу въ двѣнадцатомъ, прибыли мы въ Кишиневъ и подкатили къ дому бессарабскаго губернатора, г. Антоновича. Проводникъ мой, г. Малкочъ, уже успѣвшій на послѣдней станціи надѣть мундирный полукафтанъ отправился впередъ, оставивъ меня и пожарнаго дожидаться въ сѣняхъ.

Прошло съ четверть часа. Г. Малкочъ воротился и пригласилъ меня войдти за собой.

Я поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ залу. Передо мной стоялъ г. Антоновичъ.

— Вы г. Кельсіевъ?

— Я.

— Потрудитесь войдти въ кабинетъ.

Я за нимъ послѣдовалъ.

— Скажите, пожалуйста, что васъ побудило къ такому поступку?

Я изложилъ ему подробно все, что у меня высказано выше.

— Хорошо вы сдѣлали, сказалъ онъ, — очень хорошо; но что же теперь съ вами дѣлать? Я не въ правѣ ничего предпринять, пока не получу пред-

писаній; а пока онѣ придутъ, вамъ придется томиться неизвѣстностью...

— Какъ такъ? перервалъ я,—развѣ вы меня не сегодня отправите въ Петербургъ?

— «Я на это права не имѣю. Я долженъ написать прежде генералъ-губернатору въ Одессу, а онъ спишется съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, которое войдетъ въ сношенія съ его сіятельствомъ г. шефомъ жандармовъ, и ужъ отъ него, тѣмъ же самымъ путемъ, прямо получится предписаніе, какъ поступить съ вами».

— Боже мой? Неужели жъ вы не можете телеграфировать?

— «У насъ это не принято; я не имѣю на это права»...

— Такъ мнѣ придется весьма вѣроятно прогостить у васъ долго?

— «Я этого очень боюсь, а еще больше боюсь, что ваше дѣло будетъ производиться у насъ — въ Кишиневѣ»...

— Если будетъ производиться въ Кишиневѣ, сказалъ я, вздрагивая,—то я ото всего отопрусь и не дамъ ни одного показанія о себѣ.

— «Отчего такъ?»

— Потому что мое дѣло можетъ быть разобрано только спеціалистами, которыхъ въ Кишиневѣ, по всей вѣроятности, нѣтъ. Я осужденъ по приговору сената, слѣдствіе обо мнѣ производилось въ Петербургѣ, тамъ только знаютъ всѣ мои антецеденты, и тамъ только могутъ найдтись компетентные для меня судьи. Судить меня здѣсь и допрашивать меня здѣсь—невозможно.

— «Но если мы получимъ такое предписаніе?» сказалъ г. Антоновичъ.

— Право не знаю, какъ поступлю, отвѣчалъ я,—но едва ли я сдѣлаю хоть одно показаніе, — и тутъ же рѣшилъ въ умѣ, что въ случаѣ чего постараюсь уйти обратно въ Молдавію. Ужасъ пронялъ меня при мысли, что мое дѣло пойдетъ обыкновеннымъ административнымъ порядкомъ, что обо мнѣ будутъ писаться кучи бумагъ, наводиться справки, что судьи мои будутъ не спеціалисты; что я пройду всю пытку прокуроровъ, слѣдователей и т. п. Лучше бѣжать... а не удастся, такъ съ собою покончить, рѣшилъ я, содрогаясь при мысли о томъ, что я сдѣлалъ непростительную глупость, сдавшись безусловно не въ руки высшаго прави-

тельства, а мѣстныхъ властей, и что дѣло мое пойдетъ установленнымъ порядкомъ.

Г. Антоновичъ понялъ мое молчаніе.

— «Жалко мнѣ васъ, очень жалко, сказалъ онъ,—а, право, не знаю, какъ съ вами поступить. Мнѣ хотѣлось бы сдѣлать для васъ все, что отъ меня зависитъ,—вашъ поступокъ былъ такъ хорошъ и честенъ, что вы, во всякомъ случаѣ, заслуживаете уваженія. Во-первыхъ, я не знаю, куда мнѣ васъ дѣть?»

— Въ острогъ, отвѣчалъ я,—куда жъ вы больше меня помѣстите?

— «Да и придется такъ, сказалъ онъ грустно,—только тамъ помѣщеніе-то не совсѣмъ завидное»...

— На счетъ помѣщенія я не боюсь, я привыкъ ко всевозможнымъ лишеніямъ, но одно, что меня теперь сильно озабочиваетъ и безпокоитъ, это перспектива длинной обо мнѣ переписки.

— «Подумаю впрочемъ... можетъ быть, я и буду телеграфировать».

Съ этими словами онъ позвонилъ и велѣлъ вошедшему человѣку послать за полиціймейстеромъ.

Мы потолковали еще съ четверть часа, покуда

его превосходительству не доложили, что пріѣхалъ полиціймейстеръ.

— «Нечего дѣлать, сказалъ онъ,—пожалуйте», и мы вышли въ ту же самую залу, гдѣ, кромѣ г. Малкоча и конвоировавшаго меня пожарнаго, стоялъ теперь какой-то господинъ съ полковничьими эполетами.

— «Вашъ арестантъ», сказалъ губернаторъ, указывая на меня.

Я поклонился.

— «Сегодня въ тюремный замокъ поздно, пусть переночуетъ въ полиціи, а завтра,—и онъ какъ-то понизилъ голосъ — номеръ получше, обращаться какъ можно гуманнѣе... затѣмъ, покойной ночи!»

— «Пожалуйте», сказалъ полиціймейстеръ.

Я спустился съ нимъ по лѣстницѣ — Малкочъ съ пожарнымъ за мной.

— «Вы со мной сядете, сказалъ полиціймейстеръ,—а вы двое извольте за нами ѣхать».

Я сѣлъ съ полиціймейстеромъ въ крытыя дрожки, и мы покатили.

— «Какъ ваша фамилія?» спросилъ онъ.

— Кельсіевъ, отвѣчалъ я.

— «Вы въ чемъ же попались?» спросилъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Я государственный преступникъ, отвѣчалъ я.

Прошла опять минута молчанія.

— Гдѣ жъ васъ взяли?

— «Въ Скулянахъ».

— Должно-быть хотѣли перебѣжать границу?

— «Нѣтъ, я самъ сдался, — самъ просилъ меня арестовать».

— Да какъ же вы въ Скуляны попали?

— «Я въ послѣднее время жилъ въ Молдавіи».

— Вы должно-быть эмигрантомъ были?

— «Девять лѣтъ».

Мы подкатили къ какому-то зданію, вошли въ корридоръ, полиціймейстеръ постучалъ, сторожъ отворилъ двери и мы вошли въ крохотную дежурную, гдѣ на небольшомъ диванчикѣ за маленькимъ столикомъ сидѣлъ невѣроятно полный дежурный квартальный надзиратель.

— «Вотъ этотъ господинъ переночуетъ у васъ, сказалъ полиціймейстеръ, — постарайтесь, чтобы все было для нихъ удобно.—Ну, а вы сами не взы-

щите, что большаго удобства мы вамъ доставить не можемъ.—Позвольте осмотрѣть ваши вещи...»

Онъ тутъ же составилъ имъ списокъ, отобралъ у меня газеты, грамматику Миклошича, часы, спичечницу, кошелекъ и всякую мелюзгу, и оставилъ только мой небольшой запасъ бѣлья и ковры.

— «Поужинать можетъ-быть хотите?»

— Я бъ не отказался...

Онъ отправилъ вахтера въ трактиръ, раскланялся и уѣхалъ.

Мы остались вдвоемъ съ толстымъ квартальнымъ, который оказался такимъ добрымъ и хорошимъ человѣкомъ, что совершенно сбивалъ всякія мои традиціонныя понятія о полицейскихъ. Черезъ полчаса мы съ нимъ толковали какъ старые знакомые, я ему разсказывалъ разные анекдоты о своихъ странствіяхъ, онъ о своей прежней военной службѣ, и ужъ очень поздно легли мы спать,—онъ на своемъ диванчикѣ, а я на какомъ-то мостикѣ изъ табуретокъ, стульевъ, закутанный въ молдавскіе ковры.

Утромъ я всталъ свѣжій, веселый, и если что меня смущало, — такъ это именно перспектива долгой обо мнѣ переписки, да страхъ, что дѣло мое

будутъ производить въ Кишиневѣ, а не въ Петербургѣ, не въ Третьемъ Отдѣленіи, на которое я болѣе всего разсчитывалъ, какъ на спеціальное учрежденіе для разбора подобныхъ дѣлъ. Тамъ, я зналъ, и содержатъ хорошо арестантовъ, и буду я говорить съ людьми, черезъ руки которыхъ прошло и проходитъ множество подобныхъ дѣлъ, которые, стало-быть поймутъ и мое лучше, чѣмъ кто-либо...

Съ утра въ дежурную комнату стали являться разныя личности, арестованныя вечеромъ и ночью: какой-то мужикъ, который вчера вечеромъ съ пьяныхъ глазъ тыкалъ ножомъ чужую лошадь, какіе-то два арестанта, подравшіеся ночью, какія-то личности съ оборванными полами, съ всклокоченными бородами, съ сильныхъ запахомъ водки,—однимъ словомъ, все, что видится обыкновенно въ полиціи.

Часовъ въ 9 явился вахтеръ и сталъ собирать мои пожитки.

— «Сейчасъ пріѣдетъ г. полиціймейстеръ, сказалъ онъ — и возметъ васъ съ собою».

— Куда?

— «Въ тюремный замокъ».

— А, — наконецъ-то!..

Ну, по крайней мѣрѣ, острогъ повидаемъ, по-

думалъ я,—до сихъ поръ я не видалъ еще острожной жизни....

Въ полиціи содержался въ это же время какой-то обанкрутившійся граверъ изъ галицкихъ поляковъ, и какой-то, если не ошибаюсь почтовый, канцелярскій служитель,—маленькій, гнилой, весьма юный и весьма циничный, отличившійся особеннымъ искуствомъ вскрывать денежные пакеты. Узнавъ, что меня отправляютъ въ острогъ, они пришли въ восторгъ и отъ души поздравляли меня съ моей новой квартирой.

— Тамъ васъ помѣстятъ на дворянскую половину, говорили они,—общество отличное, помѣщеніе превосходное и, главное дѣло, не такъ тѣсно, какъ здѣсь, да и этого простонародія не столько увидите.

Какъ ни мало соблазняла меня перспектива дворянской половины кишиневскаго тюремнаго замка и пріятнаго общества, которое тамъ могло меня ожидать, я все-таки льстилъ себя надеждой, что мнѣ предстоитъ не одиночное заключеніе, и что все-таки мнѣ удастся изучить еще незнакомую мнѣ сторону закулисной жизни.

Мы сѣли съ вахтеромъ въ телѣжку и поѣхали.

Передъ нами ѣхалъ полиціймейстеръ въ его крытыхъ дрожкахъ. Мы проѣхали площадь съ эшафотомъ и на концѣ ея увидали высокое зданіе, построенное во вкусѣ какого-то средневѣковаго замка, съ башнями, съ зубцами, съ длинными узкими окнами,—что-то попадающееся часто на Рейнѣ и, неизвѣстно,какимъ образомъ и по чьему плану, залетѣвшее въ Бессарабію. У воротъ мы остановились, калитка распахнулась и пропустила насъ во дворъ, по которому то и дѣло шмыгали арестанты съ цѣпями на ногахъ, скованные то отдѣльно, то попарно, таскавшіе кто дрова, кто воду, кто какіе-то камни, въ сопровожденіи солдатъ со штыками. Меня ввели въ контору, помѣщавшуюся во дворѣ,налѣво отъ воротъ. Смотрителя не было, и пришлось сидѣть подъ надзоромъ вахтера то въ конторѣ, то на крылечкѣ, и покуривать отъ скуки папиросы изъ табаку, запасеннаго въ Бѣльцахъ.— Увы, я не зналъ, что въ скоромъ времени табакъ этотъ будетъ у меня отнятъ...

Явился смотритель, тоже военный и, какъ оказалось впослѣдствіи, тоже очень добрый и вѣжливый человѣкъ. Онъ усѣлся за столикъ и началъ вписывать меня въ книгу.

— «Ваше имя? ваши лѣта? званіе, чинъ» и т. д. и т. д. Затѣмъ велѣлъ мнѣ опростать карманы и раздѣться при свидѣтеляхъ. Отбирая у меня часы, табачницу, газеты, книгу и пр., онъ все это вносилъ въ списокъ, и оставилъ мнѣ только мои ковры да бѣлье.

— Книгу и газеты оставьте мнѣ, сказалъ я,— иначе что жъ я стану дѣлать въ тюрьмѣ?

— «Нельзя-съ», отвѣчалъ онъ коротко и сухо.

— Какъ, неужели и курить нельзя? спросилъ я въ недоумѣніи, видя, что онъ завязывалъ и табакъ мой въ одинъ пакетъ со всѣмъ остальнымъ.

— «Нельзя-съ!»

— Да что жъ я буду дѣлать? Вѣдь я съ ума сойду безъ чтенія и безъ всякаго развлеченія!!.....

— «Нельзя-съ!—таковъ законъ».

— Да помилуйте, я человѣкъ привыкшій къ умственной жизни,—не могу же я цѣлый день ровно ничего не дѣлать...

— «Воля не моя-съ; арестанту не позволяется имѣть при себѣ табакъ и письменныя принадлежности».

— Да вѣдь книга не письменная принадлежность....

— «Нельзя-съ, книга бумажная, а на бумагѣ можно писать».

Что жъ было дѣлать? Протестовать, буянить, доказывать жестокость и ненужность подобнаго закона человѣку, котораго судьба поставила смотрителемъ острога, и который лично не имѣетъ права измѣнить буквы закона,—было бы нелѣпо; а еще нелѣпѣе было бы вымѣщать на немъ свою досаду. Разумѣется, если бы онъ захотѣлъ сдѣлать мнѣ снисхожденіе: дать мнѣ книгу и газеты, даже табакъ, онъ и это могъ бы, но онъ подвергалъ бы себя риску потерять мѣсто, которое, по всей вѣроятности, было единственнымъ средствомъ его существованія.

— «Все, что̀ мы можемъ сдѣлать для васъ, сказалъ онъ,—это: мы вамъ отведемъ лучшее помѣщеніе, какое только у насъ есть. Его сейчасъ опростаютъ.—Перевести маклера въ такой-то номеръ, сказалъ онъ каптенармусу или кому-то другому изъ его ближнихъ подвластныхъ,—и приготовить постель и подушку почище.—Жаль только, что вы такъ бѣльемъ бѣдны и платьемъ, прибавилъ онъ мнѣ.

— Да вѣдь вы на меня казенное надѣнете что-нибудь.

— «Нѣтъ-съ; покуда вы еще находитесь подъ слѣдствіемъ, и приговоръ объ васъ не произнесенъ, такъ вы должны ходить въ своемъ. Да оно и лучше для васъ, потому что наше казенное, признаться сказать, и грубовато и жостковато,—развѣ для мужиковъ годится...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

VI.

Лучшее помѣщеніе — Отчаяніе — Окошечко — Находки — Обѣдъ — Мѣры предосторожности — Докторъ — Бумага — Одиночное заключеніе — Отъѣздъ въ Петербургъ.

Черезъ нѣсколько минутъ лучшее помѣщеніе было очищено, и смотритель пригласилъ меня слѣдовать за нимъ. Мы прошли черезъ дворъ, дошли до желѣзной рѣшетки, отдѣлявшей само зданіе острога отъ двора, отворили ее, — за ней стояли арестанты въ цѣпяхъ и не въ цѣпяхъ, передъ ней стояли ихъ родные и знакомые, пришедшіе съ воли навѣстить ихъ, — поднялись по лѣстницѣ и остановились у толстой двери съ тяжелѣйшимъ желѣзнымъ засовомъ, на которомъ висѣлъ колосальный желѣзный замокъ. Замокъ щелкнулъ какимъ-то зловѣщимъ гуломъ, засовъ загремѣлъ, и громъ этотъ раздался невеселымъ эхомъ по лѣстницѣ

и по коридору, изъ всѣхъ угловъ котораго слышался шумъ, говоръ, гвалтъ, бряканье цѣпей, хохотъ и ругань. Дверь распахнулась, я вошелъ и, — признаюсь, — сердце у меня захолонуло при видѣ этого лучшаго помѣщенія.

Это была нето комната, нето щель въ семь съ половиной шаговъ длины и два съ половиной ширины, съ чрезвычайно высокимъ потолкомъ, такъ что мнѣ все казалось, будто я нахожусь на днѣ какого-то продолговатаго колодца, закрытаго сверху бѣлымъ пологомъ. Налѣво было окно въ полъ аршина ширины и въ сажень вышины, загороженное желѣзной полосой, шедшей сверху внизъ. Направо, противъ окна, въ стѣнѣ была заслонка, а надъ ней другая, въ которой помѣщались вьюшки. Вся эта страшная щель была чисто выбѣлена известкой; только низъ, аршина на два отъ пола былъ выкрашенъ желтой охрой, по которой красной охрой были набрызганы вольной рукой пятна, какъ будто имѣвшія претензію придать этому низу стѣны видъ желтаго мрамора съ красными жилками и глазками. На дерев[illegible] [illegible]крашеномъ полу стояла единствени[illegible] [illegible]вой квартиры: деревянная [illegible]жалъ сѣнникъ изъ

серпянки, съ такой же подушкой,—ни простыни, ни одѣяла,—подлѣ кровати виднѣлся некрашенный стулъ безъ спинки...

— Ну, вотъ вамъ лучшее, что у насъ есть, сказалъ смотритель, видя мое смущеніе,—что же дѣлать? Чѣмъ богаты тѣмъ и рады; вина не наша; какъ видите, мы все прибрали,—все это чисто, все новое и свѣжее. Не погнѣвитесь, вина не наша. Другіе номера меньше этого,—все вамъ хоть ходить здѣсь можно...

Я молча поклонился. Что жъ мнѣ было иначе дѣлать? Смотритель вышелъ, посовѣтовавъ мнѣ не впадать въ уныніе, не терять надежды, и за нимъ захлопнулась дверь; съ страшнымъ трескомъ, загремѣлъ засовъ, щелкнулъ ключъ, заскрипѣлъ и зазвенѣлъ замокъ, и снова разнеслось эхо желѣзныхъ звуковъ, смѣшанное съ туломъ и гамомъ, съ говоромъ и руганью и со звономъ цѣпей, слышавшимся со всѣхъ сторонъ.

Я постлалъ свои ковры на сѣнникъ, прилегъ, всталъ, походилъ и—бѣшенство закипѣло у меня въ груди.

Почему и какъ, мнѣ припомнился случай изъ моего дѣтства, когда я въ деревнѣ вытащилъ изъ

погреба крысу въ огромной ловушкѣ, такой же длинной и узкой, какъ мое лучшее помѣщеніе. Крыса эта, очутившись съ вольной воли въ заточеніи, какъ-то бѣшено металась изъ угла въ уголъ, пробовала зубами и деревянныя стѣнки и толстую проволочную рѣшетку, визжала, скалила зубы, и глаза ея горѣли глубочайшимъ негодованіемъ и бѣшенствомъ на ея неволю. Тогда я, мальчишка, хохоталъ надъ ней и нарочно дразнилъ ее прутикомъ. Въ эту минуту я возъимѣлъ къ ней глубокое сочувствіе, я какъ-то понялъ, что происходило въ ея душѣ—если у крысъ есть душа. Семь съ половиной шаговъ назадъ, семь съ половиной шаговъ впередъ метался я по своему номеру въ полномъ сознаніи своего страшнаго безсилія передъ этими каменными стѣнами, желѣзными рѣшетками, толстой дверью и часовымъ за ней, съ ружьемъ въ рукахъ,—а кругомъ все гремѣло и гудѣло; и гудѣло такъ нахально, какъ будто нарочно не давая мнѣ покоя, какъ будто дразня меня, какъ будто смѣясь надо мной.

И чортъ знаетъ, думалъ я, сколько мнѣ времени придется просидѣть въ этой щели, отрѣзаннымъ отъ міра, отъ людей, почти безсловеснымъ

животнымъ? О, это ужасно, это ужасно! Хоть бы скорѣй меня въ Петербургъ; по крайней мѣрѣ, дѣло началось бы обо мнѣ, по крайней мѣрѣ, пошли бы допросы, хоть бы на допросахъ говорить удалось; а здѣсь я въ гробу, въ каменномъ мѣшкѣ, какъ говоритъ простонародіе и, можетъ быть, пройдутъ недѣли и мѣсяцы, прежде, чѣмъ я вырвусь изъ этихъ бѣлыхъ стѣнъ съ желтымъ низомъ и красными крапинами и перестану слышать этотъ вѣчный гулъ голосовъ и цѣпей.

Но неужели жъ я совершенно безпомощенъ въ этихъ стѣнахъ? Неужели нельзя уйдти отсюда?— Нѣтъ,—зачѣмъ же мнѣ уходить? Развѣ я не зналъ, на что шелъ? Развѣ я не готовился ко всему, даже къ худшему?

Но однако,—эти стѣны и этотъ гулъ мнѣ ненавистны и противны до невозможности и, — на всякій случай, не дурно имѣть въ своемъ распоряженіи какое-нибудь средство къ уходу...

Какъ, однако уйдти?

Вѣдь уходятъ же люди и не изъ такихъ тюремъ... изъ Бастиліи уходили, изъ венеціянскихъ piombi уходили... Неужели жъ я, столько видавшій на своемъ вѣку и столько лѣтъ прожившій въ по-

литическихъ и неполитическихъ трущобахъ, не съумѣю уйдти отсюда? Во всякомъ случаѣ, не дурно будетъ принять мѣры и подготовить всякія средства, хоть не съ тѣмъ чтобъ уйдти, а съ тѣмъ, чтобъ зависѣть отъ самого себя, а не отъ этихъ замковъ. Сознаніе своей независимости придастъ мнѣ бодрости и успокоитъ меня, поможетъ мнѣ свыкнуться съ моимъ скверным положеніемъ,— да и, наконецъ, надо же чѣмъ-нибудь убить время. Нельзя жъ постоянно бѣгать изъ угла въ уголъ, безъ цѣли,—а завидной способности спать по цѣлымъ суткамъ я, къ сожалѣнію, не имѣю. Станемъ же изучать свое лучшее помѣщеніе...

Я принялся за него. Прежде всего я счелъ за необходимое изслѣдовать окошечко въ двери, которое меня съ первой минуты досадовало и злило. — Въ двери, на высоту человѣческаго роста, была вырѣзана кругленькая дыра вершка полтора въ поперечникѣ; въ нее было вставлено стеклышко. Оно назначалось для часоваго, чтобъ онъ во всяке время могъ видѣть, что дѣлаетъ арестантъ; скрыться отъ его взглядовъ можно было, благодаря длинотѣ и узотѣ помѣщенія только усѣвшись на полъ подъ дверью. Это окошечко въ двери прямо

приходилось противъ окна на лѣстницѣ, такъ что было постоянно ярко освѣщено, и стоило лечь на кровать, чтобы оно какъ разъ пришлось передъ глазами свѣтлымъ пятномъ, до того блестящимъ что раздражало нервы и доводило до какого-то отупѣнія, почти гипнотизировало. На мою нервную натуру, и безъ того потрясенную предшествовавшими внутренними событіями, это окошечко производило подавляющее впечатлѣніе: оно давило меня кошмаромъ, оно мучило меня, какъ я отъ его ни прятался, а спрятаться было рѣшительно некуда. Оно постоянно торчало передъ глазами, постоянно напоминало, что за мной подсматриваютъ. Сплошь и рядомъ вдругъ исчезалъ его яркій свѣтъ, оно чернѣло, и мнѣ видѣлся глазъ часоваго, который меня разсматривалъ, — да иной разсматривалъ меня минутъ по десяти. Быть выставленнымъ какъ на показъ, въ ту минуту, когда на душѣ тяжело и когда хотѣлось бы больше всего быть незамѣтнымъ, чувство преотвратительное. Нѣтъ ничего отвратительнѣе присутствія постороннихъ при личномъ горѣ, — страдать и видѣть, что страданіями своими удовлетворяешь праздное любопытство... Мнѣ нѣсколько разъ при-

ходилось, и до этого и послѣ этого, испытывать скверное чувство, какъ разсматриваютъ арестанта и стараются прочесть по его лицу, манерамъ, по его движеніямъ, кто онъ такой, каковъ онъ таковъ, на сколько онъ опасенъ, кровожаденъ и сколько виноватъ или невиненъ. Стоять передъ публикой на сценѣ, на каѳедрѣ, по доброй волѣ, не тягостно, хотя можетъ быть иногда и очень конфузно; на каѳедрѣ по крайней мѣрѣ о чемъ нибудь говоришь, занимаешъ публику не столько своею личностью, сколько тѣмъ, что ей излагаешь, — но явиться передъ толпой, показывать самого себя какъ Тома Пуса или Юлію Пастрану — унизительно и оскорбительно до невѣроятности, потому что тогда каждый изъ присутствующихъ считаетъ себя въ правѣ впиваться въ меня глазами, залѣзать мнѣ въ душу и разгадывать каждое движеніе моего лица, каждый поворотъ головы, и судить во мнѣ не то, зачѣмъ я явился, а меня самого.

Однимъ словомъ, это окошечко бѣсило меня до того, что я рѣшился немедленно его обслѣдовать, и, къ величайшему моему удовольствію, замѣтилъ, что оно замазано какимъ-то саломъ, такъ что

сквозь него ничего не было видно. Чтобъ осмотрѣть лѣстницу, находившуюся за моей дверью, я сталъ его очищать, но очистить хорошенько не могъ: до такой степени оно было засалено. Стало быть, сообразилъ я, предшественникъ мой испытывалъ то же самое непріятное чувство, которое я теперь испытываю, и поэтому принялъ мѣры противъ излишняго любопытства часовыхъ. Но откуда онъ досталъ сала? Стало быть, если онъ досталъ сала, онъ былъ человѣкъ распорядительный, и, можетъ быть, здѣсь гдѣ-нибудь въ щеляхъ есть какое-нибудь хозяйство. Сдѣлаемъ обыскъ, не осталось ли мнѣ какого-нибудь полезнаго наслѣдства, и, — убѣдясь, что изъ окошечка часовой не можетъ видѣть, что именно я дѣлаю, я принялся за осматриваніе. Я перешарилъ и перерылъ всѣ углы, щели и все, что я нашелъ, — были три спички; но увы, и тѣ обожженныя! Спички эти, по всей вѣроятности, были брошены сторожами, зажигавшими на ночь свѣчи по номерамъ. Я взялъ эти спички и спряталъ ихъ — для чего, зачѣмъ? я и самъ не зналъ, — но на всякій случай, думалъ я, онѣ могутъ мнѣ пригодиться; — и затѣмъ я опять пустился на поиски, искалъ,

искалъ, и ни до чего не доискался, и въ бѣшенствѣ снова забѣгалъ — семь съ половиной шаговъ впередъ, семь съ половиной шаговъ назадъ,—какъ вдругъ зацѣпился за что-то. Это былъ гвоздикъ, торчавшій изъ пола, изъ второй доски отъ окна. Высунулся онъ, можетъ быть, линіи на четыре, если не на три, — какъ его вытащить? Я присѣлъ на полъ и сталъ тащить его пальцами и расшатывать каблукомъ. Гвоздикъ сидѣлъ крѣпко, но черезъ часъ подался, — я его вытащилъ и тоже спряталъ. Это было пріобрѣтеніе, казавшееся мнѣ колосальнымъ.

Принесли ѣсть — четверть коровая чернаго хлѣба, довольно грубаго печенья, и какой-то сосудъ, не то ведро, не то шайка чего-то весьма неопредѣленнаго, напоминающаго и супъ и щи. Сверху плавалъ жиръ, пригорѣлые кусочки сала, какія-то травки да крупинки виднѣлись въ жидкости неопредѣленнаго цвѣта; что это именно было, я совершенно не знаю. Принесъ это арестантъ въ казенной рубахѣ и портахъ, съ цѣпями на ногахъ. Его провожали тѣ же солдаты со штыками.

— Чѣмъ же я это буду ѣсть? спросилъ я у нихъ.

— А у васъ ложки развѣ нѣтъ...

— Нѣтъ.

— Эхъ, баринъ, что жъ вы не взяли-съ?

— Да развѣ казенныхъ не даютъ?

— У насъ свои ложки у всѣхъ арестантовъ...

— Такъ, въ такомъ случаѣ, нельзя ли мнѣ теперь достать хоть какую - нибудь, а я попрошу г. смотрителя, чтобъ онъ купилъ мнѣ свою на мой собственный счетъ, — у него есть мои деньги.

— Хорошо, батюшка, отвѣчалъ арестантъ,—я вамъ предоставлю, и черезъ нѣсколько минутъ онъ вернулся ко мнѣ съ деревянной ложкой. Откуда онъ ее досталъ, и почему онъ былъ такъ любезенъ ко мнѣ, и кто онъ былъ такой, — ничего не знаю; очевидно только, что онъ былъ изъ порѣшенныхъ.

Попробовалъ я варева, и попробовалъ я чернаго хлѣба, котораго, признаться сказать, давно ужъ не ѣдалъ,—и крѣпко нехороша показалась мнѣ острожная пища! хоть бы мясо было въ этомъ варевѣ! Ничего подобнаго не обрѣталось, — кусочки жиру сверху, пригорѣлое сало, какія-то травинки да крупинки на днѣ. Я нѣсколько разъ начиналъ и хлѣбъ жевать и варево хлебать, и каждый разъ отступался, въ надеждѣ, что смотритель не будетъ ничего имѣть противъ моей просьбы посылать мнѣ за

обѣдомъ въ трактиръ. Между тѣмъ варево застыло, и шайка подернулась толстымъ слоемъ бѣлаго жиру.

Такъ вотъ откуда мой предшественникъ доставалъ сала замазывать окошко! подумалъ я, наклонился надъ шайкой, стоявшей на окнѣ и задумался, разсчитывая, какое еще употребленіе можно будетъ сдѣлать изъ этого доставшагося мнѣ въ руки неудобосъѣдаемаго богатства. Шайка стояла на окнѣ съ чрезвычайно длиннымъ и чрезвычайно узкимъ подоконникомъ. Созерцая ее, я между прочимъ, сталъ изучать окно и задавать себѣ вопросъ, какимъ образомъ можно будетъ, въ случаѣ нужды, выпилить изъ него желѣзо, и на сколько можно осмѣлиться выскочить изъ него. Окно было во второмъ этажѣ. Въ старые годы я на столько занимался гимнастикой, что подобный прыжокъ могъ бы совершить не задумываясь,—и затѣмъ сталъ соображать, какимъ образомъ можно будетъ перемахнуть черезъ острожную стѣну. Углубляясь и въ размышленія и въ подоконникъ, я вдругъ услышалъ страшный трескъ въ двери;—звонъ, визгъ, бряканье—дверь распахнулась и вбѣжали два солдата

съ унтеръ-офицеромъ. Лица ихъ были испуганны. Я обернулся вопросительно.

— Что ты здѣсь дѣлаешь? закричалъ на меня унтеръ-офицеръ.

Я вспыхнулъ.

— Во-первыхъ, не смѣй мнѣ говорить ты, если хочешь, чтобъ я тебѣ отвѣчалъ, и во-вторыхъ говори толкомъ, чего тебѣ нужно?

Онъ немножко вытянулся, но, не теряя своего достоинства, продолжалъ нѣсколько смягченнымъ, но все-таки брюзгливо-начальническимъ тономъ:

— Ну, пожалуй, вы. Чего жъ вы цѣлые полчаса въ окно глазѣете? Тутъ не вѣсть, что въ голову придетъ.—Можетъ желѣзо, выламываете?

— Пойди къ смотрителю, сказалъ я,—и скажи ему, что я не стану смотрѣть въ окно, если онъ повѣситъ на стѣну росписаніе, что̀ я долженъ дѣлать и чего не долженъ. Если запрещено смотрѣть въ окно, такъ я не стану, а съ тобой я толковать не намѣренъ и твоихъ подозрѣній и соображеній выслушивать не хочу. — Можешь идти...

Унтеръ-офицеръ что-то еще проворчалъ подъ носъ, вышелъ и, замыкая мою шумливую дверь, громко изъ-за нея читалъ мораль какой каприз-

ный народъ арестанты, какъ они зазнаются, и какъ ихъ не строго держатъ, что была бы его власть, такъ онъ бы показалъ имъ себя, а то ихъ только балуютъ.

Я отошелъ отъ окна и прилегъ на постель додумывать свою задачу, какъ перепилить въ случаѣ нужды или, лучше, на всякій случай, желѣзо; но часовой за дверьми, разъ возъимѣвъ ко мнѣ подозрѣніе въ намѣреніи бѣжать или совершить самоубійство, уставился въ оконцо и не давалъ мнѣ покоя. Злость меня взяла,—я перетащилъ табуретку къ двери и сѣлъ подлѣ нея прямо подъ этимъ оконцемъ, такъ что сдѣлался ему ужъ окончательно невидимымъ. Онъ постучалъ въ дверь, я отозвался.

— Гдѣ вы?

— Здѣсь.

— Что жъ вы не тамъ?

— А ты чего глазѣешь?

— Велѣно.

— Ну такъ я здѣсь буду сидѣть, пока глазѣть не перестанешь.

Я услышалъ, что онъ кого-то звалъ.

— Спрятался, говорилъ онъ:—совсѣмъ не ви-

дать. Можетъ руки на себя наложить задумалъ, — кто его знаетъ.

— Надо офицера позвать, заговорилъ другой голосъ.

— Ну позови, вѣрнѣй будетъ.

Опять поднялся звонъ, щелкотня и трескотня.

Вошелъ офицеръ.

— Послушайте, сказалъ я, едва онъ вошелъ,— будьте такъ добры, скажите вашему унтеръ-офицеру, чтобъ онъ не былъ грубъ и держалъ бы языкъ на привязи: я ничѣмъ не заслужилъ подобнаго обращенія съ его стороны. Да еще я попрошу васъ приказать часовымъ, чтобъ они не пялили на меня глазъ до такой невозможной степени. Пусть взглядываютъ, что я дѣлаю,—я не намѣренъ ни бѣжать, ни на самоубійство не собираюсь, но, признаюсь, постоянное глазѣнье на меня и разсматриванье меня какъ дикаго звѣря, до такой степени непріятно дѣйствуетъ, что я принужденъ садиться подъ дверь, чтобъ меня не видали.

Офицеръ улыбнулся и сказалъ:

— Очень хорошо,—повѣрьте, что васъ не будутъ понапрасну безпокоить. Это произошло по не-

вѣжеству и по непониманію нижними чинами ихъ настоящей обязанности.

Это было мое единственное непріятное столкновеніе съ моими тѣлохранителями и произошло единственно со стороны нижнихъ чиновъ. Со стороны высшихъ острожныхъ властей, кромѣ любезнаго, я ничего не видалъ. — Смотритель заходилъ ко мнѣ нѣсколько разъ и обѣщался снабдить меня стаканомъ, ложкой, тарелкой и прочими терпимыми въ острогахъ удобствами, но не намой счетъ, а прислать изъ своихъ просто изъ любезности; справлялся объ моемъ здоровьѣ;—но нервы мои были до такой степени потрясены, что я попросилъ доктора, что̀ мнѣ было и обѣщано на завтра, когда докторъ придетъ.

Прекурьезная вещь эта острожная жизнь! До такой степени въ ней прибрано все, чтобъ секретные арестанты такъ и содержались секретно въ полномъ смыслѣ слова. Видѣть его могутъ, но передать ему что-нибудь тайкомъ почти-что нѣтъ возможности, — даже самъ смотритель, дежурный офицеръ, рѣшительно не въ состояніи войдти съ нимъ въ сношенія.

Обрядъ таковъ: защелкаетъ замокъ; зазвенитъ, загрохочетъ задвижка; съ глухимъ гуломъ отво-

рится дверь, и къ вамъ войдетъ, положимъ, смотритель. Онъ не имѣетъ права оставаться съ вами при затворенныхъ дверяхъ, и сопровождаетъ его къ вамъ унтеръ-офицеръ да еще солдатъ, такъ что помочь вамъ въ чемъ-нибудь, передать вамъ, напримѣръ, письмо, или сказать вамъ что-нибудь по секрету для него невозможно. Точно также и караульный офицеръ. Докторъ входитъ къ вамъ въ сопровожденіи унтеръ-офицера и еще кого нибудь изъ нижнихъ чиновъ. —Не знаю, какъ дѣлается съ тѣми секретными арестантами, которые остаются въ заточеніи подолгу, но со мной было, по крайней мѣрѣ, такъ.

— Читать, читать дайте, просилъ я смотрителя, — вѣдь я доброй волей къ вамъ забрался...

— Батюшка, всей душой бы радъ, самъ знаю, каково вамъ тутъ, да, воля ваша, не могу.

— Ну покурить дайте, хоть одну папироску.

— Право же не могу, жалко мнѣ васъ, да воля не моя.

Я пересталъ просить; мнѣ стало совѣстно докучать.

Часовъ должно-быть въ пять со звономъ и грохотомъ внесли мнѣ новую шайку съ какой-то

кашей, что-то въ родѣ размазни. Я поѣлъ, побѣгалъ семь съ половиной шаговъ впередъ, семь съ половиной шаговъ назадъ, и отъ скуки завалился и заснулъ. Новый грохотъ разбудилъ меня. Было совершенно темно. Вошелъ сторожъ и зажегъ на стѣнѣ въ небольшомъ желѣзномъ подсвѣчникѣ сальную свѣчку.

— Да я безъ свѣчки привыкъ спать.

— Нельзя-съ, всю ночь должна горѣть.

Я покорился и остался со свѣчкой... вертѣлся, вертѣлся, заснулъ. Опять просыпаюсь; совершенно темно, темно такъ, что хоть глазъ выколи. Только предо мной въ двери сіяетъ проклятое круглое оконце, и какъ днемъ прямо противъ него приходилось окно корридора, такъ ночью пришлась лампа. Не могу я безъ ненависти вспомнить объ этомъ оконцѣ, такъ оно мнѣ насолило. Глаза оторваться не могутъ отъ этого яркаго пятна, — на одинъ бокъ повернешься, на другой, а оно все свѣтитъ да свѣтитъ неумолимымъ желтокраснымъ свѣтомъ. Часовой ужъ не заглядываетъ, потому что свѣча моя вся выгорѣла и ему, смотри онъ сколько душѣ угодно, нельзя меня увидѣть. Оно блеститъ совершенно напрасно, но видъ его раздражаетъ, то ка-

жется, будто это мѣсяцъ, то будто чей-то глазъ. Начинаешь забываться, бредить, опять закрываешь глаза, — но глаза до такой степени привыкли смотрѣть на эту единственную свѣтлую точку, на этотъ единственный предметъ, который можно видѣть, что въ нихъ врѣзалось впечатлѣніе огненнаго кружка, и они отвязаться отъ него не могутъ. Даже заснуть можно, а оконце все таки видно. Будь вмѣсто двери желѣзная рѣшетка или будь вся дверь стеклянная, все не было бы такъ страшно, какъ эта одна круглая точка величиной съ цѣлковый, съ которой остаешся наединѣ въ темнотѣ. Она гипнотизируетъ и доводитъ нето до магнитическаго сна, не то до одурѣнія, нето до бреда. Всѣ мысли мои приковываются къ ней, потому что въ этой страшной мглѣ, кромѣ нея и моего *я*, никого и ничего не существуетъ. Судьба насъ свела и, какъ мысль моя не можетъ отвязаться отъ этого сіянія такъ и оконце не можетъ не сіять мнѣ красножелтымъ свѣтомъ. Всюду мертвая тьма — міръ всякихъ явленій исчезъ, — даже и не исчезъ, его никогда не было! нельзя-же повѣрить въ этой все поглащающей тьмѣ что существуетъ или существовало въ мірѣ что-нибудь кромѣ моего *я*

и этого свѣтящагося кружка. Я и кружокъ—кромѣ насъ никого нѣтъ, — мы оба погружены въ эту тьму другъ для друга. Онъ обязанъ утомлять себя и меня этимъ тусклымъ сіяніемъ, — я обязанъ утомлять себя и его раздумываньемъ объ немъ. Кружокъ и я, — я и кружокъ, —мы съ кружкомъ, — я—кружокъ, — кружокъ—я...

Словомъ, лучшее помѣщеніе представляло всѣ удобства, сойти съ ума или отупѣть самымъ скорымъ и самымъ дешевымъ способомъ. Мысль путалась въ этой тьмѣ. Переложить подушку на другой конецъ кровати, такъ чтобъ лечь головой къ оконцу — было нельзя, потому что подушка съѣдетъ на полъ при первомъ неосторожномъ движеніи.

Стало свѣтать. Цвѣтъ окошечка изъ ярко-желтаго блѣднѣетъ и превращается въ розоватый цвѣтъ зари, затѣмъ онъ совсѣмъ побѣлѣлъ и сдѣлался серебрянымъ, какъ будто мѣсяцъ въ холодную ясную ночь... о, какъ оно было похоже на мѣсяцъ или, по крайней мѣрѣ, казалось мнѣ похожимъ, благодаря слоямъ жиру и грязи, которые я вчера такъ усердно на него налѣплялъ! Эти неровности казались пятнами на мѣсяцѣ, и не разъ, въ просоньѣ, мнѣ чу-

дилось, что передо мной дѣйствительно мѣсяцъ.

Между тѣмъ свѣтъ ворвался въ окно, и опять выступили изъ мрака эти страшно-высокія стѣны съ желтымъ низомъ, моя кровать, полосатые ковры. Я всталъ, кое-какъ всполоснулъ лицо изъ своей шайки съ водой, и опять пошло путешествіе семь съ половиной шаговъ впередъ, семь съ половиной шаговъ назадъ. Загремѣлъ замокъ, отворилась дверь, появился тотъ же унтеръ-офицеръ, тотъ же арестантикъ въ цѣпяхъ,—онъ принесъ мнѣ завтракъ: четверть коровая чернаго хлѣба. Мякиша я не ѣлъ; отвычка отъ чернаго хлѣба, благодаря долгой заграничной жизни, дошла у меня до такой степени, что онъ какъ-то липъ у меня на зубахъ и на деснахъ. Я напалъ на корку и сталъ ѣсть ее, запивая водой изъ шайки.—Караулъ смѣнялся, вчерашній офицеръ сдавалъ сегодняшнему острогъ и показывалъ ему, что всѣ арестанты въ цѣлости. Съ ними ходилъ смотритель.

— Каково почивали на новосельѣ? спросилъ онъ меня, стараясь хоть шуткой смягчить мое горе.

— Ничего, отвѣчалъ я,—привыкаю.

— Дай Богъ, чтобъ вамъ только недолго нашей квартирой пользоваться! острилъ онъ.

Новый офицеръ посмотрѣлъ на меня молча; унтеръ-офицеръ тоже посмотрѣлъ на меня молча, солдатики тоже посмотрѣли молча, вглядываясь мнѣ въ лицо, чтобъ не забыть въ случаѣ побѣга, — и затѣмъ я остался опять одинъ-одинехонекъ, безъ людей, безъ книгъ, среди шума и гама, который нѣсколько стихъ на ночь, а днемъ, благодаря эху, былъ рѣшительно невыносимъ для непривычнаго.

Что тамъ дѣлается на волѣ, на бѣломъ свѣтѣ? Позаботился ли обо мнѣ этотъ добрый губернаторъ: телеграфировалъ ли онъ, а если не телеграфировалъ, то отправилъ ли хоть отношеніе? Кто знаетъ, если телеграфировалъ, то извѣстіе обо мнѣ теперь уже въ Петербургѣ!.. А страшно, страшно, если онъ только писалъ!..

Что дѣлается теперь въ Яссахъ? Думаетъ ли теперь Константинъ Степановичъ горькую думу?— можетъ быть, раскаяніе беретъ его, что онъ согласился своими руками доставить меня въ Скуляны.

И вереницей потянулись думы, воспоминанія... Почему-то училище представилось, дѣтство, какъ меня водили въ церковь молиться, и какъ я въ деревнѣ по грибы ходилъ, буря въ Ламаншѣ, крушившая нашъ корабль и раскачивавшая мачты на со-

рокъ пять градусовъ въ однусторону и на сорокъ пять въ другую; синія волны Архипелага, свѣтящіяся ночью, возникли передъ глазами, и затѣмъ отель въ Копенгагенѣ, въ которомъ я остановился, въ первый разъ отъ роду попавши за границу, какой-то ресторанъ въ Champs Elysées, гдѣ я обѣдалъ со знакомыми, и гдѣ русскій поваръ Алексѣй, какъ-то улепетнувшій за границу отъ барина, подчивалъ насъ квасомъ, щами и растягаями. И вотъ мнѣ почудился запахъ щей, сталъ мерещиться видъ ростбифа, пироги какіе-то заблагоухали, апетитъ разыгрался, — а передо мной четверть коровая сухаго хлѣба на окнѣ и подлѣ него шайка воды. Много я видѣлъ неудобствъ въ жизни, но не бывалъ такъ жестоко лишенъ свободы...

Загремѣлъ засовъ, забрякалъ звонокъ, загрохотала дверь, — вмѣсто всякихъ растягаевъ, лимбургскаго сыру и бульоновъ, несутъ мнѣ шайку вчерашняго отвара неопредѣленнаго цвѣта, вкуса и неописаннаго ни въ одной поварской книгѣ. «Коня, коня, полцарства за коня», — удобствъ, удобствъ, а свободы покуда не нужно!

Вошелъ докторъ съ фельдшеромъ, офицеръ, унтеръ-офицеръ, солдаты....

— Нездоровы? спросилъ докторъ, плотный брюнетъ, среднихъ лѣтъ, смотря на меня какъ-то не въ глаза, а будто въ сторону, какъ на человѣка, съ которымъ не о чемъ толковать, если бы даже и хотѣлось, — потому что нельзя.

— Да, вотъ плохо сплю и т. д., — я ему объяснилъ, что именно меня заставило призвать его.

— Хорошо-съ, черезъ два часа по ложкѣ; запиши, обратился онъ къ фельдшеру.

И то слава тебѣ Господи, подумалъ я, все-таки развлеченье, что черезъ два часа стану принимать лекарство, — все будетъ не такъ скучно, какъ будто дѣло есть.

— Я думаю, докторъ, сказалъ я ему, — разстройство мое происходитъ отъ перемѣны пищи.

— Вы бъ дали ему, вмѣшался добрый смотритель, — лазаретную порцію.

— Да, да, прибавилъ докторъ, — запиши, лазаретную порцію.

— Вотъ это будетъ повкуснѣе нашей кухни, ласково улыбнулся мнѣ смотритель.

Ну и затѣмъ опять семь съ половиной шаговъ впередъ, семь съ половиной шаговъ назадъ, да у окна постоять, да пошаривать изрѣдка пальцемъ

по щелямъ или сондировать обгорѣлыми спичками, нѣтъ ли чего-нибудь въ этихъ щеляхъ, и не написалъ ли какой-нибудь арестантъ гдѣ своего имени. Да, — написано было много, но все это замазано известкой, желтой охрой и забрызгано красной подъ мраморъ. Опять вошелъ добрый смотритель.

— Ну, вотъ вамъ бумага, перо и ваша чернильница, сказалъ онъ, — его превосходительство разрѣшилъ дать. Вы кому-то хотѣли письмо писать. Пишите. Когда напишите, я его у васъ возьму и передамъ его превосходительству.

Испуганный словами губернатора, что извѣстіе обо мнѣ пойдетъ въ Петербургъ по почтѣ, я просилъ у него позволенія написать письмо г. шефу жандармовъ, какъ лицу, отъ котораго будетъ зависѣть моя дальнѣйшая судьба. Мысль эта была дѣйствительно недурная, — всего лучше обращаться непосредственно къ тому, отъ кого зависишь, какъ и вообще во всякомъ дѣлѣ обходиться безъ посредниковъ. Г. Антоновичъ былъ такъ обязателенъ, что самъ обѣщалъ мнѣ доставить это письмо, и я съ нетерпѣніемъ ждалъ и все спрашивалъ у смотрителя, когда мнѣ позволятъ писать. Отыскали гдѣ-то въ

углу острога маленькій столикъ, принесли мнѣ его, возвратили мнѣ мою чернильницу, и я усѣлся передъ столомъ на табуреткѣ совершенно довольнымъ и гордымъ собой... Я блаженнѣйшій человѣкъ былъ въ эту минуту, да и какъ же не блаженнѣйшій человѣкъ: у меня перья, чернила и бумага! Я надѣялся выпросить себѣ позволеніе начать свои мемуары, а имѣй я возможность писать, — мнѣ ни книгъ, ничего не нужно. Я принялся бы тутъ за писаніе всякой всячины и не боялся бы больше одиночества, хоть бы оно продолжалось цѣлые годы. Скучно толковать съ одной бумагой, которая все выслушиваетъ и ни на что не возражаетъ, — но все-таки она великое спасеніе! хоть картинки на ней черти! Одного только не знаю, есть ли возможность писать въ вѣчномъ заточеніи, и особенно когда знаешь, что все написанное тобой пойдетъ въ печку, и никѣмъ не будетъ прочитано. Тогда, кажется мнѣ, перо такъ же не пошло бы по бумагѣ, какъ языкъ не ворочается говорить, когда нѣтъ слушателей. Мысль проситъ отзыва, возраженія, и когда думаешь или пишешь, такъ думаешь и пишешь всегда для кого нибудь...

Не знаю, на сколько у мѣста будетъ, но мнѣ силь-

но припоминается сонъ, который видѣлъ я въ Лондонѣ, поглядѣвши на смертную казнь одного убійцы.

Мнѣ причудилось, будто я нахожусь въ какой-то залѣ, въ которой собралось пропасть народу, и передъ окнами которой строятъ висѣлицу. На улицѣ волнуется толпа. Я смотрю съ любопытствомъ и на висѣлицу и на толпу. Ко мнѣ подходитъ тюремщикъ и говоритъ:

— Ну, однако, поторопитесь, скоро вамъ пора. И мнѣ какъ-то стало ясно, что почему-то, за что-то, сегодня меня будутъ вѣшать.

— Хорошо, сказалъ я, — за мной остановки не будетъ — сказалъ совершенно равнодушно, спокойно, какъ человѣкъ, для котораго все равно, жить ему или не жить. Тюремщикъ отъ меня отошелъ; я занялся разсматриваніемъ окружающей меня публики и тутъ же увидѣлъ нѣсколькихъ норманскихъ бабъ въ деревянныхъ башмакахъ и въ чепчикахъ вышиной въ поларшина. «А, такъ вотъ онѣ,—подумалъ я, эти пресловутыя норманки, которыхъ мнѣ такъ давно хотѣлось видѣть; ну-ка, посмотримъ...» И вдругъ шевельнулось у меня въ мозгу. Зачѣмъ же я смотрю? чего мнѣ нужно? Вѣдь теперь и если и узнаю, что эти норманки такія, а не дру-

гія, — все равно я черезъ десять минутъ и помнить даже объ нихъ не буду! Мнѣ думать не нужно. Мнѣ знать не нужно!..» И мнѣ стало страшно, — такъ страшно, что я проснулся, — проснулся испуганный и подавленный сознаніемъ, что можетъ придти минута, когда всякая мысль окажется ненужной, когда ничто не должно будетъ возбуждать любопытства, — и не то, чтобы не должно, а что самому отвратительно станетъ чѣмъ-нибудь интересоваться... Какъ человѣкъ ни сосредоточивайся въ себя, и какъ ни считай себя вполнѣ независимымъ отъ людей, ему необходимо говорить для того, чтобъ его слышали, писать для того, чтобъ его читали, думать для того, чтобъ кому-нибудь передать свои думы. — Пусть слова мои возбудятъ неудовольствіе, пусть ругаютъ меня за то, что я пишу, но только бы не пустое эхо мнѣ вторило, только бы хоть какой-нибудь живой человѣкъ отвѣчалъ, — иначе и мысль, и слова, и письмо станутъ мнѣ въ тягость, оскорбленіемъ сдѣлаются; и горе тогда тому, у кого нѣтъ кому молиться, для котораго даже и небо молчитъ...

Открылъ я чернильницу, взялъ перо, разложилъ бумагу, сдѣлалъ приличный титулъ и сталъ пи-

сать. Выходило у меня хорошо, такъ что въ полчаса я написалъ все, горячо, искренно, безъ фразъ и безъ униженія; и то, что я писалъ, лилось у меня изъ души. Тутъ была и моя краткая біографія, и объясненіе причинъ моего неожиданнаго возвращенія, и нѣсколько словъ о томъ, что я являюсь съ повинной безусловно, отдаваясь равно безропотно на судъ и на милость.

И мнѣ стало странно. Такъ вотъ оно—то, чего я мѣсяца три не могъ сдѣлать въ Яссахъ, на что рука не подымалась! Тамъ я все думалъ и думалъ, ка́къ и что́ напишу, а здѣсь написалъ просто не думавши. Ce n'est que le premier pas qui coûte. Рѣшиться трудно; но когда рѣшился, тогда все пойдетъ какъ по маслу. Чтобъ не колебаться, корабль надо за собой жжечь, а покуда есть еще лазейка, какой-нибудь выходъ изъ затруднительнаго положенія, до тѣхъ поръ, какъ маятникъ, мечешься вправо и влѣво, остановиться не можешь и улетѣть не можешь. —Ничто такъ не мучитъ друзей и пріятелей, какъ агонія умирающаго, и кто не испытывалъ на себѣ, стоя у смертнаго одра, желанія, чтобъ больной или ожилъ или бы умеръ? Стоящаго подлѣ постели и не знающаго что дѣлать, надѣяться или на-

чать стараться подавлять въ себѣ горе, неизвѣстность томитъ. Колебаніе, сомнѣніе мучитъ умъ человѣческій и, можетъ быть, отъ этого-то́ люди и приходятъ иногда къ такимъ нелѣпымъ убѣжденіямъ и дикимъ вѣрованіямъ, что эти нелѣпыя убѣжденія и дикія вѣрованія все-таки такъ ли сякъ ли, избавляютъ ихъ отъ колебаній. Ходитъ человѣкъ, сомнѣвается, колеблется, ищетъ,—ищетъ на чемъ остановиться,—а тутъ вдругъ кто-нибудь подсунетъ ему катехизисъ, и искатель успокоивается. Въ дорогѣ быть хорошо, но нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ садиться въ вагонъ или вылѣзать изъ него: въ дорогѣ, по крайней мѣрѣ, имѣешь position sociale путешественника, который считаетъ себя въ хлопотахъ, признаетъ себя обязаннымъ ѣсть не то, что привыкъ, и не въ то время, когда привыкъ, неловко спать, неловко сидѣть,— а на первый и на послѣдней станціи его досадуетъ, что онъ не то путешественникъ, не то дома, что отъ одного берега отстаетъ, а къ другому не пристаетъ,—и это его томитъ, какъ всякая неопредѣленность.

Письмо было написано, но оказалось нужнымъ сгладить кое-какія шероховатости, пересмотрѣть кое-какія мѣста, да кстати ужъ и смеркалось,—я

бросился на кровать, довольный, спокойный, затѣвая на другой день, т. е. уже на третій день моего заточенія, пересмотрѣть его, переписать, сдать, а самому засѣсть за какое-нибудь писаніе, хоть за продолженіе моего «Путешествія по Галичинѣ». Словомъ, было легко и весело, особливо благодаря второй лазаретной порціи, какому-то перловому супу, который мнѣ показался вкуснымъ до невѣроятности. Я свыкся съ острогомъ, даже полюбилъ свой лучшій номеръ, даже окошечко меня не такъ сердило, и я заснулъ.

Къ чему человѣкъ ни привыкаетъ, даже къ самой тюрьмѣ! Когда утромъ открылъ я глаза, мнѣ было уже спокойно; въ своемъ номерѣ я чувствовалъ себя до нѣкоторой степени дома, хозяиномъ, своего рода аристократомъ въ острогѣ, узналъ какъ будутъ входить, какъ принесутъ ѣсть, и зналъ, что принесутъ именно такой, а не другой черный хлѣбъ, и зналъ, что отъ этого хлѣба я стану ѣсть никакъ не мякишъ, а корку...

Я усѣлся за столикъ и перечиталъ написанное вчера. Оказалось, что исправить нужно немного,— я принялся переписывать. Затѣмъ, опять семь съ половиной шаговъ въ одну сторону, семь съ по-

ловиной въ другую,—снова присѣлъ за столикъ и сталъ обдумывать, что̀ и ка̀къ писать для себя, т. е. для печати. Засовъ брякалъ, разумѣется, нѣсколько разъ и вслѣдъ за этой желѣзной музыкой своего рода отворялась дверь, входилъ караульный офицеръ сдавать меня другому, входилъ докторъ такъ же съ фельдшеромъ и такъ же съ солдатами со штыками... наконецъ, и обѣдъ принесли, и только что я придумалъ, что̀ мнѣ начать писать, какъ снова раздался этотъ грохотъ, дверь растворилась, и вошелъ смотритель.

— «Ну-съ! не долго у насъ погостили, — сейчасъ въ Петербургъ ѣдете...»

Я сдѣлалъ какой-то антраша и прискочилъ на поларшина отъ пола, къ изумленію смотрителя и всѣхъ присутствовавшихъ со штыками и безъ штыковъ.

— Ка̀къ въ Петербургъ?

— «Отъ министра внутреннихъ дѣлъ пришло предписаніе отправить васъ немедленно въ Петербургъ.—Собирайтесь, скорѣй! Живо, батюшка!..»

—Мигомъ! крикнулъ я радостно.—Экое счастье!

Я просто съ ума сходилъ, что дѣло мое подвинулось.

— «Только сами дверь замкнёте за собой, смѣялся смотритель.

Это мнѣ показалось ужасно страннымъ—какъ? я самъ буду брякать этимъ засовомъ, и навѣшивать этотъ замокъ?

Сборы мои были не долги; оказалось, что очень хорошо я сдѣлалъ, что такъ мало взялъ съ собою вещей; при обыскахъ онѣ бы истомили меня донельзя, а при переселеніяхъ были бы дѣйствительной помѣхой. — Вообще, ѣхать налегкѣ несравненно удобнѣй, чѣмъ даже съ однимъ чемоданомъ.

Я вышелъ, сбѣжалъ съ лѣстницы, радостно кивая головой на веселое привѣтствіе арестантовъ въ цѣпяхъ и безъ цѣпей, для которыхъ всякая перемѣна въ бытѣ острога составляетъ дѣйствительную радость, ужъ и потому только, что однообразіе острожной жизни можетъ навести тоску. — Я вошелъ въ контору.

— Ну, теперь покурить дадите?...

— «Курите, сказалъ смотритель, — и садитесь, — сейчасъ полиціймейстеръ пріѣдетъ...»

Мало такихъ веселыхъ минутъ проводится въ жизни! Хотя мнѣ и жалко было до нѣкоторой степени оставить этотъ номеръ, къ которому я уже

нѣсколько привыкъ, но все-таки предстоящее путешествіе, новыя лица, возможность поболтать хоть бы въ этой конторѣ съ живыми людьми — великое благо для арестанта. Съ кѣмъ бы то ни было, хоть бы съ тюремщикомъ своимъ, а все-таки поговорить хочется; хоть два-три слова сказать, хоть о погодѣ потолковать, но только бы потолковать. Не добрые были тѣ люди, которые выдумали одиночное заключеніе; должно быть, сами не сиживали они въ тюрьмѣ. Нѣтъ пытки хуже этой и нельзя свирѣпѣй тиранить какого бы тамъ ни было преступника, какъ оставлять его одного съ самимъ собою. Одиночное заключеніе, по-моему, не можетъ исправить нравственности; оно скорѣе обозлитъ, звѣремъ сдѣлаетъ, и тутъ не поможетъ ни чтеніе, ни работа. Надо, чтобъ хоть полчаса въ день заходилъ къ заключенному кто-нибудь не офиціально, а просто такъ, покалякать, — а людей сажаютъ въ одиночку лѣтъ на двадцать пять подъ замокъ! Безъ ужаса нельзя читать описаній того, что дѣлается въ нѣкоторыхъ англійскихъ и американскихъ тюрьмахъ, гдѣ для движенія заставляютъ заключенныхъ безъ цѣли качать воду или скакать черезъ

камни.—Тутъ не душу спасаютъ, а звѣремъ человѣка дѣлаютъ...

Ужъ послано было за бричкой; ждали полиціймейстера и жандармовъ, которые должны были меня конвоировать, — а я сидѣлъ развалясь, бариномъ, и покуривалъ папиросу за папиросой. Мнѣ сдали мои вещи, разумѣется, за исключеніемъ того же перечиннаго ножа. Наконецъ, полиціймейстеръ явился и вполнѣ понялъ мою радость, что дѣло мое не затягивается, и что производиться будетъ въ Петербургѣ, а не въ Кишиневѣ. Появились и жандармы, унтеръ-офицеръ Марковъ и рядовой Тимченко. На груди унтеръ-офицера была сумка съ пакетомъ обо мнѣ. Онъ взялъ меня подъ росписку.

— Вѣдь васъ нужно опять обыскать, сказалъ полиціймейстеръ.

— Чтожъ, отвѣчалъ я, — я не прочь. Обыскиванье мнѣ въ привычку и во вкусъ вошло.

— Извините, ваше благородіе, сказалъ Марковъ, — таковъ порядокъ-съ.

— Сдѣлайте одолженіе, отвѣчалъ я,—вы расписываетесь въ полученіи меня: а товаръ лицомъ продаютъ.

Марковъ ощупалъ меня, зная самъ, что со мной

револьвера даже и быть не можетъ, — но порядокъ все-таки долженъ былъ быть соблюденъ...

— Ну теперь все кончено: путь вамъ счастливый! сказалъ полиціймейстеръ.

Я распростился съ ними съ грустью, потому что все-таки они были ко мнѣ добры, чѣмъ могли тѣмъ мнѣ помогали, не тѣснили меня и за ласковымъ словомъ въ карманъ не лѣзли. За воротами стояла телега. Марковъ разостлалъ на сидѣньи мои ковры, мы съ нимъ сѣли рядомъ. Тимченко, жандармъ съ длиннѣйшими ногами, какія я видѣлъ у кого-либо на свѣтѣ, помѣстился противъ меня и цѣлыя девять сутокъ, что мы скакали, прижималъ меня колѣнами и кололъ меня шпорами, отчего мои брюки замѣтнымъ образомъ пострадали.

— Прощайте, прощайте, говорили мнѣ мои острожные начальники.

— Прощайте. Желаемъ, чтобъ скорѣй и лучше кончилось ваше дѣло? Не унывайте, Государь милостивъ, — на него полагайтесь.

Бичъ щелкнулъ, тройка рванулась, и мы покатили по той же площади, мимо того же почернѣлаго и покривившагося отъ лѣтъ эшафота съ позорнымъ столбомъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

VII.

Жандармы. — Марево. — Арестованная особа. — Молоко и яйца. — Землякъ Березовскаго. — По поводу опрокинувшейся телеги. — Пинскія болота. — Бѣлорусы. — Близость Петербурга. — Городъ Островъ. — № 4.

Весело и жутко было мчаться по кишиневскимъ улицамъ, возбуждая вниманіе прохожихъ, понимавшихъ, разумѣется, что съ жандармами ѣздятъ люди, состоящіе совсѣмъ на особыхъ правахъ. Мы пронеслись вихремъ весь городъ по его широкимъ, прямымъ и даже довольно чистымъ улицамъ, выѣхали за заставу и очутились въ полѣ. Тряско было на телѣгѣ, и къ вечеру, признаюсь, у меня сильно заболѣли бока отъ этой бѣшеной русской скачки,— а я ужъ столько лѣтъ отъ нее отвыкъ. При перемѣнахъ лошадей на станціяхъ, входили мы въ комнаты, и оставались тамъ покуда Марковъ прописывалъ нашу подорожную и разсчитывалъ насчетахъ, сколь-

ко приходится прогоновъ. Минутъ черезъ десять лошади бывали готовы, ковры мои перебрасывались на другую телегу, мы опять усаживались, я на лѣвой сторонѣ, Марковъ на правой, а Степанъ Тимченко, съ его невѣроятно длинными ногами и съ его шпорами, прямо противъ меня. Какъ всѣ дорожные на свѣтѣ, такъ точно и арестанты со своимъ конвоемъ, знакомятся сначала туго, неразговорчиво, отрывистыми замѣчаніями и вообще соблюдаютъ не то чтобъ церемоніи, а ведутъ себя довольно натянуто и сдержано; но мало-по-малу эту плотину прорываетъ, и, волей-неволей между путешественниками образуется какая-то связь, даже нѣчто въ родѣ дружбы, они уже считаются людьми своими.

— «Перекусить бы чего», говорю я.

— Да здѣсь ничего не найдешь, говоритъ Марковъ,—вотъ мы со Степаномъ взяли съ собой хлѣба да сала.

— «Нельзя ли, говорю я,—хоть чего-нибудь достать?»

— Спросить можно, говоритъ Марковъ, и подмигивая глазомъ Тимченко, чтобъ онъ меня не упускалъ изъ виду, отправляется на реквизицію. Оказалось, что есть щи.

— «Щей на расправу! говорю я, — хоть щей похлебаемъ».

Принесли щей, и Боже, мой, какъ хороши и вкусны показались они мнѣ послѣ нашихъ острожныхъ: и сварены-то видно не на общей кухнѣ, и не такъ скупо положено въ нихъ капусты, и кусочки мяса плаваютъ.

— «Гдѣ ночевать будемъ?»

— Да намъ ночевать нельзя, говоритъ Марковъ.

— «Отчего нельзя»?

— А оттого нельзя, что тогда въ Петербургъ не поспѣемъ.

— «Да вѣдь нельзя жъ такъ, не спавши, ѣхать всю ночь».

— Что же дѣлать, коли велѣно!

— «Да я не могу».

— Съ непривычки оно трудно, говоритъ Марковъ — даже бока заболятъ, а вотъ двое сутокъ проѣдемъ, такъ въ привычку и войдетъ; тогда сидя на телѣгѣ, можно спать.

— «Однакожъ все-таки часокъ надо заснуть, а то ужъ мочи нѣтъ.

— Ну, пожалуй, на другой станціи.

— «Пожалуй, на другой станціи».

На станціяхъ вездѣ есть диванчики. Располагаемся мы: я на одномъ, Марковъ на другомъ, Тимченко гдѣ-нибудь у дверей для безопасности. Короткій сонъ освѣжаетъ, — встаемъ и ѣдемъ.

Мы ужъ въ Херсонской губерніи. Никогда не забуду я этого чуднаго разсвѣта въ степи, на которой ни деревца, ничего нѣтъ. Марковъ и Тимченко дремлютъ, подпрыгивая на телѣгѣ; я тоже дремлю и просыпаюсь. Степь покрыта тонкимъ, какъ кисея прозрачнымъ, туманомъ, и надъ ней растутъ какія-то колосальныя, съ макушками въ небѣ деревья, простершія вѣтви одно къ другому, наклонившіяся, кривыя и неподвижно-дремлющія въ воздухѣ. Горы видны, обрывистые холмы, мѣстами лѣсокъ, и надо всѣмъ этимъ огромныя деревья раскидываютъ свои вѣтви вширь, и концы этихъ вѣтвей пускаются внизъ, чуть не до самой земли...

Что это? гдѣ я? какія же тутъ горы, какія же тутъ деревья? И что это за колосальныя деревья такія? Я такихъ нигдѣ не видалъ. А горы мѣняются: я вижу, какъ передвигаются по нимъ лѣса, перемѣщающіеся съ уступа на уступъ, съ

долины на гребень, а горныя деревья, пни которыхъ закрыты этимъ тонкимъ сѣроватымъ туманомъ, раскидываютъ свои колосальныя вѣтви къ небу и спускаютъ руки къ землѣ. Что это? Гдѣ я? Не сонъ ли это? Нѣтъ, это не сонъ, утро дышетъ такой прохладой, востокъ желтѣетъ какъ янтарь, а лѣса все колышатся, а деревья все стелются по небу...

Удивительная вещь это марево въ малороссійскихъ степяхъ! Я въ первый разъ его видѣлъ и долго не могъ уяснить себѣ, во снѣ это или на яву. По мѣрѣ того, какъ алѣлъ востокъ, деревья стали подыматься, оторвались отъ земли и свернулись въ розоватыя и золотоватыя облака; горы поднялись и примкнули къ нимъ. Какъ пелена какая, оторвался туманъ отъ земли и сталъ подыматься все выше, все свертываясь въ клубы, алѣя, золотѣя подъ лучами солнца, которое точно неожиданно вынырнуло изъ-подъ земли и озарило лѣсъ, телегу, лошадей, жандармовъ и ихъ арестанта красно-желтымъ свѣтомъ, какъ будто привѣтствуя путниковъ, такъ долго мчавшихся въ утреннемъ сумракѣ и холодѣ, еле-еле зеленѣвшую только что прорѣзывавшую травку и такъ жадно просившую дождя...

Опять станція. Опять слѣзаемъ съ телѣги и, потягиваясь и расправляя свои усталые, растрясенные члены, входимъ въ комнату. Смотритель въ вицмундирѣ бѣжитъ за подорожной, искоса поглядывая, какого такого злодѣя везутъ,—поджигателя, фальшиваго монетчика, поляка-бунтовщика или какого-нибудь троеженца, — но увы, ничего не узнаетъ онъ изъ подорожной, кромѣ того, что ѣдетъ жандармскій унтеръ-офицеръ Марковъ и рядовой Степанъ Тимченко съ состоящей при нихъ арестованной особой.

Да! у меня нѣтъ имени, у меня нѣтъ ни званія, ни лѣтъ, ни прошлаго,—я ничего,—я *состою* при унтеръ-офицерѣ Марковѣ и рядовомъ Тимченко, какъ какая-нибудь кладь, — я вопросительный знакъ для цѣлаго міра. Да, кто я такой? Кто эта арестованная особа? Гдѣ эта особа арестована? Про что? Зачѣмъ? Извѣстно только, что везутъ ее изъ Кишинева въ Петербургъ, а что она надѣлала, и что съ ней сдѣлаютъ, съ этой арестованной особой, состоящей при двухъ жандармахъ — это загадка. И смотритъ смотритель мнѣ въ лицо, и оглядываетъ меня жена его, поправляя чепчикъ, и ребятишки выглядываютъ изъ щелокъ, и работ-

ница смотритъ на меня, вытирая грязныя руки объ не менѣе грязный передникъ, а арестованная особа ходитъ, потягивается и говоритъ, что хочетъ ѣсть и спрашиваетъ, нѣтъ ли молочка или яицъ, потому что кромѣ молока и яицъ ничего нельзя достать на станціяхъ. И приносятъ арестованной особѣ огромнѣйшій кувшинъ молока, парнаго, свѣжаго, ужъ безъ всякой подмѣси, и стаканъ за стаканомъ роспивается это молоко съ Марковымъ и Тимченко, и душа радуется и благодаритъ Господа Бога, заботящагося не только о птицѣ небесной, но даже и объ арестованной особѣ. А Марковъ опять постукиваетъ на счетахъ, высчитывая прогоны и соблюдая, чтобъ казенная копейка какимъ грѣхомъ не пропала, и разсказываетъ, какъ строго при сдачѣ отчета потребуютъ не только что копейку, не только денежку, но даже каждую полушку! и записываетъ Марковъ въ шнуровую приходо-расходную книгу, сколько заплатилъ на какой станціи прогоновъ. Снова мы вскакиваемъ въ телѣгу: я налѣво, Марковъ направо, впереди ноги Тимченко, ямщикъ взмахиваетъ кнутомъ, и мчимся мы ужъ—по Кіевской Губерніи. И попадаются намъ на встрѣчу красивыя Маруси, Горпины, Ганны съ

цвѣтами на головѣ, въ короткихъ понявахъ; и чумаки ѣдутъ куда-то съ солью, въ шараварахъ съ Черное море, которыя, какъ и рубахи ихъ, пропитаны дегтемъ, да такъ пропитаны, что даже не приберешь названія, какого цвѣта они; а волы ихъ идутъ, лѣниво пережевывая жвачку и лѣниво взглядывая по сторонамъ. Все равно этимъ, своего рода арестантамъ или каторжникамъ, кого везутъ: арестованную особу или не арестованную; не думаютъ они, въ своей блаженной кротости, что вообще за особы проносятся вихремъ мимо ихъ... а чумаки почесываютъ себѣ спины и тоже ничего не говорятъ, а думаютъ ли они что, про то они сами знаютъ. Молчатъ, можетъ быть, и думаютъ.

Скачемъ, несемся, — только уголокъ Кіевской Губерніи захватываемъ мы. Вотъ и Подолъ. Мы проѣзжаемъ множество крохотныхъ, непривѣтливыхъ городковъ, населенныхъ евреями; останавливаемся на базарахъ закупить чего-нибудь, хоть того же сала, хоть солонинки какой-нибудь, хоть сыру, но увы,—на этихъ базарахъ, кромѣ луку да какихъ-то не съѣдомыхъ колбасъ, да промзглаго творогу, да яицъ, — ничего не найдется. А куда жъ скачущимъ по двѣсти верстъ въ сутки тащить съ со-

бою яйца? Но Подольская губернія для загадочной арестованной особы все-таки гостепріимнѣй Херсонской и Кіевской. Смотрителя какъ-то сочувственнѣе смотрятъ на арестанта съ двумя жандармами; они сразу угадываетъ, что тутъ что-то такое политическое, и какъ-то проворнѣй и охотнѣй даютъ молока и яицъ. Хороша Подольская губернія — вся зеленая, красивая.

Былъ какой-то праздникъ. Мы ѣхали безконечнымъ селомъ; шли разряженныя бабы въ церковь, и разряжены были съ такимъ вкусомъ, такъ хороши были ихъ дымчатыя кисейныя покрывала, спускавшіяся съ головы на плечи, что, ей Богу, я налюбоваться на нихъ не могъ. Старуха какая-то ковыляла.

— Стой, сказалъ Марковъ, останавливаясь подлѣ старухи, порылся въ карманѣ, вынулъ копейку: — поставь, бабушка, къ Николѣ.

Я вынулъ тоже копейку.

— «Поставь, бабушка, тоже къ Николѣ.

Тимченко вынулъ.

— Поставь, бабушка, къ Николѣ.

— Помогай вамъ Богъ! счастливого подорожья!

Старуха перекрестилась, кнутъ взвился, и мы опять ринулись въ путь.

Дубовые вѣковые лѣса, ясень и липа, все благоухаетъ весной; птицы весело поютъ, — мы мчимся, мчимся, ночуя гдѣ два часа, гдѣ три, переправляясь черезъ рѣки на паромахъ, — мы мчимся; и вотъ ужъ Волынская губернія, и вотъ опять какая-то станція.

— «А сколько, не замѣтили? Семь?

— Верстъ шесть, кажись.

— «А вотъ посмотримъ, сейчасъ столбъ будетъ», — и мы мчимся такъ быстро, что столбы не заставляютъ себя ждать. Заборы и пашни, чумаки, босыя бабы, стреноженныя лошади, все это мелькаетъ передъ глазами. Ну, вотъ пять, вотъ четыре версты до станціи. Ѣсть хочется.

Потягиваясь входимъ мы на станцію.

— Лошадей, поскорѣе лошадей! говоритъ Марковъ.

— Молока, пожалуйста, молока, говорю я — и полдюжину яицъ.

— Въ крутую?

— Въ крутую — вѣдь въ смятку у васъ не достанешь.

— Въ крутую изъ корчмы можно достать — а въ смятку у насъ, точно, не поспѣетъ.

Марковъ вытаскиваетъ подорожную, вынимаетъ деньги, раскрываетъ свою разсчетную книгу, и смотритель что-то такое вписываетъ въ свои счеты.

— А слыщали новость? говоритъ онъ.

— Новость? Какую?

— Молебствіе назначено — всѣ поѣхали въ Житоміръ; сказываютъ, крестный ходъ будетъ. Опять въ Государя стрѣляли.

— Какъ? что? въ недоумѣніи спрашиваемъ мы — да кто же, кто?

— Неизвѣстно...

— Полякъ какой нибудь! рѣшаетъ Марковъ.

— Полякъ! повторяетъ за нимъ Тимченко, точно съ просонья.

— Полякъ! говорю я, зная такъ хорошо польскую эмиграцію и зная, что Государь въ Парижѣ.

— Нѣтъ, говоритъ смотритель,— этого быть не можетъ: у поляка никогда не подымалась и не подымется рука на коронованную особу, а тѣмъ болѣе, на Его, хотя бы для эмигранта и бывшаго Государя.—Полякъ стрѣлять не станетъ.

— Полякъ! говоримъ мы въ голосъ.

— Не можетъ быть, говоритъ смотритель, это или французъ или тотъ же русскій. Вонъ когда Каракозовъ выстрѣлилъ, такъ тоже говорили, что полякъ, — а вышло, что не полякъ.

Хотѣлось бы мнѣ очень теперь увидѣть лицо этого смотрителя и знать, каково ему пришлось при извѣстіи, что стрѣлялъ въ Государя не только что полякъ, да еще, какъ на смѣхъ, именно волынскій полякъ — землякъ его.

Однако это плохо, думаю я. Въ Государя стрѣляли и, по счастью, не попали, но въ Петербургѣ, по всей вѣроятности, царствуетъ паника, будетъ реакція, пойдутъ всякія строгости и переборки.

Въ плохое время вздумалъ я ѣхать въ Россію.

Но назадъ уже нельзя; опять мчится телѣга, встряхивая насъ всѣхъ, подбрасывая то грязь, то пыль, но встряхиваній ея я ужъ не боюсь. Дѣйствительно, черезъ двое сутокъ бока притерпѣлись ко всему, и несносной рѣзи въ нихъ и ломоты въ поясницѣ какъ будто и не бывало.

Скачемъ, скачемъ, и вотъ Житоміръ, краса и гордость Волыни,—городъ, представляющій собой все-таки нѣчто европейское. На улицахъ толпа, военные кишатъ; какіе-то юноши, очевидно поля-

ки, съ глубокимъ участіемъ и состраданіемъ взглядываются мнѣ въ лицо, и мнѣ совѣстно, что участіе и состраданіе ихъ, которое мнѣ все таки дорого, попадаетъ ни на того, о комъ они думаютъ. Польскія дамы глядятъ на меня тоскливо, а поляки, такъ и видишь, что если бы ихъ сила, лоскомъ положили бы моего Маркова съ Тимченкой и на рукахъ понесли бы меня по городу. Но русскіе офицеры смотрятъ угрюмо, съ досадою, какъ будто говоря: Да скоро ли это кончиться? Скоро ли наконецъ угомонитесь вы? Мы думали, что все кончено, а вонъ васъ все еще возятъ да возятъ!....

При выѣздѣ изъ Житоміра случилось съ нами происшествіе, гораздо серьезнѣе всякаго соскакиванія колесъ, загоранія осей, поправки сидѣній, перевязки переплетовъ и тому подобныхъ дорожныхъ развлеченій, которыя были для насъ дѣйствительными событіями, и которымъ мы были благодарны что они все-таки нарушали однообразіе путешествія. Только-что выѣхали мы изъ Житомірской станціи, какъ ямщикъ, молодой мальчишка, лихо заворотилъ въ улицу и наѣхалъ колесомъ на груду щебня. Я въ мигъ постигъ, что телѣга клонится

въ мою сторону и предвидя, что представляется удобство сломать себѣ если не шею, то, по крайней мѣрѣ, переломать или вывихнуть руки или ноги, — что было мочи отпихнулся отъ дна телеги, которая ужъ совсѣмъ валилась, и такимъ образомъ отбросилъ себя что-то сажени на двѣ въ сторону, на мостовую. Слышалъ я только, какъ загремѣли сабли и револьверы Маркова и Тимченко, вываливавшихся изъ телѣги, и покуда я вставалъ и ощупывалъ себя, весь ли цѣлъ, и нѣтъ ли гдѣ ушиба, какъ Марковъ и Тимченко стояли ужъ подлѣ меня, испуганные до нельзя. Ящика мы смѣнили, станціонному смотрителю Марковъ прочелъ нотацію и мы поскакали дальше.

Удивили меня мои жандармы, когда я съ ними принялся за провѣрку, кто что чувствовалъ во время паденія телеги. Я, грѣшный человѣкъ, въ эту секунду думалъ больше о своихъ бокахъ и боялся быть ушибленнымъ огромной шашкой Маркова. Марковъ же и Тимченко сказали мнѣ, что они испугались не за себя, а за меня; и не того испугались, что я расшибусь — это имъ въ сущности было бы все равно: они бы могли меня сдать въ госпиталь, получить росписку и возвратиться по добру по здо-

рову въ Кишиневъ. Они того испугались, — что, можетъ быть, пользуясь этимъ неожиданнымъ событіемъ, случившимся, какъ на грѣхъ, въ сумерки, я дамъ тягу. Не объ ушибахъ своихъ они думали, не о моемъ здоровьѣ и долгоденствіи помышляли, а о томъ, какъ бы я не сбѣжалъ. Сначала мнѣ это казалось жестоко, — но, поразмысливъ хорошенько и прислушавшись къ ихъ разсказамъ о жандармской службѣ, которая почти вся и состоитъ въ завѣдываніи извощиками и кучерами при разъѣздахъ, да въ конвоированіи подобныхъ мнѣ арестованныхъ особъ, я пришелъ къ заключенію, что они были совершенно правы. Не помню гдѣ, одинъ станціонный смотритель намъ разсказывалъ, что везли какого-то поляка, который съумѣлъ уйдти верстъ съ двадцать со станціи отъ своихъ конвойныхъ — и конвойнымъ пришлось попасть въ арестантскія роты на пятнадцать лѣтъ. При такихъ условіяхъ понятно, почему паденіе телеги возбудило въ моихъ конвойныхъ не страхъ за свои или мои ребра, а страхъ за потерянные годы службы, и ужасъ передъ страшной перспективой арестантскихъ ротъ.

— Въ прежнее время, толковалъ мнѣ Марковъ,

когда срокъ службы былъ больше и когда наказаніе было строже, жандармы были отчаяннѣе: все, бывало, сдѣлаютъ для арестанта, не то что выпустятъ, а еще сами съ нимъ уйдутъ, за самые пустяки, оттого, что, значитъ, люди себя не берегли. Служить, думаетъ, долго; за все, про все бьютъ,— оттого и народъ былъ отчаянный. А теперь народъ основательнѣй сталъ, въ службу больше вникаетъ и на такое дѣло не пойдетъ. Не бьютъ, а страху стало больше, каждый самъ себя бережетъ...

За Житоміромъ начались лѣса. Почва какъ-то или опускалась все ниже и ниже или, не знаю, что ужъ съ ней дѣлалось, но она становилась сырѣе, мшистѣе. Мы въѣзжали въ область знаменитыхъ Пинскихъ Болотъ.

Не знаю я края красивѣе этого. Рюисдаль и Польпотеръ обезсмертили бы его своими пейзажами; и удивительное дѣло, что ни русскій ни польскій художникъ не съумѣли воспользоваться этимъ богатѣйшимъ въ мірѣ матеріаломъ для пейзажной живописи. Я по цѣлымъ часамъ заглядывался въ эти безконечныя зеркала болотной воды, поросшей березой, ольхой, лозой, дубомъ, — кое-гдѣ, гдѣ почва посуше, сосной. Мохъ зеленѣлъ надъ водой, лопухи

вольно разстилали свои широкіе листья; осока зеленѣла; комары носились не роями, а тучами,—а надо всѣмъ этимъ трещалъ дупель и коростель. Журавль и цапля выступали на безконечныхъ ногахъ, то и дѣло окуная носъ въ воду и какъ-то пытливо посматривая на проѣзжающихъ, которые ихъ нисколько не пугали. Они сажени на двѣ смѣло сидѣли подлѣ гремѣвшей и несшейся во всю прыть телеги. На соломенныхъ крышахъ хатъ вили гнѣзда аисты и стояли надъ ними на одной ногѣ, поджавъ подъ себя другую, и также беззаботно смотрѣли, какъ телега неслась, какъ ребятишки прыгали, и какъ жидъ кричалъ во всю глотку, ругаясь о чемъ-то съ бабой въ понявѣ. Приволье и тишина въ этихъ болотахъ превосходитъ всякое вѣроятіе. Вы ѣдете и видите, что саженей на пять отъ васъ на эту трясину отъ сотворенія міра не ступала еще нога человѣческая, и можетъ быть увѣрены, что десятки лѣтъ, а можетъ быть, и цѣлые вѣка пройдутъ, пока побываетъ человѣкъ на этомъ мѣстѣ, посѣщаемомъ только вольной птицей, дикимъ кабаномъ да хорами лягушекъ, которыя гремятъ на закатѣ проѣзжему такой гимнъ сотнями тысячъ голосовъ, какой едва-ли придется слышать въ другомъ уголкѣ

міра. Деревья растутъ, никѣмъ не сѣянныя, никѣмъ не саженныя, растутъ широко, привольно, никто ихъ не рубитъ, никто ихъ не трогаетъ; растутъ онѣ и ввысь и вширь, разростаясь до исполинскихъ размѣровъ, пока не подѣлаются въ нихъ дупла, и пока буря не сломитъ этихъ вѣковыхъ исполиновъ, засѣвшихъ въ болотной крѣпости. Все дышетъ дѣвственностью, на всемъ лежитъ печать, что человѣкъ не играетъ тутъ никакой роли, будто его и на свѣтѣ не существуетъ, будто его никогда и не было на свѣтѣ. — Какъ жалко, какъ смѣшно кажется это несчастное, полуразрушенное шосе, пролегающее этимъ нетронутымъ міромъ, со всей его гордыней и всѣмъ его величіемъ. «Ну, что взяло? какъ будто говорятъ ему деревья. Ну вотъ и забралось ты въ нашъ край, перерѣзало его изъ конца въ конецъ,—а гдѣ жъ у тебя проселочныя дороги? Кто тебя пересѣкаетъ? Кто тебя знаетъ?» И, въ самомъ дѣлѣ, странна и печальна участь этого тракта, дерзнувшаго прорѣзаться таинственными дебрями Пинскихъ Болотъ. Еще передъ крымской войной было заброшено это единственное сообщеніе сѣверо-западнаго края съ югомъ. Страшныя вещи разсказываютъ, чего стоило нашимъ бѣднымъ сол-

датикамъ идти въ Крымъ и въ Турцію этой дорогой, которую не чинили съ тѣхъ поръ, какъ построили. По колѣно вязли они въ грязи, пушки тонули середи шосе, лошади падали, люди гибли, а масса войскъ все двигалась да двигалась среди грязи и топи и кое-какъ добивалась юга встрѣчать вражескіе штыки и пули. Тогда понаводили кое-какіе мосты, кое-гдѣ сдѣлали бревенчатую мостовую, — но войска воротились, дорога забыта, никто по ней не ѣздитъ, никому она не нужна, и она опять разрушается и опять, переѣзжая каждый мостокъ черезъ болотные ручьи и протоки, того и глядишь, что разсыплются истлѣвшія бревна и провалятся въ болото и телега, и кони, и жандармы, и я самъ, состоящая при нихъ арестованная особа.

И какія это травки растутъ на этихъ стоячихъ водахъ, что весь воздухъ пропитанъ сладкимъ благоуханіемъ? И что это за птицы здѣсь водятся, что пѣсня ихъ такъ жутко прожигаетъ душу до самаго сердца?—Здѣсь царство кабана, нелюдимаго и мрачнаго жителя тины, который цѣлый день лежитъ зарывшись въ ней и высунувъ на верхъ только морду. Грязь прилипаетъ къ его рѣдкой щетинѣ, почти сростается съ кожей и образуетъ на ней та-

кую толстую кору, что пуля не пробиваетъ. Онъ угрюмъ, нелюдимъ и самъ уходитъ отъ человѣка— но плохо тому, кто наступилъ на него соннаго или навелъ на себя подозрѣніе кабанихи, разгуливающей со своимъ потомствомъ. Лосей множество водится здѣсь; серна, не знаю какими судьбами, спасаетъ свои тонкія ножки отъ этой грязи, — но и спасаетъ она ихъ только лѣтомъ. Чуть наступятъ морозы, и чуть лужи покроются пластомъ тонкаго льда, какъ этотъ ледъ пробивается подъ ея прыжками, перерѣзываетъ ей мускулы и отдаетъ ее живьемъ на добычу волкамъ, постояннымъ жителямъ болотной пустыни, которая кормитъ ихъ такъ легко и привольно своими болѣе кроткими обитателями. Серна какъ ребенокъ плачетъ, и плачъ-то ея и скликаетъ къ ней этихъ хозяевъ пущи. Медвѣдей множество, и крѣпко обижаютъ они пчеловодовъ, такъ что пчеловоды втаскиваютъ колоды на верхушки самыхъ высокихъ дубовъ и сосенъ, и подъ ними дѣлаютъ широкій помостъ, загораживающій дорогу медвѣдю.

И весело было ѣхать этимъ забытымъ краемъ, невѣдомымъ царствомъ пинчуковъ, лягушекъ и всякаго звѣрья. Нелюдимые ямщики рады каждо-

му проѣзжему,—потому что проѣзжій здѣсь попадается рѣже лося или медвѣдя. Лошади жирѣютъ на станціяхъ отъ бездѣйствія.—На одной станціи смотритель говорилъ, что въ эту недѣлю потребовалъ отъ него лошадей только священникъ, ѣхавшій куда-то верстъ за сорокъ на праздникъ, почтальонъ, да мы. Ямщикъ словоохотенъ, потому что ему говорить не приходится, а разсказать есть про что, но весь его разговоръ сводится на медвѣдей. Маркову и Тимченко очень хотѣлось послушать разсказовъ обо львахъ и тиграхъ, но ямщики, на сколько имъ можно вѣрить, заявили, что львовъ и тигровъ тутъ не водится; Тимченко также добивался, водятся ли здѣсь змѣи сажени въ четыре длины,—но и змѣй такихъ, на горе его, тоже не оказалось. За то разсказы ямщиковъ о томъ, что есть въ болотахъ, были дѣйствительно интересны, и если бы я писалъ не отрывки изъ своихъ воспоминаній, а разсказы о нравахъ животныхъ, то я могъ бы поразсказать со словъ ямщиковъ много кое-чего любопытнаго, особенно о медвѣдяхъ.

И смотрителя въ этой дебри народъ тоже привѣтливый: насъ принимали они не столько какъ проѣзжихъ, сколько какъ гостей, и за это было

имъ большое спасибо, потому что молоко и яйца въ крутую—пища все-таки не совсѣмъ привлекательная. Особенно благодаренъ я одному изъ нихъ, который поподчивалъ насъ какой то копченой птицей. Это былъ дѣйствительно пиръ,—и угощеніе дѣлалось безплатно, просто изъ гостепріимства, потому просто, что съ одной стороны, пріѣхали люди незнакомые, а съ другой и загадочные. Я угощался, придерживаясь національнаго обычая, что несчастненькимъ принимать милостыню не грѣшно, и искренно благодарилъ этихъ людей, заброшенныхъ судьбой въ болотную трущобу и невидящихъ въ ней по цѣлымъ недѣлямъ ни одной живой души, кромѣ почтальоновъ да сосѣднихъ чиновниковъ, ѣдущихъ всегда по какой-нибудь исключительной казенной надобности.

Минская губернія рѣзко отличается отъ Волынской и Подольской своимъ бѣлорусскимъ населеніемъ, къ которому я тогда въ первый разъ имѣлъ случай присмотрѣться, и то на столько, на сколько можно смотрѣть съ мчащейся во весь духъ телеги.—Грустное чувство возбуждаетъ блѣдный, жидкобородый бѣлорусъ съ своей забитой наружностью, испуганнымъ, отупѣлымъ взглядомъ и ни-

какъ себѣ представить не можешь, какимъ это образомъ, въ былыя времена, этотъ самый народъ оказывался способнымъ къ государственной жизни, къ подвигамъ, имѣлъ свое купечество,—и почему онъ такъ упорно могъ отстаивать свою вѣру? По разсказамъ ямщиковъ, къ вѣрѣ онъ все-таки равнодушенъ, т. е. если бы вышелъ указъ, что завтра ему быть уніатомъ, онъ безъ борьбы сдѣлался бы уніатомъ, а если послѣзавтра записали бы его въ армяне, онъ и въ армяне бы пошелъ. И кто знаетъ, кто придавилъ это несчастное племя,—шляхта или еврей? а что оно придавлено и придавлено донельзя, до послѣднихъ предѣловъ,—это въ глаза бьетъ. У южнорусовъ хаты смотрятъ веселѣй, бабы и дѣвки одѣты красивѣе, — здѣсь ничего нѣтъ, кромѣ страшной, вопіющей прозы — какъ сонные бродятъ эти мужики. А ходятъ они будто сербы: съ головы до ногъ одѣты въ бѣлое; какъ у сербовъ, швы у нихъ расшиты черной шерстью, и узоръ выведенъ тоже подъ прямыми углами; такія же маленькія бѣлыя шапочки, такія же бѣлыя онучи навернуты на ноги; таже страсть къ землянымъ работамъ, — но нѣтъ той удали, той бойкости во взглядѣ, которая видна у каждаго серба,—все это,

какъ-то опустилось, унизилось, къ землѣ пригнулось.

Любознательный Марковъ, ужасно любившій потолковать съ ямщиками, допрашивалъ ихъ по моей иниціативѣ, лучше ли стало при нынѣшнихъ порядкахъ? Опредѣленнаго мы добились только отъ двухъ. Одинъ сказалъ, что прежде мужикъ по цѣлымъ часамъ стоялъ на морозѣ безъ шапки передъ панскимъ крыльцомъ, такъ что голова отмерзала, прежде чѣмъ получитъ приказаніе или добьется чего просилъ.

— А теперь, сказалъ онъ, поворачивая къ намъ лицо, дышавшее довольно злобной радостью,—а теперь, какъ пану что нужно, такъ самъ идетъ, да саженей за пять шапку сниметъ, поклонится и скажетъ: «дзень добры, сердце!..»

Другой ямщикъ приходилъ въ восторгъ отъ школъ.

— «Теперь, говорилъ онъ,—что царь сдѣлалъ! Смотришь и глазамъ своимъ не вѣришь: не то что мальчишки, а дѣвки читать умѣютъ; прямо хоть апостола читай—вѣрно говорю. Теперь свѣтъ, народъ просвѣтлѣлъ, умнѣй сталъ,— а все царь дѣлаетъ...»

Особенной ненависти къ полякамъ я не подслушалъ. Мнѣ кажется, что противъ поляковъ они ничего не имѣютъ, что ненавидятъ они только пановъ, — но юморъ ихъ приводилъ меня въ смущеніе.

— «Повстанцы у васъ бывали?» спросили мы одного ямщика еще въ болотахъ.

— Какъ же, вотъ тутъ, сказалъ онъ, указывая кнутикомъ направо, островокъ есть, а къ этому островку есть дорожка. Вотъ, они дали одному нашему мужику денегъ, чтобъ онъ ихъ туда провелъ, онъ ихъ туда и провелъ. Сидятъ себѣ тамъ день, два, три,—а онъ имъ все провіантъ возитъ. Хорошія деньги ему за это платятъ.

Пришли солдаты искать ихъ, взяли его съ провіантомъ—«попался! говори, гдѣ повстанцы?» Сначала не хотѣлъ, погрозили высѣчь,—онъ признался и повелъ солдатъ туда. За это ему послѣ награду дали. Пришли, а паны кто за самоваромъ сидитъ, кто купается, — такъ что почти безъ боя взяли. Кое-кто началъ сопротивляться, но ихъ похватали. Злѣй всѣхъ дрался одинъ ксендзъ, да и ему не въ моготу стало, побѣжалъ, спрятался подъ кустикомъ — и лежитъ. Подходитъ къ нему солдатъ со

штыкомъ, а ксендзъ ему и говоритъ: «возьми деньги, а меня не убивай». А солдатъ былъ умный, говоритъ ему: «ты—дуракъ! о чемъ ты меня просишь? Деньги твои я все равно возьму, если я тебя и убью», взялъ и убилъ его, а деньги взялъ.—Вотъ вашимъ жандармамъ, вдругъ прибавилъ мужикъ—хорошо было: вотъ ихъ все возили. (Онъ меня принималъ за повстанца.) Они всѣ съ деньгами, просятъ снисхожденіе сдѣлать, ну и дѣлаютъ: а они за все платятъ.

Быстро несется телега отъ станціи до станціи. Я ужъ привыкъ спать сидя, и желудокъ мой начинаетъ осваиваться съ молокомъ и яицами въ крутую, потому что самовара некогда поставить и, потому что всѣмъ намъ хочется поскорѣй добраться до Петербурга — Маркову и Тимченко для того, чтобъ отъ меня отвязаться; мнѣ, чтобъ скорѣй началось мое дѣло, чтобъ узнать, что меня ждетъ, и чтобъ выйдти изъ того неопредѣленнаго положенія, въ которомъ я нахожусь со дня моей сдачи въ Скулянахъ. Минская губернія исчезаетъ подъ ободьями колесъ, мы въѣзжаемъ въ Могилевскую, гдѣ больше русскимъ духомъ пахнетъ, гдѣ сплошь и рядомъ попадается пестрядиная рубаха, и гдѣ станціонные

смотрителя ужъ не исключительно поляки,—и оттого, что они не поляки, мнѣ, арестованной особѣ, приходиться хуже: полякъ все-таки смотрѣлъ на меня болѣе или менѣе сочувственно. Онъ не сталъ бы мнѣ помогать, и не сталъ бы пускаться со мной въ лишніе разговоры; онъ очень хорошо знаетъ, что арестованнымъ особамъ вообще раздабарывать запрещается, а если и позволяется о чемъ говорить, то только о самомъ необходимомъ; что весь разговоръ арестованныхъ особъ можетъ сводиться на выраженія въ родѣ: «дайте чаю», «что стоитъ?» «скоро ли будетъ?» «можно ли здѣсь прилечь?» но никакъ не болѣе; въ розсказни пускаться нельзя, точно такъ же, какъ нельзя пускаться въ разспросы. Но тамъ на меня смотрѣли все-таки ласково, а въ Могилевской губерніи строго, внушительно и нѣсколько враждебно. Присмотръ за мной сталъ строже. Марковъ и Тимченко не отходили отъ меня ни на шагъ, просто по обязанности, зная впередъ, что я не уйду, — по крайней мѣрѣ, мнѣ кажется, я успѣлъ убѣдить ихъ въ этомъ; они не отходили отъ меня просто для соблюденія формальности. Русскіе же станціонные смотрителя, напротивъ того, усердствовали, не давая мнѣ этого за-

мѣтить, но я видѣлъ, какъ они взглядывали на меня при каждомъ моемъ движеніи, при каждой перемѣнѣ мѣста, съ дивана на стулъ или со стула къ окну. Я видѣлъ, какъ хмурились лица ямщиковъ въ пестрядиныхъ рубахахъ, и хоть мнѣ было подчасъ и смѣшно, но, признаюсь, подчасъ было и досадно.

Еще другое неудобство прибавилось: это населенность Могилевской губерніи, то, что въ ней пропасть русскихъ имѣній. Вдоль шосе встрѣчается множество красивенькихъ помѣщичьихъ усадебъ; на станціяхъ попадаются разные дормезы; гвардейскіе офицеры съ дамами въ бархатныхъ накидкахъ и съ дѣтьми, одѣтыми по-кучерски... и совѣстно и неловко мнѣ становилось, когда эти дамы ахали на меня, гувернантки взглядывали на меня какъ-то испугано и сочувственно, и няньки, съ косынками на головахъ, блѣднѣли и видимо сострадали несчастненькому. Но сколько я лично обращалъ на себя вниманія, столько же привлекала публику и моя сѣрая поярковая шляпа, купленная въ Яссахъ, — высокая, съ широкими полями. Въ Россіи такихъ шляпъ не носятъ, и подобная штука, надѣтая на арестанта, сидящаго на полосатыхъ ков-

рахъ, придавала мнѣ двойной интересъ загадачной личности.

Минувъ Могилевскую и Витебскую губерніи, домчались мы до губерніи Псковской, или Апскопской, какъ выражался Марковъ съ Тимченко, гдѣ ужъ все Русью пахнетъ, гдѣ даже евреи поисчезали, и, въ скоромъ времени, мы добрались до Острова, проскакавъ мимо его кремля, лежащаго въ развалинахъ едва ли не со временъ Стефана Баторія. Станціонный смотритель отвелъ намъ какую-то отдѣльную комнату на дворѣ, внушительно подмигивая Маркову, что здѣсь я не буду публикѣ глазъ мозолить, и что сбѣжать отсюда мнѣ будетъ трудно. Здѣсь, въ этой-то комнаткѣ — въ первый разъ послѣ восьмидневной скачки — всѣ мы умылись, вычистили сапоги, расчесали волосы и приняли на себя нѣкоторый образъ и подобіе человѣческое. До сихъ поръ мы были черны, и лица наши отъ пыли представляли на ощупь нѣчто въ родѣ крышечекъ отъ коробокъ съ зажигательными спичками.

— Вѣдь это не куда-нибудь являемся, — толковалъ Марковъ съ Тимченко, — а въ самый штабъ! Можетъ быть, начальникъ штаба самъ пожелаетъ посмотрѣть, каковы мы, кишиневскіе жандармы,

все ли у насъ исправно? А можетъ быть и самъ его сіятельство шефъ корпуса?...» И они преусердно чистили новые мундиры, ваксили сабельныя ножны, осматривали шпоры. Поѣздъ отходилъ что-то въ часа три или четыре утра. Мы съ двѣнадцати часовъ забрались на станцію и усѣлись тамъ, принявъ видъ, будто они не конвойные, а я будто не арестованная особа, — чтобъ не возбуждать любопытства публики. Тутъ же, въ буфетѣ, я росписался въ книжкѣ Маркова въ исправномъ полученіи отъ него восьми копѣекъ суточныхъ кормовыхъ, полагаемыхъ арестованнымъ особамъ. Но скрыть, что я арестованная особа, все-таки не удалось, а скрыть это мнѣ ужасно хотѣлось, не изъ стыда, — стыдиться мнѣ было нечего, — а просто потому, что ужасно надоѣдаетъ сосредоточивать на себѣ общее вниманіе, въ тягость становится, когда всѣ и каждый пялятъ на васъ глаза и разсматриваютъ васъ какъ какого-нибудь звѣря лѣснаго, тюленя морскаго. Но все-таки я не уберегся. По залѣ расхаживалъ какой-то морской офицеръ, который смекнулъ, что я не даромъ сижу съ Тимченко, разставившимъ свои невѣроятныя ноги. Зная, что со мной нельзя разговаривать, онъ отвелъ Маркова въ сторону и

долго допрашивалъ его обо мнѣ. Марковъ тоже былъ не въ правѣ отвѣчать, да если бы и былъ въ правѣ, то едва ли съумѣлъ бы что-нибудь отвѣтить,— несмотря на всѣ мои разсказы, которыми я старался для себя и для нихъ сократить скуку путешествія. — Вообще жандармы, сколько я знаю ихъ, народъ удивительно не любопытный. Онъ знаетъ, что я арестантъ, а за что, про что — ему хоть трава не расти: на разспросы они не охотники. Офицеръ этотъ сильно мнѣ надоѣдалъ, то съ Марковымъ поговоритъ, то мимо меня пройдетъ, всматриваясь мнѣ въ лицо. Даже злость меня взяла, тѣмъ болѣе, что въ чертахъ его какъ будто выражалось какое-то состраданіе. Наконецъ засвисталъ поѣздъ въ то самое время, когда Марковъ съ Тимченко, все невѣрившіе мнѣ, что на сѣверѣ бываютъ свѣтлыя ночи, начали убѣждаться, что я человѣкъ до нѣкоторой степени правдивый. — Жандармы опять еще тѣмъ отличаются, что розсказнямъ арестантовъ не вѣрятъ. Аханьямъ на эти ночи конца не было.

Мы усѣлись въ третій классъ, такъ геніально-неудобно устроенный на варшавской желѣзной дорогѣ,—опять-таки дѣлая видъ, для спокойствія публики и своего собственнаго, что мы только зна-

комые или встрѣчные и никакъ не состоимъ другъ при другѣ: Марковъ и Тимченко сѣли на одну скамью, я противъ нихъ, и тутъ же завалился спать, желая отдохнуть отъ долгой тряски и явиться въ Петербургъ, если не въ чистенькомъ мундирѣ, то, по крайней мѣрѣ, не съ совсѣмъ измученнымъ лицомъ. Ближе, ближе, станція за станціей, наконецъ вотъ и онъ, этотъ городъ, гдѣ я родился, и гдѣ должна была рѣшиться моя участь, — если не на всю жизнь, то на долгіе годы жизни. Весело подъѣзжалъ я къ Петербургу и весело смотрѣлъ на Тимченко и Маркова, какъ они натягивали мундиры, охорашивались и подглаживали виски.

Поѣздъ остановился. Изъ пассажировъ никто не замѣтилъ, что я арестантъ. Мы вышли въ вокзалъ, опять усѣлись съ Тимченко какъ ни въ чемъ не бывало, покуда Марковъ нанималъ карету. — Это было 3-го іюня 1867 года.

Разсматривая толпу, я не могъ не замѣтить полицейскихъ въ ихъ новыхъ долгополыхъ мундирахъ, и первое мое впечатлѣніе по пріѣздѣ въ Петербургъ было, благодаря имъ, довольно пріятное. — Значитъ, полиція у насъ стала лучше. Лица у

этихъ городовыхъ были порядочнѣе не только того, что я видѣлъ девять лѣтъ тому назадъ, но и того, что было пять лѣтъ назадъ.

Одинъ изъ нихъ подошелъ ко мнѣ.

— Какъ ваша фамилія? спросилъ онъ очень вѣжливо, — надо записать.

Я сказалъ.

Судьба наградила меня такой фамиліей, которая, хотя совершенно православнаго происхожденія, такъ какъ есть мученики Еврасій, Протасій, Гервасій и Кельсій (латинскій Celsius), — но на первый разъ она звучитъ чѣмъ-то иностраннымъ, и люди не очень книжные всегда затрудняются въ ея произношеніи, особенно гдѣ поставить надлежащее удареніе — что даже отъ меня самого тайна: — на *е* или на *і*. Городовой сталъ записывать и путалъ что-то ужасно. Я вмѣшался и собственноручно начерталъ ему въ его записную книжку эти мудреные слоги. — Карета была взята, мы усѣлись и покатили.

Странное дѣло,—мнѣ было больше весело, чѣмъ страшно. Вотъ Технологическій Институтъ, Загородный Проспектъ, Обуховская Больница, Царскосельская Желѣзная Дорога, Коммерческое учили-

ще, гдѣ я десять лѣтъ сряду больше лѣнился, чѣмъ учился, Троицкій Переулокъ, вотъ и Невскій, Аничковъ Мостъ, набережная Фонтанки, и виднѣется Лѣтній Садъ, еще не позеленѣлый, — тогда какъ тамъ, на югѣ, мы ужъ ѣли черешни. Я, арестованная особа, служилъ Виргиліемъ моимъ двумъ тѣлохранителямъ, — увы, далеко не Дантамъ. Я имъ указывалъ Петербургскія зданія, показывалъ Адмиралтейскій шпицъ. Это были послѣднія минуты, что мы ѣхали вмѣстѣ...

Часа черезъ полтора я спалъ сномъ праведника въ отличной комнатѣ, на хорошей постели, подъ чистымъ одѣяломъ и отдыхалъ съ дороги въ полномъ смыслѣ этого слова...

Я уже не былъ болѣе арестованной особой— я превратился въ № 4... . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

НА ВОЛЪ.

VIII.

Освобожденіе.

Вы свободны, все ваше прошлое забыто, можете идти куда хотите и дѣлать все, что вамъ угодно: государь васъ простилъ. Вамъ нечего толковать, какое великое значеніе имѣетъ его милость, и какое невѣроятное событіе представляетъ ваше помилованіе. Теперь ваше дѣло — загладить ваше прошедшее и доказать, что вы дѣйствительно заслуживаете того, что вы прощены».

Въ рукахъ у меня была моя сѣрая поярковая шляпа. Она забѣгала изъ рукъ въ руки. Стѣны вокругъ меня кружились. Полъ подо мной шатался.

Это было на сотый день по пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ. Меня привезли 3-го іюня, а освободили 11-го сентября. Я что-то бормоталъ, изъяв-

лялъ благодарность, но все это было безсвязно, безтолково, я былъ совершенно растерянъ. Въ этотъ день я почему-то менѣе всего ожидалъ, что дѣло мое кончено.....

Я вышелъ на улицу какъ будто въ полуснѣ и прямо отправился въ редакцію «Голоса» — куда мнѣ было больше идти? Только съ редакціей «Голоса» я имѣлъ до сихъ поръ сношенія, какъ корреспондентъ — Ивановъ-Желудковъ. Въ первый разъ послѣ долгихъ лѣтъ шелъ я по Петербургу, никого не боясь и не ожидая, что меня нѣтъ-нѣтъ да и накроютъ. Прежде, вырвавшись изъ рукъ прусской полиціи или избавившись отъ полицейскаго надзора въ Австріи, мнѣ все казалось, что меня выпустили на волю по ошибкѣ, по недоразумѣнію, что сейчасъ спохватятся и опять станутъ допрашивать. Но на этотъ разъ я до того былъ увѣренъ въ дѣйствительности своего освобожденія, что шелъ по Литейной какъ будто всю жизнь ходилъ по ней свободнымъ человѣкомъ, какъ будто ничего не случилось, какъ будто нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ, что я, Кельсіевъ, ищу въ Петербургѣ, на Литейной, дома подъ № 38...

Благодаря А. А. Краевскому, я могъ поѣхать

немедленно къ Левисону исправить мой гардеробъ — и ѣхалъ совершенно спокойно, совершенно естественно, какъ будто такъ и слѣдовало меня освободить, какъ будто не существовало этихъ девяти лѣтъ эмигрантства, отчужденія отъ Россіи и всякаго рода опасныхъ похожденій. У Левисона я торговался тоже какъ ни въ чемъ не бывало, перемѣнилъ съ ногъ до головы свой костюмъ, сильно помятый дорогой, прошелся пѣшкомъ по Невскому, хотя колѣнки порядкомъ таки сказывали, что онѣ отвыкли отъ ходьбы, завернулъ куда-то выпить чашку шоколаду, зачѣмъ-то проѣхался на извощикѣ, отыскалъ одного стараго знакомаго, привелъ въ ужасъ его жену своимъ появленіемъ, такъ что она объявила мнѣ прямо, что если бы знала, кто звонитъ, то велѣла бы не пускать, и затѣмъ отправился ужинать въ Hôtel Belle-Vue не потому, чтобы этотъ отель имѣлъ для меня особую привлекательность, но потому, что онъ новый, что въ немъ останавливались славяне, что я въ немъ никогда не бывалъ, и сверхъ того — онъ мнѣ какъ-то на глаза попался. Ужинъ этотъ доставилъ мнѣ безконечное и глубочайшее наслажденіе: во-первыхъ, за приборомъ у меня лежала не только

ложка, но и ножъ, и вилка,—инструменты, которыми я съ 20 мая не имѣлъ случая пользоваться, а ѣлъ мясо, нарѣзанное предварительно на кусочки, ложкой; во вторыхъ, ужинъ былъ составленъ по моему выбору по картѣ. Я самъ опредѣлилъ, чего мнѣ хочется и чего не хочется.—Я имѣлъ власть надъ своимъ столомъ, а это тоже удовольствіе весьма не послѣдняго рода. Прислуживалъ мнѣ офиціантъ татаринъ. Языкъ у меня былъ крайне не спокоенъ,—я поговорилъ съ татариномъ по-турецки, затѣмъ разспросилъ его о Касимовѣ, о положеніи татаръ офиціантовъ въ Петербургѣ, однимъ словомъ, велъ себя какъ человѣкъ, имѣющій право бывать гдѣ ему угодно, говорить съ кѣмъ угодно и сколько душѣ угодно, ѣсть съ вилки и ножа, заказывая кушанье по своему произволу. Разговорчивость моя поразила сидѣвшаго за другимъ столомъ гусарскаго полковника. Онъ замѣтилъ во мнѣ чрезвычайно живаго господина, веселаго и неистощимаго собесѣдника и почему-то вступилъ въ разговоръ со мной. Этого только мнѣ и было нужно. Мнѣ нужно было передъ кѣмъ нибудь высказаться, и я, ни съ того ни съ сего, вдругъ взялъ да и разсказалъ ему, кто я такой,

чѣмъ я былъ сегодня утромъ, какъ я помилованъ, и какъ я цѣню это помилованіе. Затѣмъ я вышелъ, вернулся въ свой номеръ,—квартиры у меня не было да и быть не могло, по отсутствію вида на прожительство,—раздѣлся, легъ и—расхохотался.

Я хохоталъ какъ ребенокъ, какъ сумасшедшій; хохоталъ и никакъ не могъ понять, что̀ я нашелъ смѣшнаго, и почему мнѣ такъ смѣшно. Хохотъ меня душилъ, я закрывалъ голову подушками и досадовалъ, что не могъ уняться, и что смѣюсь совершенно безсознательно. Минутъ десять, кажется, продолжалось это безумное сотрясеніе нервовъ, покуда оно не довело меня до изнеможенія, и я заснулъ.

На другой день я опять отправился колесить по городу, смѣняя извощика извощикомъ и постоянно приводя въ изумленіе и испугъ старыхъ знакомыхъ, которые при встрѣчѣ со мной блѣднѣли, мѣнялись въ лицѣ и разводили руками. Каждому изъ нихъ я чуть-чуть что не бросался на шею и каждому изъ нихъ съ мельчайшимъ подробностями разсказывалъ о своихъ похожденіяхъ,—кому цѣликомъ, кому эпизодами. Мнѣ хотѣлось говорить: я радъ былъ, и мнѣ хотѣлось,

чтобъ всѣ радовались. Къ вечеру я забрался въ театръ, поймалъ тамъ опять старыхъ знакомыхъ и совершенно смутилъ ихъ своими возгласами о моей безконечной благодарности за освобожденіе, моими розсказами,—что все, по ихъ мнѣнію, выходило какъ-то нецензурно, потому что постоянно къ разсказамъ моимъ примѣшивались имена то особъ, очень высоко поставленныхъ, то личностей очень строго преслѣдуемыхъ. Словомъ, если бы меня спросили теперь, что̀ я дѣлалъ и ка̀къ я провелъ первыя двѣ-три недѣли, даже цѣлый мѣсяцъ по освобожденіи, я едва ли съумѣлъ бы дать мало-мальски толковый отчетъ. Я помню себя на извощикѣ вѣчно куда-то спѣшащимъ, ѣдущимъ, розыскивающимъ знакомыхъ и разсказывающимъ то тотъ, то другой эпизодъ изъ своихъ похожденій. Это былъ мѣсяцъ сильнаго нравственнаго возбужденія, который я провелъ какъ во снѣ, и который, вслѣдствіе рѣзкаго перехода отъ прежней спокойной, регулярной жизни, которую я провелъ въ Петербургѣ въ теченіе ста дней своего заключенія, глубоко потрясъ мое здоровье рѣзкимъ переходомъ изъ одной крайности въ другую.

Помилованіе мое возбудило много толковъ и коментаріевъ. Слухи ходили чрезвычайно разнообразные и, какъ водится, большею частью преувеличенные и фантастическіе. Причинъ моего возвращенія никто не зналъ, да и до сихъ поръ никто не знаетъ. Мнѣ удавалось слышать, будто я еще изъ-за границы условился съ правительствомъ, и будто сдача моя въ Скулянахъ была впередъ подтасованнымъ дѣломъ. Говорили тоже будто я множество лицъ запуталъ въ своихъ дѣлахъ, и будто сорокъ человѣкъ—меня такъ увѣряли, что ровно сорокъ — сидятъ, по моей милости, въ крѣпости. Первое было смѣшно, второе было обидно, какъ обидно пришлось мнѣ испытать холодность и выслушать даже упреки многихъ лицъ, которыхъ я считалъ своими лучшими друзьями, въ томъ, что я измѣнилъ знамени и повредилъ дѣлу свободы своимъ отступничествомъ. Коментаріи обо мнѣ, отправляясь съ этой точки, доходили, Богъ знаетъ, до чего. Узнавъ объ нихъ, мнѣ — первое время—было крайне обидно и прискорбно, но ихъ нелѣпость, ихъ несправедливость скоро пріучили меня смотрѣть на нихъ совершенно спокойно и не возмущаться ни-

чѣмъ не заслуженными подозрѣніями и обидными мнѣніями. Другая невыгодная сторона моего возвращенія была, по-своему, даже до нѣкоторой степени лестна. Что̀ ни говорите, но есть своего рода удовольствіе обращать на себя общее вниманіе, и служить предметомъ толковъ: это какъ-то щекочетъ самолюбіе—но быть львомъ хорошо день, другой, третій, много недѣлю, но à la longue становится утомительно показывать самого себя и знать, что девять десятыхъ новыхъ и старыхъ знакомыхъ смотрятъ на васъ сочувственно или не сочувственно, а все-таки какъ на курьезъ. Я не могу пожаловаться на пріемъ, сдѣланный мнѣ нашимъ обществомъ, но не могу также умолчать, что долгое время никакъ не могъ съ нимъ освоиться, потому что я отъ него очень отсталъ. Перемѣна у насъ произошла огромная и, на свѣжій взглядъ, чрезвычайно рѣзкая.

Еще когда меня везли въ Петербургъ, случилось у насъ на дорогѣ маленькое происшествіе, которое рѣзко указало мнѣ, какая разница между Россіей нынѣшней и Россіей лѣтъ десять тому назадъ. Мы ѣхали на почтовыхъ, стало-быть съ колокольчиками, стало-быть всѣ встрѣчные должны

были сворачивать намъ съ дороги, а дороги въ западномъ краѣ заняты преимущественно евреями съ ихъ колоссальными фурами и съ ихъ вѣчными обозами. Евреи, извѣстно, народъ въ своемъ родѣ крайне неуступчивый и нелюбящій исполнять буквы закона. Русскій всегда своротитъ съ дороги передъ почтовой телегой, еврей двадцать разъ подумаетъ прежде, чѣмъ своротитъ, и отъ этого, при каждой встрѣчѣ съ еврейскимъ обозомъ, у насъ происходила ругань, споры и ссоры. При одной изъ такихъ встрѣчъ передовой возчикъ-еврей не только не своротилъ съ дороги, но даже какъ-то ругнулъ насъ.

— Сворачивай проворнѣй! кричали ему ямщикъ, Марковъ и Тимченко.

Еврей что-то такое разсуждалъ и возражалъ. Тимченко не вытерпѣлъ, вынулъ свои безконечныя ноги изъ телѣги, выхватилъ у ямщика кнутъ и замахнулся на еврея, который тутъ же, съежился и умалился до микроскопическихъ размѣровъ.

— Назадъ! крикнулъ сердито Марковъ.—Брось кнутъ и сію же секунду назадъ!

Тимченко глядѣлъ на него вопросительно.

— Я тебѣ говорю, отдай кнутъ ямщику и садись назадъ!

Повинуясь своему непосредственному начальнику, Тимченко со вздохомъ вручилъ кнутъ ямщику, выставилъ одну ногу впередъ, влѣзъ въ телегу и снова усѣлся, подставивъ колѣна свои прямо мнѣ подъ носъ и снова перерѣзывая шпорами мои несчастныя брюки и пятки.

— Ты жандармъ? спрашивалъ у него Марковъ, когда мы ѣхали.

— Жандармъ, отвѣчалъ Тимченко, смотря куда-то въ сторону.

— Жандармъ за порядкомъ наблюдать должóнъ?

Тимченко молчалъ.

— Жандармъ, стало быть, законъ сохранять должóнъ?

— Ну да! сердито отвѣчалъ Тимченко.

— Теперича, значитъ, драться запрещено?

Тимченко молчитъ.

— Кто первый таперича примѣръ обнаруживать должóнъ? Жандармъ на что поставленъ? Законъ сохранять, порядокъ соблюдать! Предписаніе вышло,— не дерись: какъ же жандармъ таперича бу-

детъ драться? Примѣръ какой! Какое это правило, чтобъ жандармъ дрался?

Я сидѣлъ, слушалъ и—ушамъ своимъ не вѣрилъ. Ты ли это, Мать Земля Русская, что полуграмотные унтеръ-офицеры такимъ образомъ смотрятъ на свою службу?

Другой примѣръ подобнаго же рода слышалъ я въ Петербургѣ. Я помѣщался во второмъ этажѣ, прямо надъ караульной. Сижу я какъ-то у раскрытаго окна и слышу слѣдующій разговоръ:

— Какая жъ я сволочь? Почему вы говорите, что я сволочь? Я ношу мундиръ, на службѣ состою—значитъ, на государственной службѣ,—говорится, на коронной. Такъ я развѣ могу быть сволочью? Развѣ сволочь на службу принимаютъ? Я ношу мундиръ, какъ же я буду сволочь? Сами разсудите, по какому праву вы мнѣ сказали, что я сволочь? Вы этимъ мой мундиръ безчестите и вашъ тоже, и всю нашу военную службу. Если я сволочь, такъ какъ же я на службу попалъ, и какъ я на службѣ состою? Развѣ сволочь въ коронной службѣ состоять можетъ? Нѣтъ!—вы мнѣ скажите, по какому праву вы меня сволочью обозвали — и т. д.

Я выглянулъ изъ окна — двое солдатиковъ

медленнымъ шагомъ проходили мимо, и одинъ изъ нихъ, покуда можно было разслышать его голосъ, все развивалъ своему товарищу вопросъ, можетъ ли сволочь состоять на коронной службѣ и носить мундиръ...

Другая новость въ Россіи, новость замѣтная и рѣзко бившая мнѣ въ глаза, — я еще не видалъ ни одной уличной драки, тогда какъ прежде нельзя было шагу ступить, не насладившись досыта этимъ зрѣлищемъ. Затѣмъ, что мнѣ даже уши драло, это обѣдненіе русскаго языка на улицахъ извѣстнаго рода реторическими фигурами, безъ которыхъ не говорилось прежде десяти словъ. Все стало скромно, чинно, степенно, самые пьяненькіе, въ такомъ изобиліи попадающіеся по праздникамъ, даже и тѣ стали воздержаннѣе на языкъ и, вмѣсто прежнихъ крѣпкихъ выраженій, разговариваютъ несравненно скромнѣе, сантиментальнѣе и даже съ раскаяніемъ. Самое сильное выраженіе, которое мнѣ удалось слышать, было горе одной сибирки о томъ, что онъ напился, высказывавшійся его товарищу въ слѣдующей трогательной формѣ:

— Ну—и что я? Ну развѣ я теперь человѣкъ? Я такъ нарѣзался, что я теперь не человѣкъ, а со-

бака, песъ,—вѣрное слово, собака! Вотъ тѣ Христосъ, что я теперь не человѣкъ, а собака, песъ,—вѣрное слово,—песъ, тàнъ нарѣзался. Теперь я не человѣкъ, а песъ, теперь возьми меня за хвостъ и выбрось меня на улицу! Вотъ я теперь что̀ сталъ,—одно слово, не человѣкъ, а песъ,—возьми меня за хвостъ и выбрось на улицу! Вотъ я канъ нарѣзался. Одно слово, песъ! возьми меня за хвостъ»...

Смягчилось все. Я ни разу не видалъ, чтобъ сѣдокъ тузилъ въ шею извозчика или чтобъ городовой, вытянувъ руки впередъ, вертывался всѣмъ тѣломъ то вправо, то влѣво, какъ какая машина, а между этихъ рукъ моталась голова мужика, получая затрещину то въ правую сторону физіономіи, то въ лѣвую,—а недавно еще, всего лѣтъ десять тому назадъ, эта голова не смѣла даже выдернуться изъ средины параллельно вытянутыхъ рукъ, работавшихъ, какъ говорится въ дѣтской пѣснѣ, «валяй, баба, коровай». Все пріумылось, все причесалось, старое исчезло какъ-то безслѣдно, какъ будто его и, не было,—и по неволѣ, приходитъ въ голову вопросъ, пойметъ ли новое поколѣніе, не видѣвшее этихъ недавнихъ старыхъ временъ, какъ

жилось и велось въ Россіи до первой половины пятидесятыхъ годовъ!..

Русскій, живущій за границей, а особенно эмигрантъ, постоянно страдаетъ тоскою по родинѣ, и, сплошь и рядомъ, приходитъ ему на мысль, что Россія далеко не та, чѣмъ была, что нѣтъ тѣхъ жесткихъ нравовъ и безпардонныхъ замашекъ, при какихъ онъ ее оставилъ. Онъ мечтаетъ о многомъ, онъ сильно идеализируетъ все, что здѣсь происходитъ,—но при возвращеніи сюда неминуемо удивится точно такъ же, какъ удивился и я, этой глубокой, коренной перемѣнѣ, произошедшей въ нашемъ бытѣ. Я вовсе этимъ не хочу сказать, что мы дошли до верха совершенства, и что все, что у насъ дѣлается, стоитъ выше всевозможной критики. Напротивъ, при успѣхахъ, уже сдѣланныхъ, еще рѣзче виднѣются недостатки и неустройства, и еще болѣе хочется, чтобъ и они сгладились, потому что они составляютъ теперь анахронизмъ, тогда какъ лѣтъ десять тому назадъ они были совершенно у мѣста и не представляли ничего исключительнаго. Теперь же они въ глаза бьютъ, и какъ отъ нихъ ни зажмуривайся, нельзя ихъ не видѣть. Безобразія, простительныя на лубочныхъ

картинкахъ, рѣжутъ глаза на произведеніи хорошаго мастера, а такой-то и становиться нынѣшняя Россія, и оттого къ ней невольно и относишься взыскательно. Во всякомъ случаѣ, русскій эмигрантъ въ настоящее время можетъ смѣло возвращаться, если имѣетъ къ тому хоть малѣйшую возможность, — онъ не будетъ краснѣть за то, за что лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ ему неловко было называть себя за границей русскимъ, и русскій, выѣзжающій за границу, можетъ смѣлѣй смотрѣть въ глаза иностранцамъ. Недостатковъ много, работы впереди гибель, но фундаментъ положенъ такъ прочно, и почва такъ подготовлена, что всякое дальнѣйшее дѣланіе будетъ стоить меньше трудовъ и окажется сравнительно легкимъ и мелкимъ.

Переходя отъ простонародія, которое, очевидно, стало лучше а не хуже отъ реформъ, къ образованному классу, къ людямъ читающимъ и пишущимъ, опять-таки нельзя не видѣть рѣзкой перемѣны... Утопіи сильно потеряли кредитъ.—Прежде всякое дѣло признавалось худымъ или хорошимъ, исключительно смотря потому, на сколько оно отвѣчаетъ послѣднимъ требованіямъ науки или мысли.

Прежде—чѣмъ рѣзче былъ приговоръ, тѣмъ болѣе онъ уважался и тѣмъ казался вѣрнѣй. Похеривали все вольной и смѣлой рукой. Кто чѣмъ бойчѣе отрицалъ, тѣмъ умнѣй и дальновиднѣй казался, и отрицанія доходили до страсти. Кружокъ, гдѣ соберется человѣкъ пять-шесть, шумѣлъ, кричалъ; всѣ говорили, никто не слушалъ, и всѣ сводили вопросъ къ его первичнымъ основаніямъ, къ тѣмъ самымъ, на которыхъ ничего нельзя построить практическаго и житейскаго. Если одинъ произносилъ слово будочникъ, то другой восклицалъ конституцію, третій вдохновенно возвѣщалъ республику, четвертый соціалимъ, а пятый успокоивалъ все разумными началами, которыя были въ сущности заявленіемъ, что изо всѣхъ архій самое лучшее манархія. То было время внезапнаго нашего пробужденія послѣ севастопольскаго погрома, когда всѣ мы вдругъ какъ будто со сна вскочили,—глаза ослѣпляло свѣтомъ, притокъ новыхъ идей схватывалъ грудь, голову и сердце; и мы, въ упоеніи новыми истинами, свергали все старое, рушили всѣ кумиры, все разрушали, и если что создавали, то только въ своей фантазіи; по той простой причинѣ, что на дѣлѣ мы ничего не могли создать по нашей

неопытности въ политической жизни и во всемъ выходящемъ изъ тѣсныхъ рамокъ кабинетныхъ и салонныхъ свѣдѣній. Первое, что меня поразило при столкновеніи съ нашимъ обществомъ, — сдержанность и умѣренность,—не молчалинская умѣренность и акуратность, не лицемѣрная осторожность, но выработанная тяжелымъ искусомъ. Общество наше десять лѣтъ тому назадъ были храбрые корнеты, небывавшіе еще въ огнѣ, мечущіеся смѣло на непріятеля, берущіе одной рукой непріятельскую батарею, а другой разрушающіе его крѣпостныя стѣны. То, что теперь я встрѣтилъ, это были тѣ же корнеты, но обстрѣленные въ бою, знающіе, что батареи берутся не легко, и что крѣпости не сдаются съ одного смѣлаго приступа, что скоро сказка сказывается, а не легко дѣло дѣлается, и что, прежде чѣмъ что-нибудь предпринимать, надо много и крѣпко подумать, а еще больше того поизучить.

О принципахъ говорятъ меньше; общіе вопросы какъ будто забыты, но вопросы спеціальные, прикладные, разрабатываются усердно, и разговоръ идетъ больше о какомъ-нибудь частномъ случаѣ, о частномъ учрежденіи, — чѣмъ о государственномъ строѣ и о возможности быстро измѣнить весь бытъ

рода человѣческаго. Все дышетъ стараніемъ понять, изучить, изслѣдовать, и всякій рѣшительный приговоръ встрѣчается съ замѣтнымъ недовѣріемъ. Тяжелые были годы съ крымской войны до польскаго новстанія, много тяжелыхъ жертвъ потребовали они, много горя вынесло изъ-за нихъ наше общество и наши передовые люди,—но чтобъ они прошли безъ пользы, нельзя сказать: фантастическія постройки a priori потеряли свое значеніе, фраза лишилась смысла, практическое взяло верхъ надъ теоретическимъ и очевидно, что новое общество готовитъ и выработаетъ новыхъ дѣятелей, которые поведутъ Россію не во имя фразы, не во имя утопіи, а во имя возможнаго, не забѣгая далеко впередъ и не забывая, что — довлѣетъ дневи злоба его.

Лучшаго и желать нечего, потому что только при такомъ настроеніи интересы правительства не станутъ такъ болѣзненно противуположны съ интересами общества и массы. Только при такомъ настроеніи обѣ силы будутъ въ состояніи дружески протянуть одна другой руку и сообща служить государству. Боязнь и недовѣріе, существовавшія доселѣ между ними, надѣлали гибель зла: одни слишкомъ тащили впередъ, цѣлью своей выставляли

идеалы, нигдѣ не приложенные къ дѣлу и — неизвѣстно еще — приложимые ли; другіе, боясь ошибки и не желая рисковать, отступали отъ многаго исполнимаго, чтобъ разъ рванувшись впередъ, не придти къ положенію человѣка, катящагося на конькахъ съ ледяной горы, — который раскаявается, что двинулся, но остановиться не можетъ.

Молодежь замѣчательно измѣнилась: она стала какъ-то суше, безстрастнѣй и неискреннѣй. Прежде ко всѣмъ вопросамъ, а особенно къ такъ называемымъ революціоннымъ и прогрессивнымъ относились съ страстью, всѣ крайнія идеи были новостью, загадкой, пугали собою, и воспріятіе ихъ не обходилось безъ тяжелой нравственной борьбы. Не даромъ давалось прежде отрицаніе государства, церкви, брака, нравственности, родственныхъ связей и тому подобной крайности, такъ прельщавшей и такъ пугавшей студентовъ старыхъ годовъ. Они приходили къ абсурдамъ со всей горячностью молодости, но приходили не даромъ: этотъ абсурдъ давался имъ не легко, потому что даже вычитать его было не откуда, и развѣ какая-нибудь запрещенная книжка или не напечатанное стихотвореніе открывало имъ этотъ новый міръ мысли,

исполненной, на первый взглядъ, такой глубокой логичности и глубокой прелести. Со всѣмъ увлеченіемъ неофитства они принимали эту догматику, отрицали, горячо отдавались ей, исповѣдывали ее, и не одинъ изъ нихъ шелъ на гибель во имя абсурдовъ, но шелъ честно, шелъ за то, что выстрадалъ сердцемъ и что выработалъ тяжелой умственной работой. Они сами доходили до этихъ крайностей и потому, при всемъ ихъ заблужденіи, доходили до нихъ честно и цѣнили свои открытія, какъ послѣднее слово науки, какъ послѣднее рѣшеніе человѣческой мысли.

Новое поколѣніе глубоко разнится отъ прежняго. Само оно ничего не выработало, потому что и вырабатывать было нечего: его предшественники дошли до такихъ геркулесовыхъ столбовъ, за которые рѣшительно не куда шагнуть. Волей-неволей нынѣшнимъ молодымъ людямъ творить ничего не пришлось: поле до такой степени расчищено, что развѣ придется ему отрицать употребленіе столовъ, шляпъ, вилокъ, колесъ, писчей бумаги, поросенка подъ хрѣномъ, а больше рѣшительно нечего. Все, въ чемъ можно было усомниться, — прежніе усомнились во всемъ, и какъ ни умны будь ны-

нѣшніе студенты, имъ рѣшительно никакого пороха не выдумать. Выгода ихъ въ этомъ отношеніи велика: матеріалъ достался имъ даромъ, по наслѣдству, исторія его имъ извѣстна; имъ извѣстно, что оказалось при повѣркѣ этихъ отрицательныхъ положеній на практикѣ, имъ извѣстно, до какихъ абсурдовъ они доводятъ, и какъ логика расходится съ практической жизнью. И это-то знаніе составляетъ для нихъ тягость.

Они слишкомъ опытны именно той опытностью, которой намъ не доставало, и вслѣдствіе того молодость ихъ лишена многихъ, если и взбалмошныхъ, то все-таки чистыхъ и благородныхъ увлеченій. Отъ этого постоянно наталкиваясь на разладъ теоріи съ практикой, скептики по неволѣ, они холодно относятся ко всякаго рода вопросамъ, за исключеніемъ чисто-научныхъ. И дѣйствительно, для нихъ нѣтъ другаго выхода, кромѣ науки. Всѣ другіе замкнуты. Политика, — казавшаяся намъ дѣломъ такимъ легкимъ и простымъ, что стоитъ только замѣнить Сводъ Законовъ положеніями Фурье и Роберта Овена, и все пойдетъ въ родѣ человѣческомъ какъ по маслу,— для нихъ, бо-

гатыхъ опытомъ, оказывается даже и не соблазнительной.

Они и рады бы вѣрить, но вѣрить не могутъ. Наши идеалы опошлены въ ихъ глазахъ, наши золотые сны достались имъ позолочеными, да еще сусальнымъ золотомъ. А не завидное дѣло молодежь безъ вѣры, безъ увлеченій, — холодомъ отъ нея вѣетъ, скептическая улыбка мелькаетъ у нея на губахъ, и постоянно слышится фраза: что оно, разумѣется, все глупость, все предразсудокъ, ну а однако покоряться и примиряться съ нимъ надобно, потому что народъ глупъ, потому что плетью обуха не перешибешь, потому что ничего не подѣлаешь. Современный молодой человѣкъ прежде всего blasé, а душа у него проситъ выхода, ему нужна мысль, ему нужно дѣло, и вотъ онъ идетъ въ науку или въ практическую дѣятельность, — и это опять таки чрезвычайно замѣтно. Прежде какъ-то рѣдко слышалось отъ студентовъ объ ихъ карьерѣ, о томъ, гдѣ и чѣмъ станутъ кусокъ хлѣба зарабатывать; прежде жилось потому, что просто живется и думалось не о томъ, какъ себя пристроить, а о томъ, слѣдуетъ ли прислугѣ говорить ты или вы, дозволено ли развитому человѣку носить золотые часы,

заказывать себѣ сапоги въ семь рублей, посѣщать оперу. Теперь же практическій вопросъ стоитъ у молодежи впереди всего.

Ужъ мало встрѣчается юношей, готовящихъ себя просто въ образованные люди. Россія приравнялась къ западной Европѣ, готовитъ себя въ юристы, въ технологи, въ медики.—Еще одно, что тоже рѣзко бьетъ въ глаза послѣ долгаго отсутствія изъ Россіи, это паденіе значенія молодежи въ обществѣ. Прежде появленіе голубаго воротника приводило въ трепетъ всѣхъ и каждаго, имѣющаго чинъ, орденъ или возрастъ за сорокъ лѣтъ.

— «Мы молодежь, мы новое поколѣніе, мы вносимъ новыя идеи, мы вамъ покажемъ какъ и что слѣдуетъ сдѣлать. Вы, небось, Милля не читали, и о Молешотѣ понятія неимѣете»!... И вотъ все, даже либеральное, даже неотсталое, какъ-то ежилось, конфузилось, усмирялось, умалялось.

. . . . . .

Точно въ самомъ дѣлѣ, это были какіе-то Прометеи; похитившіе небесный огонь, вдохновенные провозвѣстники истины, точно все, что перевалило за двадцать пять лѣтъ, точно все,

что знакомо съ жизнью не по однимъ книжкамъ, тупо, отстало, неспособно къ пониманію, ни къ какой-либо дѣятельности. Теперь и этого нѣтъ, совершеннолѣтніе люди опять получили право голоса, опытность опять уважается, и книжка, хотя и не потеряла довѣрія, которымъ пользовалась прежде, но ужъ не считается единымъ авторитетомъ въ рѣшеніи всякихъ вопросовъ. Вообще, во всемъ и повсюду видно, что на нашемъ вѣку двѣ Руси отжили, прошли два историческихъ слоя, и живемъ мы въ новомъ. Времена до-крымской войны и до-польскаго возстанія, такъ рѣзко разнящіяся одно отъ другаго, ни въ чемъ не похожи на нынѣшнее, исполненное задатковъ на многое, въ чемъ даже не снилось двумъ предшествовавшимъ. Времена до-крымской войны ужъ давнымъ-давно забыты и принадлежатъ болѣе преданіямъ и историкамъ, чѣмъ намъ современникамъ. Но времена до-польскаго возстанія прошли слишкомъ недавно, слишкомъ шумно и бурно, чтобъ можно было относиться къ нимъ безучастно, тѣмъ болѣе, что за нихъ пострадали и страдаютъ слишкомъ многіе. Анализъ ихъ, хотя и поверхностный, не можетъ не пролить хоть сколько-

нибудь свѣта на настоящій періодъ переживаемый Русскимъ обществомъ...

Начавъ о личныхъ впечатлѣніяхъ—ими и кончу:—вотъ какого рода ощущеніе испытаваетъ дома человѣкъ, забродившійся въ чужихъ краяхъ.

Выхожу я со старымъ товарищемъ А. изъ гостей часовъ въ 12 вечера... Голодъ разбираетъ...

— Гдѣ-бы здѣсь перекусить? спрашиваю я.

— Гдѣ свѣтъ увидимъ, отвѣчаетъ А., тамъ и поужинаемъ?...

— Ѣшьте! самое свѣжее!—раздается въ темнотѣ.—Какой то пьяный тычетъ намъ подъ носъ кусокъ мяса, — и тычетъ такъ любезно, что А. счелъ долгомъ схватить его за руку и прикрикнуть...

— Сумасшедшій! промелькнуло у меня въ умѣ—вѣдь этакъ мы съ полиціей свяжемся изъ-запустяковъ, а полиція, по моему паспорту, смекнетъ что я за гусь!..

Двѣ операціи предстоятъ эмигранту — возвратиться и—обжиться.

ПЕРЕЖИТОЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ВЪ СЕМЬѢ
И
УЧИЛИЩѢ.

I.

Жертвы новой русской истерiи. — Исповѣдь. — Какъ и почему я одѣлался эмигрантомъ? — Декабристы. — Впечатлѣнiя дѣтства. — Старые боги. — Натуральная школа. — Училище. — Идеализмъ и реализмъ. — Вопросы и сомнѣнiя. — Урокъ географiи. — Трофеи войны. — Петрашевцы. — Французскiе романы. — Крымская война.

Да что жъ это было наконецъ такое? Изъ-за чего могли случаться подобныя исторiи? Не безъ причины-жъ я попалъ въ эмиграцiю, а другiе въ каторгу и въ ссылку. Неужели жъ вина въ государственныхъ преступленiяхъ исключительно личная? Не было даже у насъ доселѣ эмиграцiи, а политическiе преступники наши прошлаго или XVII в. носили совершенно другой характеръ и разнились отъ насъ до такой степени, что общаго между нами, и какими-нибудь стрѣльцами, Долгорукими, Минихами ничего нѣтъ... Если есть въ

насъ сходство съ кѣмъ-нибудь, и если кого мы можемъ назвать своими прародителями, то развѣ Радищева и Новикова. Что вызвало и обусловило наше появленіе на русской почвѣ? Вопросы эти ставились не разъ и не разъ разбирались болѣе или менѣе добросовѣстно. Но историческій пріемъ мнѣ кажется не совсѣмъ достаточнымъ по своему безпристрастію и безличности. Мнѣ кажется, что каждый изъ насъ, пострадавшій вслѣдствіе духа новаго времени, сдѣлалъ бы лучше, если бы анализировалъ самого себя: по своимъ личнымъ испытаніямъ, по исторіи своего развитія прослѣдилъ бы, какъ, почему и для чего загубили они мѣсяцы и годы своей жизни? Дать подобный отчетъ себѣ и публикѣ дѣло весьма нелишнее, а особенно для людей, которые, подобно мнѣ, имѣли несчастье не только сами натерпѣться горя, но и другихъ уходить въ тѣ блаженныя мѣста, куда, по народному выраженію, ни одинъ Макаръ телятъ не гоняетъ. Признаніе подобнаго рода необходимо какъ для очистки совѣсти, такъ для разъясненія — не скажу оправданія — своей дѣятельности передъ обществомъ и передъ людьми, проклятія которыхъ лежатъ на головахъ нашихъ. Люди по натурѣ смирные, добросовѣстные,

не глупые, связанные житейскими обязанностями, рисковали своей карьерой и привязанностями для того, чтобъ заводить тайныя типографіи, совершать рисковыя поѣздки, основывать тайныя общества, и все это безъ всякой корыстной цѣли, и не только не ожидая никакихъ личныхъ выгодъ, но, большею частью, предвидя, что дѣло кончится, если не смертною казнью, то годами казематъ или каторги! Про насъ говорятъ, что мы были фанатики, что мы были восторжены, что мы увлекались, но это ровно ничего не объясняетъ. Была же въ личной исторіи каждаго изъ насъ причина, почему мы дѣлались фанатиками, восторженными, увлекались и если подобный фанатизмъ, восторженность и увлеченіе явились въ русскомъ обществѣ именно въ такое, а не въ другое время, стало быть, исторія Россіи вызвала наше появленіе и, стало быть, мы были жертвы не столько нашего произвола, сколько этой самой исторіи. Ни до насъ подобнаго движенія не возникало, ни послѣ насъ не возникаетъ. Роль наша сыграна, мы сданы въ архивъ, а если гибнутъ въ настоящее время отдѣльныя личности за то самое, за что мы гибли въ свое время, то подобная гибель уже представляетъ собою явле-

ніе исключительное, отголосокъ, а никакъ не характеризуетъ собою цѣлую эпоху.

Но было бы слишкомъ смѣло и дерзко даже предполагать, что существуетъ какая бы то ни была возможность охарактеризовать эпоху, основываясь на своей личности. То, что удается историкамъ, которые, очерчивая характеръ какого нибудь государственнаго дѣятеля, рисуютъ все его время и всѣхъ его современниковъ, никогда не можетъ удасться автобіографу, во-первыхъ потому, что онъ еще живъ потому что онъ пристрастенъ и пристрастенъ прежде всего къ самому себѣ, а быть пристрастнымъ къ самому себѣ значитъ болѣе, или менѣе, желать утопить другія личности въ пользу свою и съ презрѣніемъ отнестись къ убѣжденіямъ, которыхъ онѣ не исповѣдуютъ. Судьей въ своемъ дѣлѣ никто быть не можетъ. Но мнѣ кажется, каждому позволительно быть своимъ собственнымъ адвокатомъ. Разсказывая, искренно и добросовѣстно о своемъ прошедшемъ, мы все-таки не преминемъ разъяснить многое, что остается загадочнымъ для насъ самихъ...

Я сдѣлался эмигрантомъ потому, что немогъ эмигрантомъ не сдѣлаться. Не было ни малѣй-

шаго повода отрѣзываться отъ Россіи, идти въ наше лондонское генеральное консульство и объявлять, что я не считаю себя болѣе русскимъ подданнымъ. Никто меня не зналъ, ни во что я не былъ замѣшанъ, впереди мнѣ предстояла довольно недурная карьера, совершенно подходящая къ моей спеціальности оріенталиста, впереди все было свѣтло и даже завидно. Но я все бросилъ не только безъ всякой причины, не только безъ всякаго внѣшняго толчка, но даже противъ совѣтовъ и противъ желанія редакторовъ «Колокола».

— Зачѣмъ вы хотите быть эмигрантомъ? спрашивали они меня.

— Хочу работать.

— Да работать въ Россіи лучше. Оставаясь на службѣ и живя въ средѣ русскаго общества, хоть бы въ той же Ситхѣ, вы сдѣлаете вдесятеро больше, чѣмъ отрѣзываясь отъ Россіи и оставаясь въ Лондонѣ.

— И все-таки я останусь, потому что мнѣ есть многое что сказать, чего въ Россіи нельзя высказать.

— Да что жъ именно? Уясните себѣ, для чего вы остаетесь, уясните себѣ, что вы хотите сказать?

— Буду говорить о бракѣ, о христіанствѣ, о личности.

— Но что именно? Дайте себѣ подробный отчетъ.

Подробнаго отчета дать себѣ я не могъ и въ то же время не могъ не сдѣлаться эмигрантомъ: время было такое, такимъ воздухомъ вѣяло. Я росъ, какъ и большая часть моихъ сверстниковъ, внѣ всякаго умственнаго движенія, внѣ всякаго знанія политическихъ и экономическихъ вопросовъ, волновавшихъ западную Европу. Но съ дѣтства слышалъ я о декабристахъ, и хотя въ кружкѣ, къ которому я принадлежалъ по рожденію, относились къ нимъ не совсѣмъ сочувственно, но все-таки тайна, окружавшая ихъ личности, ихъ стремленія, пріучала меня почему-то безусловно уважать ихъ. Было время, когда въ каждомъ домѣ, какъ святыня хранились тетрадки съ ихъ стихотвореніями и хранились въ величайшемъ секретѣ. Но отъ дѣтей секретовъ, какъ извѣстно, не водится. Завѣтныя тетрадки съ невѣроятной ловкостью вытаскивались въ отсутствіе отца изъ завѣтныхъ ящиковъ, перечитывались, выучивались наизусть, и когда мать играла на фортепіано «не слышно шума городскаго» или

«не дивитеся друзья», то глубокое чувство самодовольствія наполняло дѣтскую душу: что вы, дескать, тамъ хитрите какъ хотите, а мы все-таки тайны эти знаемъ. Чѣмъ болѣе скрывалось, чѣмъ болѣе шушукались, тѣмъ болѣе возбуждалось любопытство, и тѣмъ болѣе невольное сочувствіе поселялось въ душу. Кто были эти люди? за что они бунтовали? чего они хотѣли? разумѣется, я ничего этого не зналъ и узнать мнѣ, по моей обстановкѣ, было не отъ кого. Но мысль о нихъ имѣла прелесть запрещеннаго плода, имена ихъ окружены были ореоломъ таинственности, которая такъ сладко дѣйствуетъ на каждую молодую душу. Не сознательная вѣра въ духовъ порождаетъ спиритовъ, а таинственность обстановки, загадочность явленій, показываемыхъ медіумами. Не вѣра въ чудесное гонитъ людей въ разныя мистическія секты, не догматика масонства привлекательна, а привлекательна опять-таки ихъ загадочность, таинственность обстановки. Любознательность — одинъ изъ сильнѣйшихъ рычаговъ человѣческой дѣятельности. Почему мы способны пристращаться къ наукѣ, къ путешествіямъ, даже къ личностямъ? Потому, что они даютъ такую огромную пищу нашему уму, что мы не можемъ не ду-

мать объ нихъ постоянно, не стараться отыскивать въ нихъ новыхъ неизвѣстныхъ намъ сторонъ, а вслѣдствіе этого наше существованіе дѣлается безъ нихъ неполнымъ, мы не можемъ отдѣлить себя отъ нихъ, не можемъ не думать объ нихъ, а этимъ-то именно и обусловливается любовь. Взросши на литературѣ Карамзинскаго періода, на «Сіонскомъ Вѣстникѣ», на мистикахъ конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, я не могъ равнодушно относиться къ декабристамъ, не могъ потому, что они были для меня тайной загадкой, потому что имена ихъ отъ меня скрывали, что цѣли ихъ никто для меня объяснить не могъ, и я любилъ ихъ точно такъ же, какъ любилъ всякихъ графовъ С. Жерменъ, Каліостро, Пиѳагора, египетскіе іероглифы, Эккартсгаузена, и вообще все загадочное и таинственное. Въ послѣдствіи, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, въ силу того же психическаго закона, я точно также втягивался въ науку, точно также пускался въ разныя смѣлыя предпріятія, чтобъ провѣдать невѣдомые міры, въ родѣ Галичины, малоазійскаго русскаго села Майносъ, и, опять таки не столько въ силу сознательной потребности, сколько по обаянію всѣмъ загадочнымъ, пускался въ десятки разныхъ удалыхъ похожденій,

БИБЛІОТЕКА

просто потому, почему мотылька притягиваетъ свѣча, отъ которой ему жарко, но которую я увѣренъ, ему хочется разведать и постичь хоть бы съ опасностью обжечь собственныя крылья и погибнуть въ растопленномъ стеаринѣ. Животный магнитизмъ, гипнотизація и множество подобныхъ тому психическихъ явленій объясняются той же самой потребностью додумываться до конца и постигать все загадочное. Выразительные глаза и усиленное движеніе рукъ магнитизера сосредоточиваютъ на себѣ всѣ мои помыслы; мысль моя не можетъ отъ него оторваться, не можетъ оторваться до того, что я наконецъ слабѣю, теряю волю, и хотя всѣ мои умственныя способности дѣйствуютъ, но сознаніе утрачивается. Свѣтлая точка передъ глазами въ родѣ оконца въ острогѣ, о которомъ я выше разсказывалъ, точно также преслѣдуетъ меня день и ночь, и хотя я знаю, что это оконце простое стеклышко, освѣщенное изъ коридора, но вслѣдствіе того, что оно у меня прямо передъ глазами, мысль моя приковывается къ нему, я начинаю подыскивать въ немъ сходство съ чѣмъ-нибудь болѣе мнѣ знакомымъ, съ мѣсяцемъ, съ глазомъ, и не могу забыть объ немъ. Кромѣ сказокъ, домовыхъ, въ дѣтствѣ моемъ ни-

чего не было кромѣ масоновъ, мистиковъ и загадочныхъ декабристовъ. Съ восьми часовъ утра до шести часовъ вечера отецъ бывалъ въ должности. Въ кабинетѣ его на колосальномъ пузатомъ комодѣ, обложенномъ бронзою, стояли книги, сложенныя въ величайшемъ порядкѣ; тутъ были сочиненія Карамзина, Пушкина, Державина, Сумарокова, Хераскова, Княжнина, митрополита Платона, «Сіонскій Вѣстникъ», Дѣтское чтеніе, «Старикъ вездѣ и нигдѣ», «Гросфильдское Абатство», «Удольфскія таинства», «Жилбласъ», какіе-то анекдоты Наполеона, «Житье Фридриха Великаго», «Житье Екатерины Великой», «Дѣянія Петра Великаго, Голикова», тутъ же былъ «Всеобщій стряпчій», «Пансальвинъ, князь тьмы», словомъ ни одинъ современный библіофилъ не могъ бы равнодушно выдти изъ этого кабинета, въ которомъ я проводилъ первые годы моей грамотности, взбираясь на комодъ по его бронзовой отдѣлкѣ, усѣвшись на немъ и вытаскивая изъ завѣтнаго отцовскаго книгохранилища одну за другой изъ этихъ странныхъ книгъ, написанныхъ восторженнымъ языкомъ и напыщеннымъ стилемъ, а каждая изъ этихъ книгъ говорила о какомъ-то высшемъ недоступномъ для простаго смертнаго мірѣ, о мірѣ чисто-

ты, поэзіи, возышенности духа, о мірѣ до того противоположномъ съ тѣмъ, въ которомъ приходилось жить, гдѣ горничная Любовь съ утра до вечера перебранивалась съ кухаркой Маврой, и обѣ почему-то сильно негодовали на няню, Марью Семеновну. И что общаго между этой кухаркой Маврой и горничной Любовью съ этими благородными рыцарями, съ этими мудрецами, замками, по которымъ привидѣнія ходятъ? — съ этими очаровательными принцессами, которыхъ каждой благородной и отважной душѣ слѣдуетъ похитить? Что схожаго между ихъ ссорами съ отчаянной злобой и коварствомъ какихъ-нибудь тоже рыцарей? Литература XVIII и начала XIX в., на которой мнѣ пришлось вырости, и которая также мнѣ сродни, какъ и современная, имѣла то странное свойство, что обаятельно отрѣшала читателя отъ всего окружающаго, вводила его въ ворота новаго міра, міра, исполненнаго изящества, геройства, глубокихъ страстей, гдѣ не было ни дрязгъ, ни суеты житейской, и гдѣ не являлся ни одинъ Санхо Панчо, задававшій, какъ въ нынѣшней литературѣ, вопросы своему Донъ-Кихоту, что на какія же деньги благородные рыцари изволятъ странствовать по свѣту? Житейскій вопросъ, во-

просъ обыденной жизни для этой литературы не существовалъ, и мѣщанскаго въ ней ничего не было. Она звала къ подвигамъ, она развивала мечтательность и зарождала въ душѣ инстинкты ко всему высокому и изящному. Теперь смѣшно и скучно кажется намъ читать длинныя драмы изъ быта аркадскихъ пастуховъ. Современный театръ осмѣялъ и Орфея, и Елену прекрасную; современная жизнь свергла съ пьедесталовъ этихъ боговъ, которымъ лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ такъ искренно поклонялись, и въ которыхъ такъ глубоко вѣровали. Разочарованіе, внесенное Байрономъ, привело насъ къ анализу Диккенса, къ смѣху Гоголя, а вслѣдъ за ними къ цѣлому ряду мало даровитыхъ, но безпощадно смѣлыхъ аналистовъ, которые научили насъ забираться и въ глубь своей и въ глубь чужой души, съ неслыханной доселѣ смѣлостью, которые смѣшнымъ сдѣлали, еще недавно казавшееся вовсе не смѣшнымъ, созерцаніе луны, восторгъ отъ птичекъ, глубокомысленное размышленіе при видѣ пчелы, умиленіе надъ привязанностью собаки къ человѣку, слезы при видѣ восхода солнца, которые сорвали съ мужчины вѣнецъ героя и отняли у женщины ея эпитетъ полу-

воздушнаго, полубожественнаго, неземнаго существа; отрицанія пошли въ ходъ какъ протестъ противъ слишкомъ положительныхъ пріемовъ классицизма и романтизма, и дошли, наконецъ, до нѣкоторыхъ крайностей.

Благоговѣніе классиковъ XVIII в. къ героямъ вызвало протестъ въ поклоненіи санкилотамъ, такъ въ нашемъ вѣкѣ восторженность передъ всѣмъ высокимъ, изящнымъ, ультраидеализація романтизма привела, до нѣкоторой степени, къ полному отрицанію всего изящнаго...

Отрицательное направленіе, разумѣется, проявлялось ужъ и тогда, и тогда, если мною, мальчикомъ, чувствовалась вся вопіющая ложь и искусственность романтизма, то въ литературѣ тѣмъ болѣе являлись предвѣстники того анализа, къ которому мы теперь пришли, и который сдѣлался такъ дешевъ и обыденъ, что болѣе никого не удивляетъ. Уже отъ «Евгенія Онѣгина» и «Капитанской дочки» вѣяло тогда совершенно особымъ духомъ, а затѣмъ явился Гоголь съ его анализомъ и этотъ анализъ потрясъ все, во что вѣровала и исповѣдовала русская литература...

Натуральная школа все крушила, все низвер-

гала, она съ перваго дня своего рожденія объявила, что правъ нѣтъ, а что есть простые смертные, которые ѣдятъ, пьютъ, нуждаются въ деньгахъ, два раза въ недѣлю обмываются одеколономъ, ходятъ въ вицмундирѣ, сочиняютъ или переписываютъ отношенія и т. п. И это бы еще ничего, но натуральная школа пошла дальше, она объявила, что даже великихъ злодѣевъ нѣтъ, а есть Чичиковы, Ноздревы; въ натуральной школѣ даже Шейлокъ показался невозможнымъ, онъ свелся на Плюшкина...

На меня, на ребенка, натуральная школа, сама собою, не могла произвести ровно никакого вліянія. Для того, чтобы понимать Гоголя или Диккенса, надо самому пожить, надо жизнь знать; ребенку «Неистовый Орландъ» понятнѣе «Донъ Кихота»: Орланду неистовому онъ можетъ сочувствовать, потому что Орландъ принадлежитъ исключительно къ міру фантазіи, въ которомъ живетъ все юное, незнакомое съ дѣйствительностью. Человѣческой струны въ заблужденіяхъ Донъ-Кихота, юмора Сервантесова ребенокъ не пойметъ, такъ точно простонародью «Вѣрный Гуакъ», «Битва русскихъ съ Кабардинцами» понятнѣе тѣхъ же «Мертвыхъ душъ», «Мертваго дома» и даже «Войны и

мира». То, что льститъ фантазіи и занимаетъ неопытное воображеніе, понимается легче, чѣмъ произведенія, основанныя на глубокомъ анализѣ чувствъ и страстей, доступныхъ только людямъ взрослымъ или серьезно развитымъ. Народная сказка о богатыряхъ, о дурачкахъ, о прекрасныхъ царевнахъ и ихъ злыхъ мачихахъ, именно по своей несложности и своей сильной фантастичности, слишкомъ тысячу лѣтъ выдерживала борьбу даже съ житіями святыхъ, которыя, совершенно забыты протестантской Германіей, Англіей и Скандинавіей, между тѣмъ какъ разсказы объ огненныхъ змѣяхъ и спящихъ царевнахъ цѣлы въ первобытной свѣжести. Житія святыхъ, даже легендарныя, даже такія, гдѣ есть замѣчательная до-христіанская примѣсь, всегда основаны на законахъ человѣческаго духа, на тѣхъ сложныхъ его проявленіяхъ, которыя встрѣчаются только у людей или много жившихъ или много любившихъ, сильно вѣровавшихъ и сильно сомнѣвавшихся. Въ послѣдствіи, когда натуральная школа съ той невѣроятной быстротой, которая возможна только въ Россіи, вытѣснила у насъ все романтическое, и когда мы на школьной скамейкѣ тринадцати - четырнадцатилѣтніе мальчишки отри-

цали все высокое и героическое, толковали о пошлости и пошлостью кололи глаза другъ другу, ловили другъ у друга высокопарныя выраженія, изъ кожи вонъ лѣзли, чтобы не только не быть героями, но держать себя какъ можно проще, не фразисто, краснѣли, когда въ голову приходила мысль о чемъ-нибудь высокомъ, и старались всякое благородное движеніе привести анализомъ съ чѣмъ-нибудь весьма простымъ и естественнымъ, мы сдѣлались тѣмъ, что предвидѣлъ Лермонтовъ, но чего онъ самъ, по всей вѣроятности, еще не видалъ, мы были «тощій плодъ до времени созрѣлый». Мы почти не знали молодости и ея свѣтлыхъ вѣрованій. И счастье наше, что мы попали на школьную лавку не тогда, когда аналисты были уже во всей ихъ силѣ, а именно въ ту переходную пору, когда старое было еще свѣжо, а новое, со всей его юношеской силой и полное увлеченія, только являлось на свѣтъ. Мы сидѣли на школьной лавкѣ въ самый разгаръ борьбы стараго съ новымъ, и кто жъ броситъ въ насъ камнемъ, что мы, вслѣдствіе духа нашего времени, не могли не относиться къ старому съ презрѣніемъ, къ новому съ недовѣріемъ? Въ этомъ-то, кажется мнѣ, и заключается разгадка

характера и направленія русской исторіи первыхъ семи-восьми лѣтъ съ крымской войны.

Раздвоенность происходила страшная. Часто припоминается мнѣ наше училище съ его толстыми липами и стѣнами, какъ иглы, прямыми березами. Сколько разъ, бывало, гуляя по его аллеямъ въ рекреаціонные часы, начиналъ я мечтать объ разныхъ вычитанныхъ мной рыцарскихъ подвигахъ, объ невѣроятныхъ путешествіяхъ, о геройскихъ встрѣчахъ съ разбойниками, о тѣхъ же заключенныхъ въ башняхъ красавицахъ, которыхъ слѣдовало мнѣ освободить изъ-за желѣзныхъ рѣшетокъ, изъ власти ихъ жестокихъ похитителей. Ходишь, бывало, этими красненькими аллеями, усыпанными толченымъ кирпичемъ и желтенькимъ песочкомъ, думаешь, думаешь, мечтаешь, мечтаешь, самого себя подчасъ похитить хочется изъ-за этихъ высокихъ заборовъ, изъ-подъ надзора этихъ воспитателей, дядекъ, старшихъ воспитанниковъ, противны кажутся сухія учебныя тетрадки и руководства, разбитыя на параграфы, и уроки, заданные отъ третьей строки сверху на 47-й страницѣ до четвертой строки снизу на 49-й, сочиненіе, которое нужно было писать по заказу, и

переводы, которые приходилось дѣлать. Душа просится въ иной міръ, мечты кипятъ, образъ Робинсона Крузе мелькаетъ передъ глазами, тѣнь Суворова носится, битвы хочется, борьбы и борьбы изящной, той, въ которой не существуетъ никакихъ житейскихъ разсчетовъ, хочется жизни, въ которой не приходилось бы взглядывать себѣ на грудь, всѣ ли пуговицы застегнуты, или взглядывать на ноги, хорошо ли вычищены сапоги. Впередъ, впередъ рвется душа—къ тѣмъ вѣчнымъ идеаламъ, поставленнымъ человѣчествомъ со временъ еще старика Гомера, и вдругъ какъ какимъ холоднымъ вѣтромъ пахнетъ, раздается хохотъ, неумолимый хохотъ Гоголя, и въ воображеніи станутъ мелькать Чичиковы, Собакевичи, Ноздревы, высѣченный поручикъ Пироговъ, и станешь прикидывать этотъ хохотъ на своихъ товарищей, на учителей и на воспитателей. Щемящая хандра залѣзаетъ въ душу, самъ видишь свои недостатки и видишь чрезвычайно ясно, потому что дался и усвоился аналитическій методъ, самъ себя разбираешь, самъ себя патрошишь, самъ себя не щадишь и съ вопіющей, безпощадной ясностью видишь свои недостатки, и чувствуешь, какъ силы слабѣютъ, какъ руки опу-

скаются, и понимаешь, что не только далекъ, но даже и не существуетъ этотъ роскошный міръ замковъ, подвиговъ, поэзіи, путешествій...

Литературная дѣятельность кипѣла въ концѣ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ. Даровитыхъ сочинителей было много. Общество, отрѣшенное отъ всякой политической жизни, всѣ интересы свои сосредоточивало на литературѣ. Новый романъ, новое стихотвореніе, новая книжка журнала были событіями, возбуждали толки, пересуды, и на нейто, на литературной критикѣ воспитывалась критика политическая и философская, которая, какъ насъ ни берегли наши толстыя стѣны и нашъ высокій заборъ, все-таки заносилась къ намъ какъ-то эхомъ. Въ воздухѣ въ самомъ что-то носилось и даже «въ шелестѣ дубравъ мысль современную услышимъ», какъ выразился одинъ мой школьный товарищъ, бойко писавшій стихи. Насъ считали дѣтьми, отъ насъ все таили, но дѣти, какъ арестанты, удивительно чутки и имѣютъ особенный даръ узнавать все, что около нихъ дѣлается, и догадываться обо всемъ, что отъ нихъ скрываютъ. Запрещенныхъ книгъ до насъ, разумѣется, не доходило, но мы знали, что онѣ существуютъ, и мы твердо

были увѣрены, что въ нихъ-то именно и должна находиться разгадка всѣхъ мучащихъ насъ вопросовъ и сомнѣній. Философіи намъ не преподавали—я учился въ среднемъ учебномъ заведеніи—но мы знали, что есть какая-то философія съ какой-то метафизикой, гдѣ сказано много, ужасно много, безконечно много, что тамъ говорится о такихъ вещахъ, что если ихъ довести до общаго свѣдѣнія, такъ не только плохо придется нашимъ учителямъ, воспитателямъ, старшимъ воспитанникамъ, но народъ смятется, все запретится и разрушится! Но что тамъ такое сказано, и что это именно такое, мы ничего не знали, а чѣмъ меньше мы знали, тѣмъ больше разгоралось въ насъ любопытство, тѣмъ больше хотѣлось намъ сдѣлаться агентами этого масонства. Надъ головами нашими, какъ гулъ дальняго грома, послышались отголоски грознаго 1848 г. Съ февраля всѣ лица какъ-то повытянулись, шушукаться стали всѣ, слово республика, бунтъ, безпорядокъ, слышалось со всѣхъ сторонъ. Присмотръ за нами сталъ строже, въ тетрадки наши воспитатели стали заглядывать, какъ будто отыскивая что-то опасное, точно насъ самихъ считали заговорщиками, точно предполагали,

что мы знаемъ, о чемъ идетъ дѣло, а мы знали, что былъ во Франціи какой-то король, что противъ этого короля взбунтовался народъ, что этотъ король бѣжалъ въ Англію, и что всей Франціей завѣдуетъ какой-то Каваньякъ. Дальше свѣдѣнія наши не шли.

— Алексѣй Никифоровичъ, спросилъ я на урокѣ, совершенно простодушно, учителя географіи,— какъ же вы теперь велите говорить, теперь королевство Франція, вѣдь Франція теперь не королевство, а республика?

Алексѣй Никифоровичъ оглянулся строго на меня и прошепелявилъ:

— Покуда не вышло особаго предписанія, мы будемъ называть Францію королевствомъ. Занимайтесь, а не то я васъ сейчасъ спрошу.

Argumentum ad hominem былъ основательный и мнѣ показался тоже удовлетворительнымъ, какъ болѣе нельзя. Но вопросъ все-таки не разрѣшался, вопросъ все-таки такъ вопросомъ и оставался.

Какъ же это такъ, въ самомъ дѣлѣ? Франція сдѣлалась республикой, а предписанія республикой называть ее нѣтъ? Стало быть, Франція со временъ 1815-го года такъ-таки намъ и подчинена? Значитъ,

противъ кого-жъ французы бунтуютъ? Противъ своего короля или противъ насъ? Если противъ насъ, чѣмъ же мы ихъ обидѣли? Если противъ короля, для чего бунтовать противъ короля, и какъ же можно бунтовать? Какъ не грѣхъ это? Какъ это не совѣстно? И я, сочувствовавшій почему-то декабристамъ, въ то же время весьма сочувствовалъ совершенно не знавшему меня покойному Люи-Филиппу и былъ такой роялистъ, что готовъ былъ положить за него голову во усмиреніе его мятежныхъ и неблагодарныхъ подданныхъ. Хаосъ былъ въ головѣ, приходилось до всего, до всякой мелочи доходить собственнымъ своимъ умомъ, спросить даже было не у кого, а если бы и было у кого, то кто сталъ бы толковать съ мальчишкой, и кто не прекратилъ бы его распросовъ такимъ же argumentum ad hominem?

1849-ый годъ пошелъ еще грознѣе. Не знаю почему, общее нерасположеніе къ Австріи и тогда было довольно сильно. Венгерцамъ сочувствовали, и сочувствовали имъ, по крайней мѣрѣ, дѣти какъ-то совершенно безъотчетно, потому ли, что венгерецъ представлялся намъ гусаромъ, въ узкихъ штанахъ, въ высокихъ сапогахъ, съ безконечными

шнурами на груди и съ безконечными усами подъ носомъ. А мы воевали съ венгерцами. — Везли въ Петербургъ трофеи. Я стоялъ у окна и смотрѣлъ. Венгерскія знамена были съ изображеніемъ Богородицы, и какъ теперь живо видится мнѣ одно, чѣмъ-то пробитое по серединѣ и все выпачканное въ крови.

Вѣдь вотъ венгерцы, думалъ я, на знаменахъ Богородицу нарисовали. Зачѣмъ все это, для чего все это? Какъ? А если мы идемъ противъ венгерцевъ, значитъ, мы правы? И опять хаосъ, и опять то же смѣшеніе понятій.

Въ Петербургѣ заговоръ. Какіе-то заговорщики, какіе-то страшные люди собрались, хотѣли бунтъ сдѣлать...

Все дрогнуло, точно привидѣніе какое явилось, точно среди спокойной и веселой прогулки пуля мимо ушей просвистала. Такъ и представились страшныя блѣдныя фигуры съ бородами — а тогда бороды были запрещены еще — съ длинными волосами, въ шляпахъ, надвинутыхъ на брови, въ широкихъ плащахъ съ красной подкладкой, съ кинжалами и съ ядами, клялись они на черепахъ, росписывались собственной кровью, что-то

страшное дѣлалось! Зачѣмъ? Для чего дѣлать бунтъ? Чѣмъ и кто ихъ обидилъ? И въ то же время—воспитаніе ли это дѣлало, или духъ времени былъ таковъ—сочувствіе къ этимъ ужаснымъ заговорщикамъ все-таки шевелилось въ душѣ. Они были окружены загадкой, они тайну для насъ составляли, они были запечатаннымъ письмомъ. Мысль не могла оторваться отъ нихъ, и дѣтскій умъ все работалъ и работалъ надъ вопросами: для чего, зачѣмъ, почему люди дѣлаютъ заговоры, чего хотятъ? Что они были честолюбцы, что они были партіей безпорядка, не вѣрилось и вѣриться не могло. Что жъ они были такое? А ихъ таинственная обстановка, ихъ плащи и шляпы съ широкими полями были такъ привлекательны, что кажется самъ бы нахлобучилъ такую шляпу, самъ бы надѣлъ на себя черный бархатный плащъ съ красной подкладкой, и такъ бы вотъ и шелъ гдѣ-нибудь ночью въ тѣни, подъ заборомъ; кинжалъ, сжатый въ рукѣ, такъ бы великолѣпно сверкалъ при лунномъ свѣтѣ. Заговорщиковъ не любятъ, а вѣдь вотъ хоть бы въ театрѣ на сценѣ, какъ они выходятъ всѣ хороши и привлекательны въ своихъ шляпахъ и плащахъ! Ихъ не любятъ, а вѣдь вотъ любой романъ возьми, особенно фран-

цузскій,—а тогда въ нашихъ журналахъ переводились почти исключительно французскіе романы, и преимущественно Дюма съ его «Графиней Монсоро», «Королевой Марго», «Тремя мушкетерами», гдѣ все заговорщики, и все такіе хорошіе, такіе привлекательные и такъ высоко стоятъ надъ героями натуральной школы, что невольно самому хотѣлось бы встать въ ихъ ряды и рисовать самого себя измученнаго пыткой, но гордо идущаго по улицѣ на плаху, въ сопровожденіи палача, одѣтаго во все красное, съ огромной сѣкирой въ рукѣ и съ черной маской на лицѣ! Я шелъ бы и несъ на рукахъ моего друга, который отъ пытки и отъ тюрьмы ужъ не можетъ ходить; дама бросила бы мнѣ розу. Звуча кандалами я нагнулся бы, поднялъ бы розу, прижалъ бы ее къ груди и на плахѣ прикололъ бы ее къ себѣ на шею, чтобъ она обмылась моей кровью и разсѣклась пополамъ тѣмъ же взмахомъ сѣкиры, который долженъ былъ снять съ моихъ плечъ мою голову. Читался тогда съ большой жадностью какой-то безконечный романъ, помнится, Кукольника, написанный совершенно на дюмасовскій манеръ, изъ французской жизни, гдѣ однимъ изъ героевъ является Бенвенуто Чел-

лини. Бенвенуто Челлини посаженъ въ тюрьму и обѣщается смотрителю, что уйдетъ. У него отнимаютъ всѣ средства къ побѣгу, а онъ все говоритъ, что уйдетъ. Съ невѣроятнымъ искусствомъ растворяетъ онъ дверь тюрьмы, приготовляетъ парашютъ и бѣжитъ... И вся тогдашняя литература, особенно переводная, на которой мы воспитывались, вся она совершенно шла въ разрѣзъ съ нашей натуральной школой и пріучала насъ видѣть въ себѣ героевъ, думать о заговорахъ, о побѣгахъ изъ тюремъ, услаждать себя мыслью о смерти на плахѣ и мечтать о томъ, какъ будешь рисоваться въ обществѣ въ качествѣ или общественнаго дѣятеля или вездѣсущаго, всевѣдущаго и до невозможности ловкаго конспиратора. Въ полномъ невѣжествѣ общественной жизни, въ полномъ незнаніи ея вопросовъ, при отсутствіи всякой политической практики и опытныхъ политическихъ руководителей, мы росли на французскихъ романахъ, на уваженіи ко всему таинственному и необыкновенному, и на сочувствіи къ заговорамъ и заговорщикамъ и, въ то же время, жадно слѣдили за произведеніями натуральной школы, которая развивала въ насъ способность если не все, то многое

отрицать и пріучала насъ въ то же время сначала къ психическому, а затѣмъ и къ соціальному анализу. Бочка пороху была готова, стоило бросить искру, и искра эта не заставила себя ждать: крымская война грянула!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ПО ВЫХОДѢ ИЗЪ УЧИЛИЩА.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ПО ВЫХОДѢ ИЗЪ УЧИЛИЩА.

II.

Увлеченіе богомъ войны. — Китайская философія Лао-цзы и маньчжурская флексія. — Правительство и общество. — Добролюбовъ. — Рукописная литература. —

Я кончилъ курсъ въ училищѣ въ то самое время, когда началась крымская компанія. Патріотизмъ, народная гордость, жажда битвъ и славы, охватившія тогда всю Россію, задѣли за живое и меня. Это было время сильнаго возбужденія массъ, при которыхъ каждая личность со всѣми ея крупными и мелкими чувствами, съ ея думами, страстями, вѣрованіями и сомнѣніями исчезаетъ, увлекаемая общимъ потокомъ подобно тому, какъ въ движущейся колоннѣ не замѣтно ни одного офицера, ни одного солдата, а есть только одинъ организмъ, что-то въ родѣ полипа, который живетъ не

отдѣльной жизнью своего члена, а общей. Все рвалось въ поле, все хотѣло носить мундиръ, все, болѣе или менѣе, охотно училось маршировать, въ ушахъ звенѣли выстрѣлы, въ воздухѣ пахло порохомъ и кровью. Наука, изученіе восточныхъ языковъ, которому я отдался именно вслѣдствіе моего общаго мистическаго и фантастическаго настроенія, мигомъ утратило для меня всякій интересъ. Мнѣ мечталось быть юнкеромъ, офицеромъ, идти съ своимъ войскомъ на батарею, на приступъ. Мнѣ казалось, что несмотря на всю мою робость и застѣнчивость, я могъ бы оказать чудеса храбрости, и, я думаю, если бы на другой день послѣ того, какъ у меня было уже написано прошеніе о поступленіи въ военную службу, не вышло распоряженія о томъ, что всѣхъ вольноопредѣляющихся и вообще новичковъ не пускать въ дѣло, а оставлять въ резервѣ, я давнымъ давно, если бы не уходила меня какая-нибудь пуля, до того привыкъ бы къ эполетамъ и шпорамъ, что также бы не умѣлъ носить статскаго платья, какъ теперь не съумѣю надѣть на себя военнаго. Распоряженіе это какъ холодной водой меня облило, а со мной, разумѣется, и множество другихъ, такихъ же какъ я,

мечтательныхъ натуръ. Ужъ если идти на войну или вообще дѣлаться военнымъ, то, въ самомъ дѣлѣ, не для того же, чтобъ забавлять себя ношеніемъ мундира. Дѣла хочется, не фразы. «Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ», говоритъ псалмопѣвецъ. Блаженъ мужъ, кто можетъ удовлетвориться фразой, внѣшностью, сказалъ бы я. Нѣтъ никого несчастнѣе, въ практическомъ отношеніи, людей, которые могутъ отдаваться каждому дѣлу только цѣликомъ, которые на половину дѣлать не умѣютъ, и для которыхъ примиреніе со всякими уступками, даже, пожалуй, необходимыми вслѣдствіе разнаго рода установившихся житейскихъ отношеній, дѣло невозможное. Кто можетъ мириться съ волной міровой, съ суетой людской, кто можетъ отдаваться дѣлу на половину, любить на половину, страдать на половину, говорить правду на половину, тотъ счастливъ. Бурь не пройдетъ у него въ душѣ, и жизнь его обойдется безъ всѣхъ глубокихъ внутреннихъ и наружныхъ драмъ, которыя до поры до времени бѣлютъ волосъ, бороздятъ морщины и истомляютъ душу до устали...

Попасть въ резервъ для того, чтобъ сдѣлаться

въ послѣдствіи мирнымъ гражданиномъ въ званіи какого-нибудь военнаго полковника, меня не привлекало. Я разорвалъ мое прошеніе и, скрѣпя сердце, покорился горькой участи, хотя она мнѣ казалась вопіющей несправедливостью противъ молодежи вообще, а меня лично въ особенности. И снова съ горемъ отдался я изслѣдованіямъ маньчжурскаго синтаксиса и изученію идей великаго китайскаго философа Лао-цзы. Счастливымъ случаемъ предоставилась мнѣ возможность ознакомиться съ будизмомъ и съ монгольскимъ языкомъ. На нихъ-то я и вымѣстилъ свою злобу на судьбу, оборвавшей въ самомъ началѣ мою военную карьеру и не давшей мнѣ дослужиться до всевозможныхъ георгіевъ солдатскихъ и офицерскихъ.

Но надъ какимъ монгольскимъ языкомъ не сиди и сколько ни разсуждай объ истинномъ значеніи маньчжурскихъ глагольныхъ флексій, будійской нирваны и запутанныхъ фразъ китайскаго Спинозы, Лао-цзы, — неугомонная современность беретъ свое, проникаетъ во всѣ поры тѣла, залѣзаетъ во всѣ завѣтнѣйшіе уголки души, и что вы ни дѣлайте, никакая лингвистика и никакая исторія Кореи не избавитъ васъ отъ об-

сужденія современныхъ вопросовъ. Бьетъ барабанъ, выступаютъ солдатики нога въ ногу, правой и лѣвой, у васъ кипитъ что-то въ груди, у васъ колѣнки вытягиваются, такъ и просясь совершать эту нехитрую операцію очередованія правой съ лѣвой... Говорятъ, что личность свободна, и что человѣкъ отвѣтственъ во всѣхъ своихъ поступкахъ, а не знаю, какимъ манеромъ это дѣлалось со мной, что въ эти минуты, когда не только весь умъ мой, но все существо мое, ногти, колѣна, волосы, спина и лопатки были заняты мыслью о томъ, что именно значитъ маньчжурская флексія, когда я отдавался сему великому вопросу не только душой, но и тѣломъ, вдругъ случилось что какая-то красная рубаха бренчала на балалайкѣ:

Онъ колѣнушки вывертываетъ,
Онъ подошевки подвертываетъ,
Онъ подковками побрякиваетъ,
Онъ носочками потряхиваетъ,
Сдвинетъ пятки, разведетъ, злодѣй, носки.
Разгуляй ты, душу отъ тоски!
Ножки ходятъ, заплетаются,
Ножки ходятъ, расплетаются,
Ты взыграй душа въ животикѣ,
и т. д. и т. д.

и, невольнымъ манеромъ, поддрагивали у меня ко-

лѣна, шевелились носки и пятки, и развѣ только воспитаніе и привычки отъ младыхъ костей, не разрѣшавшія мнѣ выказывать на улицѣ своихъ душевныхъ ощущеній, удерживали меня отъ трепака. Гдѣ жъ тутъ свободная воля, и какъ же считать личность отвѣтственной за свои увлеченія?

Политическія увлеченія находятъ какъ чума, холера, какъ возбужденіе вѣры (religions revivals), какъ мистицизмъ, либерализмъ, спиритизмъ, какъ женскія моды, то на кринолины, то на невѣроятно узкія юбки съ безконечно длинными шлейфами, сбивающія съ толку каждаго мимоходящаго и представляющія для него если не камень, то все-таки шелкъ и бархатъ преткновенія. И вотъ въ средѣ того мирнаго и тихаго кружка юношей, усы и бороды которыхъ состояли не изъ волосъ, а изъ тончайшаго пуху, и которые всѣ также искренно, какъ и я, съ такой же теплотой и вѣрой занимались наукой, вдругъ, повидимому, ни съ того, ни съ сего, раздалось слово политическаго и соціальнаго отрицанія. Вдругъ, ни съ того, ни съ сего — кто не помнитъ этого времени — наша молодежь, и даже не одна молодежь, возчувствовала ка-

кой-то злой восторгъ отъ нашихъ крымскихъ неудачъ.

Тутъ точно патріотизмъ замеръ у насъ въ груди, точно мы дѣло имѣли не съ нашими врагами англичанами и французами... точно въ войнѣ этой отстаивались не интересы Россіи, а интересы цивилизаціи, прогресса, свободы, науки и тому подобныхъ всякихъ другихъ эмансипацій!... Вопросъ изъ внѣшняго свелся на внутреній и свелся, — надо же, наконецъ, и самому себѣ честь отдать, весьма некрасиво. Во время турецкой, польской и венгерской компаній, при всемъ неудовольствіи нашего общества тогдашней правительственной системой, все-таки правительство это пользовалось отъ насъ если не полнымъ сочувствіемъ, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторымъ уваженіемъ. Мы въ него вѣрили, мы шли за нимъ, мы въ солдатики рвались для поддержки его чести и его интересовъ, мы передъ нимъ.... блѣднѣли. Въ крымскую войну система его оказалась несостоятельной, его сила во многомъ оказалась мистическою, и мы дезертировали изъ его лагеря. Какъ ни красивы подобнаго рода продѣлки, но мы видимъ нѣчто подобное имъ въ нашемъ обыкновенномъ житей-

скомъ быту чуть не каждый день. Живетъ себѣ какой-нибудь богатый купецъ, откупщикъ, золотопромышленникъ, акціонеръ; живетъ широко, бариномъ, все передъ нимъ шапку ломаетъ, все въ восторгъ приходитъ отъ его обѣдовъ, отъ его рысаковъ, картинной галереи, покровительствуемыхъ имъ артистовъ и даже артистокъ, и всѣ говорятъ, что нѣтъ у насъ на Святой Руси головы мудрѣй и руки щедрѣй какого-нибудь Дормидона Селифантьича! что онъ великій финансистъ, истинно-русскій человѣкъ, хотя не ученый, но весьма развитый, весьма даровитый, и что имъ только наше купечество и держится. Случись съ этимъ же Дормидономъ Селифантьевичемъ такой казусъ, что вдругъ онъ окажется несостоятельнымъ, не только несостоятельнымъ, но что десять лѣтъ сряду вся его обстановка была только декораціей, и что всѣ свои дѣла производилъ онъ не какъ серьезный негоціантъ, а на фуфу, и всѣ вдругъ закричатъ, завопятъ, завоятъ противъ него, упрекнутъ его и его орловскими кровными рысаками, и его картинной галереей, найдутъ, что и столъ у него былъ плохъ, найдутъ, что и самъ онъ въ своихъ манерахъ былъ грубъ, что съ женой жилъ

худо, что дѣтей дурно воспиталъ, родственника, приходящагося четвероюроднымъ племянникомъ съ мачихиной стороны, обидѣлъ и пріищутъ за нимъ такое множество недостатковъ, что представится онъ ужъ не отцомъ отечества, ужъ не Мининымъ или Посошковымъ, а, просто-на-просто, Хлестаковымъ въ поддевкѣ.

Кто глубоко понималъ всю неблаговидность новыхъ отношеній общества къ правительству, грязной брани и грязнаго протеста, такъ это покойный Добролюбовъ. Около времени окончанія войны вынуждено было выдти въ отставку одно лицо, имѣвшее огромное вліяніе на ходъ всѣхъ нашихъ государственныхъ дѣлъ, ненавидимое обществомъ, но передъ которымъ все гнулось, все благоговѣло, все льстило, совершенно его не уважая, но не смѣя даже пикнуть противъ него. Едва палъ этотъ дѣятель, какъ всякій мальчишка, всякій гимназистъ и канцеляристъ, все, что за счастье сочло бы мѣсяца два тому назадъ не то что удостоиться его поклона, а подъ глаза ему даже въ толпѣ попасться, все разомъ возопіяло противъ него и заявило такой либерализмъ, такую честность и безкорыстность,—что даже странно приходилось. Чиновники его собственной

канцеляріи, директоры департаментовъ его собственнаго министерства, всѣ на него вознегодовали и всѣ возмутились духомъ, даже тѣ, которые нажились по его милости. Тогда въ ходу была рукописная литература. Рядъ памфлетовъ, стиховъ и тому подобныхъ заявленій торжества заходили по рукамъ. Одинъ Добролюбовъ возсталъ грознымъ стихотвореніемъ противъ этой невѣжливости и безтактности, и откровенно бросилъ въ лицо нашей публикѣ эпитетъ, который я, по долгу вѣжливости къ ней, считаю за лучшее не напоминать. Я чрезвычайно жалѣю, что у меня нѣтъ подъ руками этого стихотворенія, его стоило бы напечатать какъ лучшій памятникъ, оставленный покойнымъ, какъ оправданіе его личности и какъ патентъ на нравственность того времени, о которомъ я, волей-неволей, увлекся, разсказывая о своемъ прошломъ...

Короче сказать, какъ неблаговидны были отношенія нашей публики къ павшему временьщику, также неблаговидны были они и въ отношеніи правительства вообще, и не знаю я, какъ бы отозвался объ насъ Лермонтовъ, такъ чутко подмѣтившій отношенія новой Франціи къ Наполеону, —

„Какъ женщины, ему вы измѣнили,
И какъ рабы вы предали его“,

сказалъ бы онъ точно также энергически и точно также вѣрно объ насъ, отшатнувшихся отъ правительства въ ту именно минуту, когда оно всего болѣе нуждалось въ общественной поддержкѣ. Гражданскія чувства, гражданскія негодованія, личные счеты подданныхъ съ властью заставили насъ забыть то, что мы, русскіе, радовались успѣхамъ непріятелей, разсчитывая, что вслѣдствіе военныхъ неудачъ, административнаго неустройства и генеральскихъ неспособностей, добьемся мы богъ вѣдаетъ какихъ благъ...

Все это было некрасиво, неблаговидно и, нельзя сказать, чтобъ можно было помянуть это время хорошимъ словомъ. По заключеніи мира, когда и для правительства, и для общества ужъ были ясны ихъ обоюдныя ошибки, пожалуй, можно было считаться; но во время войны, когда присутствіе врага оскверняло землю русскую, некрасиво было появленіе рукописной литературы, и некрасивы были домашнія ссоры въ минуты общей опасности. Одинъ народъ, т. е. простой народъ, на котораго всего тяжелѣе пало бремя войны,

остался и остается чистъ отъ этого позора, въ которомъ съумѣло выкупаться наше общество. Ему въ голову не приходило, что отъ вторженія англичанъ или французовъ улучшатся наши порядки, жить станемъ легче и законы будутъ лучше. Каждый русскій городъ, въ который вступили бы непріятели, или выдержалъ бы севастопольскую осаду, или вспыхнулъ бы какъ Москва и Смоленскъ!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ЗАПРЕЩЕННЫЯ КНИГИ.

III.

Молоканскій настоятель въ Тульчѣ. — Правдоискатели. — Нигилисты. — Вѣрованія и ученье ихъ. — Прихвостни Запада. — Запрещенныя книги. —

Изо всѣхъ народовъ на свѣтѣ, мы, русскіе, отличаемся если не обыкновенной силой, то необыкновенной смѣлостью и послѣдовательностью мыслей. Тамъ, гдѣ останавливается французъ, видящій святыню въ идеяхъ 1789 года, гдѣ блѣднѣетъ нѣмецъ, вѣчно погруженный въ свои туфли, въ женины вышивки, герой въ наукѣ и филистеръ въ практической жизни, мы остановиться не способны. Для насъ между словомъ и дѣломъ нѣтъ разстоянія, во что мы увѣровали, что приняли, мы проведемъ послѣдовательно и скорѣе добьемся до какого-нибудь дичайшаго уродства, чѣмъ остановимся. Ничто насъ не пугаетъ такъ, какъ непослѣдовательность; неза-

конченность вывода насъ заставляетъ краснѣть, сдѣланное на половину намъ противно. Такова наша натура и такова наша роль въ исторіи. Мы вѣчно дойдемъ до предѣловъ; въ исторіи мы начали съ крохотнаго московскаго княжества, величиной въ нынѣшній московскій уѣздъ и дошли до Камчатки и до Константинополя въ одну сторону и до Варшавы въ другую...

Не могу я не припомнить моего закадычнаго друга и пріятеля въ Тульчѣ, молоканскаго настоятеля, Семена Ѳедоровича. Сидѣли мы съ нимъ въ лавкѣ у одного тамошняго молоканскаго купца и толковали о вѣрахъ. Семенъ Ѳедоровичъ разсказывалъ мнѣ о сектахъ, которыхъ онъ встрѣчалъ въ своихъ похожденіяхъ по Россіи отъ Тамбова до Тифлиса и за границей отъ Тифлиса до Тульчи.

— Диковинное это дѣло, Семенъ Ѳедоровичъ, сказалъ я,—что у насъ у однихъ столько вѣръ, что съ кѣмъ ни разговорись, все непремѣнно другой вѣры будетъ человѣкъ. Погляди ты, братецъ, на грековъ, на болгаръ, хоть на турокъ, всѣ одного держатся, а нашъ братъ здѣсь въ Турціи, русскій человѣкъ, а всѣ будто къ разнымъ націямъ принадлежимъ. Что это за притча?

— Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Ну, такъ я тебѣ скажу, что это такое. Болгаринъ, грекъ, молдаванъ, турокъ все это простота человѣкъ Кто изъ нихъ какъ родился, такъ тому и слѣдуетъ и идетъ какъ слѣпой, да въ понятіи объ этомъ ни въ какомъ не состоитъ. А русскій человѣкъ совсѣмъ другое дѣло. Русскій человѣкъ—одно слово русскій человѣкъ — народъ свѣтлый, всякій обычай и порядокъ понимаетъ. Самъ посмотри, съ болгариномъ, съ молдаваномъ что толковать? Понятія никакого нѣтъ, а съ русскимъ человѣкомъ, самый послѣдній будь, все пріятно: всегда толковъ, во всемъ смѣтливъ. Такъ вотъ я тебѣ скажу, Василій Ивановичъ, теперь ты въ резонъ войди. Русскій человѣкъ правды ищетъ и покуда правды не найдетъ, покою себѣ не знаетъ. Греку, молдавану, турку, да еще жиду, сказать прямо, все равно, на чемъ родился, на томъ и стоитъ. Оттого-то у русскихъ и вѣръ много, каждый самъ за себя ратуетъ и правды розыскиваетъ. Одно слово, свѣтлый народъ.

Опредѣленіе Семена Ѳедоровича не разъ приходило и приходитъ мнѣ на память при встрѣчѣ не

только съ нашими сектантами, но и вообще съ образованными и мыслящими людьми. Русскій человѣкъ, дѣйствительно, правды ищетъ и покуда не найдетъ ея, спокойствія себѣ не находитъ. Съ одной стороны, залѣзаетъ онъ въ секты, доводящія его до самосожигательства и до самооскопленія, вслѣдствіе его глубокой послѣдовательности и нравственной потребности доходить во всякомъ дѣлѣ до конца. Не опасность его пугаетъ, не передъ послѣдовательностью онъ блѣднѣетъ, для него есть вещь страшнѣе — остановиться на полдорогѣ, этого онъ и боится. Погибнуть, да быть послѣдовательнымъ, до конца добраться! Съ другой стороны, въ томъ обществѣ, къ которому принадлежимъ мы, русскіе люди, читающіе и пишущіе, только при этой послѣдовательности могло возникнуть настроеніе, такъ невѣрно и неудачно охарактеризованное Тургеневымъ названіемъ нигилизма. Нигилизма въ нигилизмѣ этомъ ровно не было никакого, потому что тутъ было все опредѣленное и положительное. Какъ же можно назвать нигилизмомъ секту, имѣющую свою собственную, опредѣленную, выработанную догматику, такую, что просто садись да уложеніе ея пиши, съ вопросами и съ отвѣтами, съ раз-

дѣленіемъ на главы или съ ссылками на авторитеты или, такъ какъ авторитеты отрицаются, то — на пользующихся довѣріемъ авторовъ... Нѣтъ, нигилистами-отрицателями мы не были, мы искали положительной истины, положительная религія намъ была нужна, и всѣми силами ума нашего ея-то мы и добивались. Гдѣ было ее искать? Въ чемъ? У кого? Воспитаніе наше, какъ я выше сказалъ, пріучило насъ уважать все, кромѣ народнаго. Все, что было русское, что было завѣщано намъ историческими и семейными преданіями, презиралось нами вслѣдствіе нашего воспитанія... Странное дѣло, толкуемъ мы о національности, изъ-за національности совершаются войны, Европа перестраивается по этнографическимъ границамъ, а ни что національное, кромѣ развѣ языка, да можетъ быть пѣсень не признается. Все, что принято цѣлой Европой и цѣлой сѣверной Америкой, все хорошо, все, что наше собственное, все остается въ тѣни и ото всего того мы краснѣемъ; если намъ возразятъ, что дѣло идетъ объ объединеніи рода человѣческаго и вообще цивилизаціи, то опять-таки объединеніе это самое, по ходячему теперь мнѣнію, должно совершаться въ одной извѣстной, обще-чело-

вѣческой формѣ. Идеалъ нашъ все-таки, если не Соединенные Штаты, то, по крайней мѣрѣ, Англія. Другой формы существованія мы не видимъ, идеалъ нашъ въ теоріи. Дѣйствительно ли гдѣ-нибудь въ Висконсинѣ живется легче, чѣмъ въ Костромѣ, ни одинъ изъ насъ не знаетъ, потому что почти никто изъ насъ въ Висконсинѣ и не бывалъ. Но все изъ Висконсины исходящее имѣетъ у насъ такую цѣну, что мы, не мудрствуя лукаво и много не разсуждая, не изучая даже вопроса, не изслѣдовавъ ничего, покидаемъ костромскіе порядки для какихъ-нибудь висконсинскихъ. Намъ въ голову не придетъ, сообразны ли висконсинскіе порядки съ нашими нравами, обычаями, условіями нашей жизни, благо висконсинскіе! Для насъ это такъ ясно, какъ ясно то, что завьяловскіе ножики лучше незавьяловскихъ, а ножики съ англійской надписью лучше завьяловскихъ. Многіе ли изъ насъ знаютъ, чѣмъ русское сукно разнится отъ англійскаго? Но если я скажу, что у меня фракъ изъ англійскаго сукна, то на него взглянутъ не безъ любопытства; а скажу я, что у меня фракъ изъ сукна фабрики какого-нибудь купца Синебрюхова, ну и кончено: не раз-

бирая, хорошо это сукно или нѣтъ, никто особеннымъ вниманіемъ его не почтитъ.

Мы такъ росли, мы такъ выросли. Уваженіе къ чужому и къ обще-человѣческому всосалось намъ въ кровь и плоть. Не въ Россіи же намъ искать было истины и разрѣшенія всякаго рода загадокъ, не въ «Домострой» же намъ пускаться, не по «Кормчей» же устроивать жизнь и не справляться же о государственномъ правосудіи и неправосудіи въ «Судебникахъ» и въ «Уложеніи». Если бы, въ самомъ дѣлѣ, въ этихъ домостроях, кормчихъ, судебникахъ и уложеніи заключались бы какія-нибудь великія истины, и если бы изъ нихъ и можно было позаимствоваться уроками для будущаго и разъясненіями для настоящаго, мы не обратились бы къ нимъ по той, весьма простой, причинѣ, что эти почтенныя произведенія ума и сердца человѣческаго не только никакой репутаціей не пользуются на Западѣ, но извѣстны тамъ менѣе «Магабгараты», и «Законовъ Ману». Не знаютъ на Западѣ — стало быть — вниманія не заслуживаетъ. Не можетъ же быть, чтобы эти великіе люди науки и борьбы человѣчества за права существованія упустили изъ виду что-либо, имѣю-

щее интересъ. Насъ не знаютъ, объ насъ не говорятъ, стало-быть мы не заслуживаемъ уваженія. Все наше вниманіе, все наше воспитаніе, все наше развитіе пріучало насъ смотрѣть на себя и на все наше русское, какъ дворовый человѣкъ недавняго времени смотрѣлъ на себя и своего барина: что де онъ, дворовый человѣкъ, ни дѣлай, какъ онъ ни живи, какія семейныя отношенія ни имѣй, даже умъ, даже таланты,—все онъ будетъ ниже своего барина и все лучшее, чего онъ можетъ достигнуть, это единственно подражанія барскимъ манерамъ.

Еще въ то самое горячее время, о которомъ я разсказываю, какая-то русская дама, скрывшая свое имя, помѣстила въ «Студенческомъ Сборникѣ» стихотвореніе, въ которомъ заклеймила насъ, отечественную молодежь, названіемъ «прихвостней Запада». Обиднымъ намъ это не показалось, потому что прихвостнями запада мы себя не считали, а думали, что мы люди самостоятельные, и что то, что мы думаемъ и что мы видимъ, истекаетъ изъ нашихъ собственныхъ благородныхъ мозговъ, и думали мы это искренно. А теперь, слишкомъ черезъ

десять лѣтъ, оказывается, что механика эта была устроена у насъ нѣсколько иначе. Прихвостнями Запада, пожалуй, мы и дѣйствительно не были, къ французской централизаціи мы относились свысока, итальянскій вопросъ о національности казался намъ даже недостойнымъ нашего вниманія, мы были люди русскіе и послѣдовательные. Училище пріучило насъ вѣрить въ западъ, ну и стали вѣрить, потому что вѣрить во что-либо другое не приходилось, другихъ идеаловъ поставлено намъ не было и подъ руку не подвернулось. Но вѣрить въ Западъ зря мы все-таки не могли: такъ напр. мы знали, что въ Парижѣ опаснѣе о чемъ-нибудь говорить, чѣмъ въ нашихъ старыхъ красненькихъ каретахъ Невскаго проспекта, что въ Англіи менѣе равенства, чѣмъ у насъ, и что на честность нашего купца, даже въ вопросѣ о пяти рубляхъ, можно положиться болѣе, чѣмъ на любаго мистера Андерсона, имѣющаго контору въ Лондонѣ и въ Нью-Іоркѣ. Но на Западѣ, при всѣхъ его темныхъ сторонахъ, столько свѣтлаго, столько симпатичнаго, столько живыхъ и благородныхъ идей тамъ выработано, столько теплыхъ словъ сказано, что волей-неволей приходишь къ сознанію его величія.

Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, мы сказали, какую идею мы провели въ нашей исторіи? Что въ нашемъ прошедшемъ, кромѣ ботаговъ, кнутовъ, рваныхъ поздрей, рубленыхъ головъ? Куда было намъ, молодежи, пробужденной севастопольскими пушками, обратиться за истиной? Дома ничего. «Домострой», «Судебники» Іоанновъ, двуперстіе бабушки и кокошники прабабушки, и дальше ничего, ровно ничего, ничего того, на что бы могла отозваться душа. Да и что мы, люди изъ народа, получившіе образованіе, къ чему съ насъ брать примѣръ? Намъ все же былъ такой-сякой исходъ, но вотъ и мужики поютъ:

Душа своей пищи проситъ,
Душу надо напитать...

и поютъ такія вещи какъ о Іосафѣ царевичѣ, гдѣ такъ и слышится, такъ и щемитъ сердце этотъ вопль о выходѣ изъ нашей жизни....

Въ нашей, въ русской жизни, само собою разумѣется, пропасть шири, пропасть могучести. Какъ великъ нашъ языкъ, такъ широкъ размахъ нашего народнаго стиха, такъ велики богатыри нашихъ былинъ; во всемъ, сверху до низу, съ права до лѣва слышится біеніе пульса живаго, могу-

чаго, даровитаго, будущности исполненнаго народа, сила встрѣчается на каждомъ шагу... Мужикъ, тотъ же полуграмотный мужикъ Семенъ Ѳедоровичъ толкуетъ о правдоискательствѣ; въ нашихъ селахъ идетъ та страшная умственная борьба, которая выражается въ формѣ сектантства. Въ среднемъ обществѣ мы способны доходить до нигилизмовъ. Наша жизнь не проста, наши силы не дремлютъ, наша мысль не слаба, мы личности не дешевыя, и ужъ чему другому, а въ даровитости какимъ-нибудь французамъ или нѣмцамъ мы не уступимъ. Но наше ненародное воспитаніе, наша отрѣзанность ото всего нашего прошлаго, тотъ разрывъ между отцами и дѣтьми, которымъ каждый изъ насъ прошелъ, не могъ не довести насъ до этого страннаго въ нашей русской исторіи явленія, которое совершилось въ первые годы нынѣшняго царствованія.

Да, насъ подвоспитали такъ, что русская жизнь стала намъ совершенно чужда! И что намъ дали взамѣнъ своего роднаго? Какъ теперь помню одного изъ моихъ наставниковъ, препочтеннаго нѣмца, который пріѣхалъ въ Россію съ весьма честною

цѣлью—быть педагогомъ и на сколько умѣлъ, на столько добросовѣстно исполнялъ эту должность, просвѣщая насъ, дикихъ русскихъ мальчиковъ, выросшихъ, какъ всѣ на подборъ, въ простонародьѣ, гдѣ было болѣе народнаго, мужицкаго, чѣмъ европейскаго. Какъ теперь помню, препочтенный этотъ нѣмецъ совершенно добросовѣстно разсказывая намъ объ Европѣ, объ ея превосходствѣ передъ Россіей, словомъ, показывая новый свѣтъ науки и цивилизаціи, сдѣлалъ такое замѣчаніе:

— Да что, глупые вы русскіе мальчики, развѣ заграницей такъ дѣлается? За границей каждый нищій къ вамъ подходитъ во фракѣ, и даже апельсинная торговка сидитъ въ шляпкѣ и въ шали.

Что наставникъ нашъ не вралъ, каждый изъ бывавшихъ за границей знаетъ весьма хорошо, но слова́ его о томъ, что апельсинныя торговки сидятъ въ шляпкахъ, и что нищіе протягиваютъ руку за копейкой чуть не въ бѣлыхъ перчаткахъ, произвели тогда на насъ, мальчиковъ, сильное впечатлѣніе.

Такъ вотъ онъ этотъ заповѣдный міръ цивилизаціи, гдѣ даже мужика нѣтъ, гдѣ все прилично, гдѣ все хорошо, гдѣ даже нищій богатъ, и гдѣ гнилымъ картофелемъ торгуютъ нарядныя дамы! А нашъ

міръ—міръ скучныхъ книгъ, даже и не скучныхъ, а просто не запрещенныхъ, такъ сухъ, такъ скученъ, такъ невозможенъ! Да, есть что-то, гдѣ-то: можетъ быть, въ томъ же великомъ герцогствѣ Гессенъ-Кассельскомъ, о которомъ мы зубрили по географіи Ободовскаго, извощики на козлахъ и не только, какъ мы слышали, читаютъ они газеты, написанныя, во всякомъ случаѣ, умнѣе нашей «Сѣверной Пчелы», но, можетъ быть, сидятъ они и читаютъ запрещенныя книги, тѣ самыя запрещенныя книги, которыхъ не пускаютъ къ намъ въ Россію, потому что въ этихъ запрещенныхъ книгахъ вся сила, вся слава науки, потому что въ нихъ такія вещи написаны, отъ которыхъ не то, что голова кругомъ пойдетъ, нѣтъ — сердце станетъ сильнѣе биться, изъ которыхъ поймешь тѣ вещи, которыя для насъ скрыты, а развѣ можно легко относиться къ запрещенной книгѣ? Развѣ могъ средневѣковый алхимикъ или магикъ равнодушно слышать, что есть гдѣ-то черная книга «Золотыя слова Пиѳагора», сочиненіе Гермеса? Развѣ можетъ современный ученый, т. е. человѣкъ, у котораго вся мысль задалась извѣстнымъ спеціальнымъ для него вопросомъ, равнодушно думать, что есть возможность

вело на меня рѣшительное вліяніе. Запала простая мысль въ душу: добиться возможности — прочесть эти книги...

Есть въ мірѣ вещи, составляющія тайну для профановъ; не хочешь быть профаномъ, прочти эти страницы, выучи эти языки, разбери эти іероглифы... Что въ этихъ книгахъ написано, о чемъ тамъ говорится,—вопросъ второстепенный, дѣло не важное, вся сила въ томъ, чтобы къ источникамъ знанія подойти, до тайны жизни добраться, а этого всѣмъ намъ молодежи хотѣлось.

Есть былина, новгородская сказка объ удальцѣ-буянѣ, гулякѣ, Васькѣ Буслаевѣ. Поѣхалъ Васька усталый, измученный жизнью, въ Іерусалимъ Богу молиться, но по дорогѣ лежитъ передъ Васькой алтырь-камень, и написано на алтырѣ камнѣ, что скакать черезъ него нельзя, что кто скакнетъ, упадетъ и до смерти расшибется. Не утерпѣла душа Васьки Буслаева, прыгнулъ онъ черезъ алтырь-камень, знаетъ. что расшибется, и расшибся. Такъ и мы знаемъ, что опасно, но русскій человѣкъ правды ищетъ; покуда правды не найдетъ, спокойствія себѣ не имѣетъ, и какой бы алтырь камень не лежалъ, волей-не волей черезъ него ма-

хаешъ. Есть другая пѣсня, то же о нашихъ богатыряхъ. Порубилъ богатырь всякую силу поганую, со всѣми витязь справился, какъ справился, такъ и заговорилъ: «Подавай намъ силу не здѣшнюю» — и вызвалъ, дѣйствительно, не здѣшнюю силу:

...слетѣли двое воителей...
Налетѣлъ витязь на воителей,
И разрубилъ ихъ по поламъ, со всего плеча:
Стало четверо и живы всѣ.
Налетѣлъ на нихъ мóлодецъ
Разрубилъ ихъ по поламъ со всего плеча:
Стало восьмеро — и живы всѣ.
Налетѣлъ на нихъ мóлодецъ,
Разрубилъ ихъ по поламъ со всего плеча:
Стало вдвое болѣе — и живы всѣ...
Не столько витязь ихъ рубитъ,
Сколько добрый конь его топчетъ...
А сила все ростетъ — да ростетъ,
Все на витязя съ боемъ идетъ...

Таковыми то витязями были и мы. Мы вызвали силу не здѣшнюю, несмотря на цензуру, не смотря на тогдашніе строгіе порядки, ни на что въ мірѣ не смотря, для того, чтобъ добиться послѣднихъ тайнъ знанія, послѣднихъ выводовъ мысли, и стали мы мѣриться съ этой силой, и стали держать съ ней бой, не на жизнь, а на смерть. И бой вышелъ не шуточный, часть изъ насъ попала въ Сибирь, дру-

гая часть въ эмиграцію... Положимъ, что мы были не правы, что оторвались отъ того, что народъ называетъ отеческимъ преданіемъ, но оторвались мы отъ него смѣло, откровенно, послѣдовательно, отреклись отъ него съ честью и съ честью встрѣтили тѣхъ загадочныхъ воителей, о которыхъ отцамъ нашимъ только снилось, а съ которыми мы помѣрились, и которыхъ чѣмъ больше рубили, тѣмъ больше ихъ становилось...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

IV.

Правдоискатели. — Русская эмиграція. — Мое заявленіе въ русскомъ генеральномъ консульствѣ въ Лондонѣ.—Зачѣмъ я пріѣхалъ въ Турцію? — Пропаганда. — «Земли и Воли». — Атаманство. — Родовое начало и усобица. — Славяне и Варяги. — Призывъ эмигрантовъ въ Добруджу. — «Колоколъ». — Семенъ Михайловичъ Мудровъ.

Наши литературные судьи относились къ намъ вообще крайне несправедливо. Они казнили насъ за пристрастіе, за непониманіе вопросовъ, за увлеченіе, наконецъ—за молодость и неопытность. Другіе возносили насъ до небесъ за нашу послѣдовательность, за наше пониманіе вопросовъ. Тѣ и другіе, какъ теперь, когда все пережито, оказывается, относились къ намъ одинаково несправедливо... Мы были прежде всего правдоискатели, и искали мы такой правды, какая могла набраться. Мы были весьма послѣдовательны, и если мы пришли къ выводамъ изумившимъ

въ настоящее время не только насъ самихъ, отцовъ этихъ выводовъ, но даже нашихъ несчастныхъ послѣдователей, такъ тяжело расплатившихся за проповѣданныя нами убѣжденія, то мы были, во всякомъ случаѣ, искренни, лжи въ насъ не было и ни у кого изъ насъ, доходившихъ до крайнихъ предѣловъ отрицанія, не было ни одного слова неправдиваго.

Не отрицать мы не могли, и стали мы отрицать все, что только можно было отрицать. Какъ теперь видится мнѣ моя студенческая квартира, гдѣ соберется бывало человѣкъ пять-шесть товарищей, для которыхъ какъ для меня, кромѣ мысли, ничего въ мірѣ не существовало; мысль была для насъ святыня, во имя мысли, во имя правды, мы способны были дойти до всего. Если логическій выводъ потребовалъ бы отъ насъ дойти до отрицанія обоевъ, если бы намъ показалось, что въ комнатѣ, обоями оклеенной, развитому человѣку жить не слѣдуетъ, то мы, разумѣется, не медля переселились бы въ комнату безъ обоевъ или бы сорвали обои.

Какъ это случилось, для чего это случилось— вопросъ, надъ которымъ будущіе историки развитія

русскаго общества остановятся съ недоумѣніемъ, а для насъ все это было ясно. Уваженіе къ старинѣ, къ отеческому преданію мы потеряли; уваженія къ Западу не возъимѣли, потому не возъимѣли, что намъ Западъ представлялся всегда чѣмъ-то идеальнымъ, чѣмъ-то великимъ, а то, что мы видѣли, то, что мы вычитывали изъ книгъ, оказывалось весьма плохимъ. Развитіе человѣческое, послѣднее слово науки и мысли существуетъ только на Западѣ, стало быть, тамъ и надо искать разрѣшенія всякихъ загадокъ, которыя насъ такъ тревожатъ, и искать ихъ надо въ практической жизни Запада, между тѣмъ она осмѣяна этой же самой западной литературой, тѣми самыми запрещенными книгами, и именно въ томъ, что Западъ выработалъ лучшаго. Но въ то же время послѣднее его слово, послѣдняя мысль его — волей-неволей — должна быть для насъ святыней. Не statu quo его завѣтно для насъ, завѣтны его идеалы, завѣтно то, что онъ, если не могъ исполнить, то умѣлъ создать, а это именно и заключается въ его соціалистическихъ идеяхъ и въ послѣднихъ словахъ его философской мысли...

Мы гибли другъ за другомъ, но мы гибли искренно. Можно сказать, что мы были фантазеры, и что тѣ юноши, которые въ настоящее время держатся нашихъ, такимъ тяжелымъ путемъ выработанныхъ догматовъ, заблуждаются, но нельзя ни намъ, ни имъ отказать въ добросовѣстности.

И были же мы казнены, казнены жестоко и безпощадно за наше глубокое довѣріе къ послѣднимъ результатамъ европейской мысли; мы были казнены не только эмиграціей или каторгой, но тѣмъ даже, что многіе изъ насъ — нужно сознаться въ этомъ — потеряли способность ко всякому дѣлу.

Смѣшно сказать, польскіе эмигранты признавали насъ, эмигрантовъ русскихъ—о каторжникахъ я не говорю, потому что плохо знаю ихъ бытъ—польскіе эмигранты смѣялись надъ нами, что мы неспособны ни къ какому дѣлу, что мы неспособны даже къ такимъ пустякамъ, какъ переѣзжать безъ копейки въ карманѣ изъ одного конца свѣта въ другой, какъ устраиваться въ любомъ городѣ, среди любаго народа, вездѣ находиться дома; польскіе бѣгуны смѣялись надъ тѣмъ, что мы трусы, надъ тѣмъ, что мы народъ вообще не-

распорядительный, надъ тѣмъ, что мы эмиграціей нашей ни малѣйшаго толку для дѣла, которому мы себя посвятили, не приносимъ.

И поляки во многомъ отношеніи были правы. — Больно мнѣ разсказывать о домашнихъ дѣлахъ нашей эмиграціи, о томъ, какъ наши гг. эмигранты съумѣли не съумѣть познакомиться и сблизиться съ нашимъ народомъ...

Эмигрантомъ я сдѣлался въ концѣ осени 1859 г., безъ всякой внѣшней причины, безъ всякой цѣли, просто по убѣжденію, что въ этомъ мірѣ таинственныхъ запрещенныхъ книгъ, въ этомъ мірѣ свободнаго слова мнѣ удастся нѣчто вычитать и сообщить Россіи нѣчто новое. Герценъ и Огаревъ, какъ я выше сказалъ, были противъ того, чтобъ я остался эмигрантомъ. Они ясно понимали съ перваго нашего знакомства, что этого новаго мнѣ сказать рѣшительно нечего, уже потому что откопать что-нибудь новое, порохъ выдумать, штука весьма не легкая и не обыденная. Но я остался. Я пошелъ въ наше генеральное консульство добровольно заявить, что я эмигрантъ, потому что духъ времени былъ таковъ, потому что тогда ни я, ни Герценъ, ни Огаревъ, а вся Россія отыскивала на Западѣ раз-

рѣшеніе всѣхъ загадокъ и отыскивала именно на Западѣ, потому, что все, что въ Россіи говорилось и что изъ Россіи могло выйти, было загадочно.

Успокоиться на вопросахъ абстрактныхъ, на вопросахъ метафизическихъ я не могъ. Бываютъ въ жизни народовъ періоды, когда у нихъ общественный пульсъ бьется сильнѣй обыкновеннаго, когда у нихъ кровь кипитъ, когда они вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вырвутся изъ соннаго тока обыденной, эпической жизни, вдругъ заговорятъ живымъ словомъ и вдругъ ринутся въ то страшное правдоискательство, которое холерическими припадками являлось у нѣмцевъ во времена Лютера, у англичанъ при Кромвелѣ, у французовъ во второй половинѣ XVIII вѣка, а у насъ въ крымскую войну,— когда все, такъ мирно спавшее и такъ спокойно самодовольствующее, вдругъ, ни съ того ни съ сего, зашумѣло, зашевелилось и заговорило...

Я сдѣлался эмигрантомъ...

Мнѣ попали случайно въ руки документы о раскольникахъ, которые я издалъ въ Лондонѣ. Логическая консеквенція требовала того, что — назвавшись груздемъ, полѣзай въ кузовъ. Покуда наши революціонеры сидѣли въ четырехъ стѣнахъ и обсуж-

дали, какое вліяніе имѣютъ они на народъ, какъ его можно двинуть, и начертывали планы, какимъ способомъ можно двигать этимъ народомъ, я съѣздилъ въ Россію съ турецкимъ паспортомъ, вслѣдъ за тѣмъ очутился въ Турціи въ средѣ раскольниковъ, на которыхъ, казалось мнѣ, слѣдуетъ дѣйствовать въ нашемъ смыслѣ для общаго блага.

Я ужъ выше говорилъ, что не долго пришлось мнѣ прожить въ Турціи, чтобъ придти къ полному убѣжденію, что взгляды, которые мы исповѣдуемъ, не примутся у народа. Выводъ былъ страшный и вѣрить ему не хотѣлось. Первое время въ Тульчѣ, въ средѣ русскихъ, мнѣ все казалось, что я или ошибаюсь, или не довольно ловокъ, чтобъ сдѣлать что-нибудь путное. Не говорю уже о пропагандѣ,— пришлось разъ навсегда отказаться отъ всякой надежды заставить народъ—а народъ тамъ преимущественно грамотный — читать «Колоколъ» *) и

*) Съ прокламаціями «Земли и Воли», писанными преимущественно для народа, вышла у меня такая исторія, что я совершенно не зналъ, что съ ними дѣлать. Тульча была ими залита; въ частныхъ домахъ сектантовъ поразвитѣе всегда можно было найти эти прокламаціи и, я думаю, можно найти и до сихъ поръ. Въ трактирахъ, наиболѣе посѣщаемыхъ, вездѣ налѣплялись онѣ на стѣны. Я принималъ самыя энергическія мѣры для ихъ

«Общее Вѣче»; даже распространить прокламаціи «Земли и Воли», даже завести школы или какой-нибудь асоціаціи не удалось мнѣ, а асоціаціи въ Тульчѣ были бы чрезвычайно выгодны для русскихъ уже потому только,—что поставили бы малоросовъ—землевладѣльцевъ въ болѣе независимое положеніе отъ мелкихъ законовъ турецкихъ властей о всякаго рода мошенничествѣ,—а великорусовъ оградили бы отъ разбоя солянаго и рыбнаго откупа. Мало того, Задунайская Русь, представителемъ которой я сдѣлался и къ которой искренно привязался, могла бы, если бы можно было согласить народъ, встать въ полунезависимое отношеніе къ Портѣ, къ Молдавіи или Сербіи. Хотѣлось мнѣ этого очень. Загнанный необходимостью, не имѣя другаго отечества, я положилъ поселиться навѣки въ Тульчѣ съ тѣмъ чтобы служить моей новой родинѣ чѣмъ могу. Хоть и подъ турецкой властью, а Добруджа все таки Русь, все-таки я былъ дома, народъ этотъ мнѣ свой, и сре-

---

распространенія, распространилъ и съ удивленіемъ наблюдалъ, какъ — никто ихъ не читалъ!! Никто въ Тульчѣ даже сказать не съумѣетъ въ чемъ состоитъ содержаніе этихъ листковъ, а между тѣмъ они были распространены между толковѣйшими людьми изъ тамошнихъ жителей, которымъ нельзя отказать въ развитости и способности понимать.

ди его я пользуюсь абсолютной безопасностью. Добруджа—край бѣглыхъ; бѣглымъ быть лучше, чѣмъ ссыльнымъ, и мнѣ хотѣлось устроить изъ нея спокойный и теплый уголъ для всѣхъ нашихъ. Собственная воля или вина времени заставила прибѣгнуть русскихъ выходцевъ къ скудному гостепріимству устьевъ Дуная, но мы были, во всякомъ случаѣ, совершенно безвредны для Россіи въ политическомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, относительно внѣшней политики. Подлѣ нея между бродягъ, бѣглыхъ, дезертировъ свили бы мы себѣ мирное гнѣздо, были бы всѣ какъ дома, все слышали бы нашъ русскій языкъ и не были бы лишены возможности видѣть и изучать этотъ народъ, который любили мы такъ искренно и изъ-за желанія блага которому добились политической смерти.

Сдѣлать мнѣ изо всего ничего не удалось, и это поставило меня въ тупикъ. Въ полтора года моего атаманства я только того добился, что не допустилъ до турецкаго суда ни одной тяжбы между русскими, что спасъ отъ раззоренія нѣсколько селъ, въ томъ числѣ города Исакчу и Киллію, выигралъ нѣсколько невѣроятныхъ процессовъ, въ которыхъ сектанты наши были обижены разнаго

рода плутами, исходатайствовалъ имъ двѣ, три льготы, но соединить ихъ въ одно цѣлое, составить изъ нихъ нѣчто въ родѣ васальной республики мнѣ не удалось, и не удалось по странной и въ то же время простой причинѣ. Точно Русь во времена Рюрика, въ Добруджѣ живетъ каждый съ родомъ своимъ, и родъ возстаетъ на родъ. Согласить интересы села Журиловки съ селомъ Слава вещь почти невозможная; такъ съумѣли всѣ перессориться другъ съ другомъ, заподозрить другъ друга въ разныхъ коварныхъ намѣреніяхъ, такъ всѣ они переженились, перекумились и переругались, что, кромѣ личныхъ интересовъ, другихъ за ними не водится. Недовѣрчивость страшная, и полнѣйшая ненависть къ самоуправленію. Я скоро напримѣръ убѣдился, что судиться у своихъ міромъ или, какъ тамъ говорится по-казацки, кругомъ, никто тамъ не станетъ. Кругъ, въ самомъ дѣлѣ, судья плохой: или пристрастенъ до нельзя къ подсудимымъ или, что еще чаще бываетъ, къ сегодняшнему вопросу примѣшиваетъ вчерашнее, даже давно минувшее и за все разомъ воздаетъ должное, по своему крайнему разумѣнію. Паша или мюдиръ (исправникъ) пользуется бо̀льшимъ довѣріемъ и

уваженіемъ, чѣмъ свои собственные старики; къ нему идутъ охотно на судъ, просто потому, что мюдиры люди чужіе, посторонніе, незнающіе ни русскаго языка, ни русскихъ дрязгъ, непонимающіе, почему Гончаръ заслуживаетъ довѣрія болѣе Носа, и почему Дубовый лучше Шмаргуна. Что общаго между Шмаргуномъ, Дубовымъ, Гончаромъ и Носомъ туркамъ все равно; разумѣется, обморочить ихъ нетрудно и нетрудно расположить въ свою сторону, но разсуждаютъ такъ: ужъ коли бить, пусвай бьютъ, да только бы не свои; обида, нанесенная какимъ-нибудь Ахметомъ, Расимомъ, Мустафой, все легче, чѣмъ своимъ попомъ Григоріемъ, Разноцвѣтомъ или Бусуркой.... Какъ примирить этотъ міръ? Какъ сдѣлать изъ него одно цѣлое? Не разъ изумлялся я этой розни нашей Задунайской Руси и всматривался въ нее съ великимъ любопытствомъ. Мнѣ совершенно стало понятно, почему славяне, весь, меря и чудь отправили пословъ къ варягамъ съ покорнѣйшей просьбой: «Судити и княжити ими, земля, дескать, у насъ велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ» Бей, да не свой, сѣдлай, да чужой!— Вотъ необходимая логика всѣхъ подобныхъ краевъ, и Гостомыслъ, дающій отчаянный совѣтъ, что кро-

мѣ варяговъ, чужихъ, иностранцевъ никто не съумѣетъ завести ни суда, ни порядка, былъ — какъ видно — правъ. Мнѣ часто казалось, глядя на эту разношерстную Добруджу, что если вдругъ ни съ того, ни съ сего, здорово живешь, въ одинъ прекрасный день исчезнетъ турецкое правительство и турецкія власти выѣдутъ изъ Тульчи, Исакчи, Киліи, Бабадаги, Мачина, Кюстенджи и прочихъ уѣздныхъ городовъ нашей Добруджи, то мы, представители разныхъ ея племенъ, языковъ, сектъ, съ перваго дня совершенно растеряемся что намъ дѣлать — со втораго—перессоримся, а съ третьяго—выпишимъ откуда-нибудь, если не изъ Россіи, такъ изъ Парагвая, какихъ-нибудь варяговъ, способныхъ засѣсть на мѣсто паши. А между тѣмъ, всѣ мы искренно желали всякихъ пользъ и выгодъ нашему краю, и всѣ имѣли интересъ отстоять его процвѣтаніе!

Наблюдая всѣ эти вещи, я постоянно приходилъ въ недоумѣніе, что жъ это такое дѣлается? Я все полагалъ, что не могу я справиться съ тамошними русскими, мысль весьма естественная для человѣка, которому задуманное дѣло не удается и обидная въ то время, когда имѣешь радужные планы, которые хо-

тѣлось бы примѣнить къ дѣлу и сверхъ того имѣешь еще на столько вліянія и пользуешься такимъ значеніемъ, что высшее турецкое правительство, по всей вѣроятности, не откажетъ въ утвержденіи оныхъ. Много добра хотѣлось сдѣлать, а безсиліе свое передъ этой бранчивой массой русскихъ, которая гибнетъ отъ собственной неурядицы, было слишкомъ явно. — Мнѣ было очень обидно.

Можетъ быть — думалъ я — я, заброшенный въ этотъ странный край, не имѣю силъ *одинъ* съ нимъ справиться? Помощники мнѣ нужны. А помощниковъ взять откуда? Разумѣется, изъ той же нашей эмиграціи, составъ которой такъ быстро сталъ увеличиваться молодежью съ 1861—1862 гг. Я писалъ письмо за письмомъ на Западъ съ разсказами о томъ, что я вижу въ Добруджѣ, съ полнымъ и подробнымъ изложеніемъ моихъ сомнѣній, видовъ, плановъ, надеждъ, признавался въ безсиліи сдѣлать что-либо одному...

Эмиграція, писалъ я,—личное несчастье. Эмигрировать приходится одному за дѣло, другому за пустяки, но что сдѣлаетъ русскій эмигрантъ внѣ Россіи? Западная жизнь собьетъ его съ толку тѣмъ, что заставитъ забыть жизнь русскую, она доведетъ

его до способности перестать понимать Россію. Учащемуся юношѣ жизнь на Западѣ не можетъ вмѣниться въ вину, но человѣку совершеннолѣтнему, мнѣ кажется, лучше было бы ѣхать сюда, въ Добруджу, гдѣ все дико, все вольно, гдѣ просторъ великъ, и гдѣ можно не только сдѣлать добро для русскаго населенія, но даже сдѣлать всякіе соціальные опыты, попробовать осуществить идеалы Овена, Фурье, Кабе! Здѣсь, въ Добруджѣ, можно заводить даже гимназіи, хоть университеты открывать, не спрашивая ни чьего разрѣшенія. Жизнь дешева, нужда въ людяхъ, свѣдущихъ въ тройномъ правилѣ, въ вычисленіи процентовъ, и тому подобныхъ премудростяхъ безгранична, стало-быть, эмигрантъ, которому на Западѣ нечѣмъ жить, а тѣмъ болѣе дѣлать нечего, который знаетъ два-три языка — край нашъ многоязыченъ — пусть идетъ сюда ко мнѣ: ручаюсь, что безъ занятія онъ не останется, и что если захочетъ дѣлать какіе-нибудь соціально-политическіе опыты и развивать какія-либо идеи, то почвы лучше здѣшней нигдѣ не найдетъ. Русскій мужикъ, тотъ самый народъ, о которомъ мы такъ хлопочемъ, и въ который мы такъ вѣримъ, здѣсь будетъ находиться у него подъ

руками внѣ всякихъ государственно-полицейскихъ стѣсненій. Здѣсь можно заводить любыя асоціаціи, комуны, все, что угодно, проповѣдывать какія угодно идеи. Пусть ѣдутъ, мнѣ одному здѣсь не справиться.

Пусть читатель вдумается въ мое тогдашнее положеніе, пусть онъ представитъ себя отставнымъ революціонеромъ, занесеннымъ судьбою въ Турцію и не потерявшимъ вѣры въ тѣ идеалы, за которые стольніе страдали, и которые остаются до сихъ поръ неразрѣшенными, потому что не были провѣрены на практикѣ, и онъ оправдаетъ меня, за то, что я хотѣлъ ихъ провѣрить: нельзя жъ, въ самомъ дѣлѣ, отрицать что-либо или утверждать, не изслѣдовавъ серьёзно, нельзя придти ни къ прогрессивнымъ, ни къ ретроградным убѣжденіямъ, не провѣривъ вопроса...

Ко мнѣ никто не ѣхалъ, ни эмигрантъ, ни путешественникъ... Убѣжденія «Колокола» были въ силѣ, вошли въ теорію. Предъ «Колоколомъ» все преклонялось, въ либерализмъ все вѣрило безусловно, а провѣрить—ни у кого не хватало охоты. Говорили — знамя, религія, сектантами себя называли и — не провѣряли.

Въ страшное сомнѣніе пришелъ я на берегахъ Дуная...

Я звалъ—не ѣхали...

Какъ-то разъ, помнится, въ іюлѣ 1864 г. сидѣлъ я погруженный въ тѣ страшные вопросы о состоятельности и несостоятельности тѣхъ идей, на которыхъ мы основываемся, какъ мимо окна по персиковому моему саду мелькнула незнакомая мнѣ фигура въ европейскомъ костюмѣ, и вошелъ незнакомый мнѣ господинъ, очевидно, не изъ моихъ новыхъ земляковъ.

— Вы г. Кельсіевъ?

— Я.

— Письмо къ вамъ изъ Лондона.

Въ письмѣ говорилось, что податель онаго русскій эмигрантъ Семенъ Михайловичъ Мудровъ *), пострадалъ «за правое дѣло», не нашелъ себѣ ничего опредѣленнаго въ Западной Европѣ и, какъ человѣкъ, не знающій языковъ, посланъ ко мнѣ для того, чтобъ я пріютилъ его какъ-нибудь въ Тульчѣ.

---

*) Настоящаго имени его не пишу, потому что имѣю причины на то.

Обрадовался я крѣпко. Я чуть-чуть не прыгнулъ на шею Семену Михайловичу. Это былъ человѣкъ довольно высокаго роста, широкій въ плечахъ, бѣлокурый, съ некрасивымъ, но весьма выразительнымъ лицомъ. Длинные волосы и синіе очки придавали ему видъ студента; лѣтъ ему было не болѣе двадцати шести.

— Вы откуда жъ это пріѣхали?

— Изъ Парижа черезъ Марсель, только сегодня, сію секунду очутился въ Тульчѣ. Мнѣ передали, что здѣсь можетъ найтись пріютъ для русскихъ эмигрантовъ; и я отправился.

— Садитесь, садитесь. Обѣдали-ли?

— Я много объ васъ слышалъ, объ вашемъ несчастіи, что вы потеряли брата, и ѣхалъ сюда съ полной готовностью дѣлать дѣло. Мнѣ говорили, что край этотъ русскій, и дѣйствительно, кромѣ русскихъ я никого не вижу здѣсь, такъ мнѣ и не вѣрится, что я въ Турціи. Я пріѣхалъ съ готовностью работать, не только въ политическомъ отношеніи, но даже въ житейскомъ. Состоянія у меня нѣтъ, охота къ труду — большая, мнѣ нужно отыскать себѣ новое отечество...

Словомъ, я пришелъ въ восторгъ отъ Семена Михайловича.

— Вы, должно быть, изъ студентовъ?

— Нѣтъ, я офицеръ.

— По какому же вы дѣлу?

(По какому вы дѣлу, на эмигрантскомъ языкѣ значитъ, въ чемъ вы попались и почему залѣзаете въ такія Палестины, какъ Парижъ, Лондонъ, Женева, Царьградъ, Тульча).

— Я по польскому дѣлу.

— Какъ же это васъ, Семенъ Михайловичъ, угораздило?

— Нельзя же было поляковъ рѣзать; не сочувствовать имъ, какъ вы сами согласитесь, было невозможно. Намъ было велѣно выступить противъ нихъ, я бросилъ службу, потому что считалъ не честнымъ драться противъ поляковъ или вступить въ ихъ ряды драться противъ нашихъ, перебрался въ Познань, скрывался тамъ въ одномъ помѣщичьемъ семействѣ мѣсяца два, затѣмъ, когда прусская полиція стала строго обращаться съ эмигрантами, уѣхалъ въ Парижъ и былъ учителемъ военной гимнастики въ Ecole des Batignolles, въ польской школѣ, знаете ее?

— Знаю.

Мы немедленно сочлись общими знакомыми по польской эмиграціи въ Парижѣ.

— Въ Парижѣ мнѣ, разумѣется, не видѣлось никакой дѣятельности, кромѣ крохотнаго дохода; здѣсь у васъ, какъ мнѣ сообщили, такой большой просторъ дѣятельности, вы завели здѣсь тайное общество изъ раскольниковъ, вы имѣете отсюда вліяніе на Россію, распространяете прокламаціи «Земли и Воли» (тѣ самыя, объ успѣхѣ распространенія которыхъ я разсказывалъ выше), и здѣсь можно легко найти кусокъ хлѣба.

— Да вотъ видите, Семенъ Михайловичъ, кусокъ хлѣба здѣсь найти можно, но на бѣду вашу вы не знаете языковъ.

— Это пустяки, кто десять лѣтъ ходилъ съ полкомъ, тотъ привыкъ ко всему, тотъ самъ съумѣетъ работать. Я не аристократъ, аристократизмъ мнѣ ненавистенъ, я готовъ хоть сапоги шить.

— Да, оно такъ, хоть я демократъ не изъ крайнихъ но, пожалуй, и я бы сталъ сапоги шить, если нѣтъ другаго средства существованія, но для того надо умѣть ихъ шить, а не умѣя ничего не сдѣлаешь. Это великое счастье умѣть сапоги шить или умѣть

дѣлать сапожные гвоздики, какъ тотъ Бурбонъ въ Женевѣ. Къ сожалѣнію, ни васъ, ни меня, этому не обучали. При всемъ нашемъ демократизмѣ, мы все-таки баре.

— Эхъ, кто десять лѣтъ проходилъ съ полкомъ, тотъ имѣлъ случай всему научиться. Сверхъ того, я умѣю дѣлать чернила.

— Увы, въ здѣшнемъ блаженномъ краѣ въ чернилахъ нуждаются менѣе всего. Мнѣ горько васъ разочаровывать.

— Я умѣю ваксу дѣлать.

— Ну, вакса здѣсь, пожалуй, пригодится. Только прежде всего, вакса-ли, шитье-ли сапогъ, чернила-ли, отдохните съ дороги и присмотритесь. Поселяетесь вы, разумѣется, у меня...

Если я такъ подробно сталъ разсказывать о Семенѣ Михайловичѣ и о происшествіяхъ, въ которыхъ онъ со многими другими польскими и русскими эмигрантами былъ со мной замѣшанъ, то прежде всего потому, что я не могу равнодушно относиться къ тѣмъ личностямъ, съ которыми мнѣ приходилось проводить время также неизбѣжно, какъ Робинзону съ его Пятницей...

Десять лѣтъ съ полкомъ ходившій Семенъ Ми-

хайловичъ водворился у меня и тутъ же началъ меня допрашивать, какъ либералъ либерала, герой героя, эмигрантъ эмигранта, насчетъ заведеннаго мною тайнаго общества въ Тульчѣ. Тайное общество въ Тульчѣ было бы для меня чрезвычайно лестно, потому что все-таки мнѣ вѣрилось въ возможность что-нибудь сдѣлать, и все мнѣ казалось что, по моей крайней неспособности, ничего сдѣлать нельзя. Но, увы, никакого ни тайнаго, ни явнаго въ Тульчѣ общества мною, къ прискорбію Семена Михайловича, — заведено не было... затѣмъ въ сознаніи своего безсилія я предоставилъ Семену Михайловичу дѣлать все, что ему угодно, если онъ умѣетъ. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ человѣкъ свѣжій съумѣетъ распорядиться матеріаломъ, изъ котораго я ровно ничего не могъ слѣпить, и сталъ наблюдать его...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

V.

Зало. — Проклямація. — Тульчанская аристократія. — Фармазоны. — Книга попа Кузьмы. — Обрядность. — Женскій костюмъ. — Прогрессивная такса. — Новая теорія обращенія земли вокругъ солнца. — Новое спряженіе французскихъ глаголовъ.

Семенъ Михайловичъ былъ интересный предметъ моего наблюденія въ Тульчѣ. Два изгнанника, два потерянныхъ человѣка сошлись въ городѣ, который въ географіи извѣстенъ только тѣмъ, что въ немъ бывали наши войска, и тѣмъ, что всѣ холмы и долины около него облиты нашей и турецкой кровью. Край глухой, хаты тонутъ въ персиковыхъ садахъ; безчисленное множество мельницъ съ утра до вечера машетъ крыльями, сектантскіе напѣвы звучатъ; семъ, восемъ разныхъ языковъ слышится на улицѣ, двугорбый верблюдъ медленно вытягиваетъ свои мягкія, какъ кисель расплывшіяся лапы... Все тихо, дико, никакія идеи сю-

да не забирались; извѣстія объ образованномъ мірѣ залѣзаютъ тремя, четырьмя довольно печальными греческими, болгарскими, да цареградскими французскими газетами. «Сынъ Отечества» читается молоканскимъ купцомъ, да старообрядческимъ архіереемъ, которые, не сходясь ни въ одномъ догматѣ вѣры, сошлись на томъ, что каждый изъ нихъ раскошелился по два рубли въ годъ. Общество такъ называемыхъ европейцевъ таково, что полчаса посидя съ ними, задохнешься. Кругомъ все пусто, дикія персиковыя деревья въ саду растутъ; волы со всѣхъ сторонъ мычатъ, несмѣтныя тучи саранчи носятся надъ головами, камышъ шумитъ, глухо... И нѣтъ въ этомъ мірѣ никого, съ кѣмъ бы можно было поговорить, кромѣ Семена Михайловича.

— Такъ у васъ здѣсь ничего не устроено?

— Ничего, Семенъ Михайловичъ. Развѣ вы какъ-нибудь съумѣете...

— Да, если бы была здѣсь возможность проповѣдывать, я бы, разумѣется удивилъ ихъ. Нѣтъ ли здѣсь какихъ-нибудь залъ, что ли, для проповѣди, гдѣ можно было бы говорить рѣчи?

— Залъ нѣтъ, есть всего одна зала въ болгар-

скомъ клубѣ, но казаки мои почтенные туда не ходятъ, и никакимъ калачемъ вы ихъ туда не заманите. Собираются они, правда, въ чайной, у Ахметки татарина, въ корчмѣ у Филимона Балбакова, да у Лейбы-жида.

— Нѣтъ, нѣтъ, въ корчмѣ нельзя.

— Само собою разумѣется, въ корчмѣ нельзя, хотя побывать тамъ я вамъ совѣтую. Одинъ поляченокъ раздобылся у меня прокламаціями «Земли и Воли» и преусерднѣйшимъ манеромъ во всѣхъ этихъ заведеніяхъ налѣпилъ ихъ на стѣны.

— О, такъ вы, стало быть, ведете пропаганду.

— Ну вотъ побывайте и посмотрите, какъ успѣшно она у меня идетъ. Можетъ быть, вы что-нибудь и сдѣлаете.

— Ну что же, читаютъ?

— Даже и не читаютъ, а если и прочитаютъ, то развѣ для упражненія въ чтеніи, для курьёза.

— Не понимаютъ, что ли? Можетъ быть, тяжело написано?

— Нѣтъ, написано не хитро, понять могутъ; и каждую отдѣльную фразу понимаютъ, но не сочувствуютъ.

— Не съумѣли вы сдѣлать!

— Не спорю, сдѣлайте вы.

— Не можетъ же быть, чтобъ относились такъ-таки равнодушно?

— Да не совсѣмъ равнодушно относятся, а говорятъ, что бунтовщики и фармазоны написали эти листы, для того, чтобъ смутить народъ; говорятъ, что и безъ того страха на свѣтѣ нѣтъ, и что балуются, и что, говорятъ, ужъ совсѣмъ баловство будетъ, если такіе порядки пойдутъ.

— Ну я распоряжусь иначе, я не даромъ десять лѣтъ съ полкомъ проходилъ.

— Гдѣ бы хоть площадь такую выбрать, гдѣ можно было бы живымъ словомъ на нихъ подѣйствовать? Вы, Василій Ивановичъ, человѣкъ распорядительный. Отыщите мнѣ мѣсто.

— Я даже, Семенъ Михайловичъ, отыскивать вамъ не стану, а вотъ ужъ я самъ давно присматриваюсь. Вотъ этотъ погребъ на дворѣ, посмотрите, какъ ловко врытъ онъ въ землю, и какъ великолѣпно держится надъ нимъ эта дерновая крыша, точно лѣстница; встаньте-ка на нее, вы чуть не на сажень будете надъ вашей публикой. Оттуда лучше проповѣдывать, а еще кругомъ васъ эти персиковыя деревья, эти крытыя соломой, какъ

снѣгъ бѣлыя дворовыя постройки, видъ великолѣпный. Соберите народъ, хоть я здѣсь до нѣкоторой степени начальствующая особа, но леварюцію такую не помѣшаю вамъ сдѣлать, даже покрою всѣ ваши опыты. Но только окажите мнѣ эту дружбу, соберите народъ.

— И соберу, разумѣется, соберу.

— Годъ срока я вамъ даю, чтобъ человѣкъ пятьдесятъ собралось слушать что-нибудь о политикѣ.

Съ недѣлю Семенъ Михайловичъ побѣгалъ.

Въ первое знакомство, не для этой цѣли, въ успѣхъ его проповѣди и въ примѣненіе дерновой крыши моего погреба я рѣшительно не вѣрилъ, я старался ввести его въ общество нашей Тульчанской аристократіи: торговцевъ посудой, желѣзомъ, мельниковъ, крендельщиковъ, кузнецовъ побогаче.

Семенъ Михайловичъ ничего не устроилъ.

— Вы не такъ принялись.

— Я десять лѣтъ съ полкомъ проходилъ и поэтому простой народъ знаю лучше васъ. Вы меня не предупредили, т. е. предупредили, но вниманія моего не обратили на то, что здѣсь раскольники. Политической проповѣдью, разумѣется, съ

ними ничего не подѣлаешь, а надо проповѣдь религіозную.

— Доброе дѣло, Семенъ Михайловичъ, если вы только отъ писанія сильны, толкуйте.

— Я очень хорошо былъ знакомъ съ евангеликами...

(Такъ называлъ онъ съ польскаго протестантовъ).

— Да, хорошо, знакомы-то вы знакомы, но писаніе-то читали-ли вы?

— Ну, разумѣется, читалъ.

— А знаете вы разницу между посланіемъ къ Коринѳянамъ и къ Галатамъ?

— Ахъ, этого не нужно вовсе, я для нихъ придумаю новую секту, которая ихъ удовлетворитъ.

— Какая же это будетъ?

— Во-первыхъ, Бога я не признаю.

— Ну, такъ за вами народъ не пойдетъ.

— Отчего не пойдетъ?

— Оттого, Семенъ Михайловичъ, что превеликій вздоръ вы говорите и говорите ни мало не зная здѣшняго населенія...

— Да что же, развѣ здѣсь не люди живутъ?

— Нѣтъ, люди—то люди, да еще народъ, который въ понятіи состоитъ, образованными людьми себя называетъ и, во всякомъ случаѣ, просвѣщеннѣе обыкновеннаго русскаго мужика. Но если вы начнете отрицатъ имъ Бога, то ужъ не знаю, какъ васъ заклеймятъ. Я состою у нихъ въ званіи фармазона. Что такое фармазонъ, они не знаютъ, но представляютъ себѣ подъ этимъ словомъ, что-то самое невѣроятное. Спрашивали меня: давалъ ли я на черепѣ, на ядѣ и на кинжалѣ присягу? Въ Славскомъ скитѣ, изволите видѣть, есть какая-то книга ученаго попа Кузьмы, въ которой разсказывается о карбонаріяхъ, о масонахъ и еще о комъ то, какъ даютъ они присягу съ разными обрядами. Поэтому наше здѣшнее населеніе совершенно увѣрено, что всякія прокламаціи печатаются людьми, которые на черепѣ, на ядѣ и на кинжалѣ даютъ присягу, и къ этому еще портретъ свой снимаютъ. Если этотъ портретъ проколоть булавкой въ сердце, такъ присягнувшій умретъ, и считаютъ фармазонами не только меня, но даже скопцовъ, а есть-ли какая нибудь связь между моими мнѣніями и скопческими они и знать не хотятъ! И такъ если вы,

ужъ хотите воздѣйствовать на ихъ вѣрованія, такъ нелѣпости, вами затѣваемыя, бросьте...

— Но помилуйте, — говорилъ мнѣ мой товарищъ — поступать необходимо чисто и ясно, надобно искоренять всякія суевѣрія!

— А я вамъ скажу, Семенъ Михайловичъ, что не только народъ, а весь многоуважаемый родъ человѣческій безъ вѣры обойтись не можетъ; можетъ перестать слѣдовать какому-нибудь филипповскому согласію; ну такъ по ѳедосѣевскому пойдетъ;—изъ толка брачниковъ выйдетъ — въ толкъ безбрачниковъ войдетъ. Загнемте-ка съ вами еще подальше. Перестанутъ быть искренними роялистами, — сдѣлаются искренними республиканцами. Человѣкъ, который кажется самымъ крайнимъ отрицателемъ, непремѣнно передъ чѣмъ нибудь-да благоговѣетъ; считаетъ себя невѣрующимъ, а святыню носитъ въ сердцѣ; въ церковь ходить перестанетъ, а всѣмъ на свѣтѣ готовъ напримѣръ поступиться во имя идеи, что брачной жизнью не слѣдуетъ жить, а дойдетъ въ то же время до того, что полюбитъ женщину всей душой, но на бракъ руки не протянетъ и предложитъ ей сдѣлаться его любовницей во имя убѣжденія! Пробуйте, въ Тульчѣ вамъ здѣсь воля воль-

ная; я не только мѣшать не стану — покрывать стану, и любопытно мнѣ было бы видѣть, какъ вы тутъ сдѣлаете.

— Ну, объяснялъ мнѣ Семенъ Михайловичъ, въ этомъ частномъ вопросѣ относительно вѣры я вамъ, пожалуй, уступку сдѣлаю, пусть себѣ вѣрятъ; но знаете, чтобъ было бы безъ всякихъ внѣшнихъ обрядовъ.

— Невозможно, Семенъ Михайловичъ.

— Нѣтъ, по моему, совершенно возможно обойтись безъ лишнихъ обрядностей, чтобъ все это было основано на разумныхъ началахъ!

— Невозможно.

— Толкуйте, я десять лѣтъ съ полкомъ проходилъ, а это чего-нибудь да стоитъ! Въ подробностяхъ вы, можетъ быть, правы, потому что вы спеціалистъ, и изучаете вы, какъ я вижу, вопросы довольно серьезно, но у васъ нѣтъ той практики, которую даетъ военная служба...

Я ничего не преувеличиваю. Я разсказываю объ этомъ господинѣ такъ, какъ было, и не потому привожу его въ примѣръ, чтобъ сотоварищъ мой былъ очень хитеръ, и чтобъ его мнѣнія и образъ дѣйствій въ чемъ-нибудь походили на мнѣнія и образъ

дѣйствій людей, которые считаютъ себя серьезнѣе, развитѣе и умнѣе, но онъ драгоцѣненъ для меня, какъ крайне-грубое, начерченное рѣзкими чертами изображеніе нашихъ дѣятелей... Все у него выходило до такой степени угловато и топорно, что нельзя мнѣ не остановиться передъ его личностью. Это былъ прогресистъ въ буквальнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Есть портреты, которые вовсе не похожи на тѣхъ лицъ съ которыхъ сниманы, до того, что если поставить подлѣ нихъ оригиналъ, то и узнать нельзя; но въ тоже время всѣ черты лица, губы, носъ, ротъ, глаза, уши выходятъ до такой степени крупно, что засмотрѣвшись на подобное произведеніе артиста все на свѣтѣ забудешь, но не забудешь того, что дѣйствительно нарисованы были уши, глаза, носъ, ротъ и губы.

Семенъ Михайловичъ все отрицалъ: все старое и обыденное было плохо и никуда не годилось. Какъ то утромъ сидимъ мы съ нимъ за чаемъ. Покойная жена моя, входя въ комнату, зацѣпилась за что-то платьемъ, и оно порвалось.

— Ахъ, противныя наши женскія платья, сказала она,—хоть бы выдумали для насъ какой-нибудь другой костюмъ.

— Да вѣдь выдумала же для васъ мистриссъ Блюмеръ, замѣтилъ я, небось не приняли.

— Кто это такая была мистриссъ Блюмеръ? спросилъ Семенъ Михайловичъ.

— Американка она была, сочинила женскій костюмъ, довольно похожій на мужской и, по моему, довольно красивый.

— А, разумѣется, женскій костюмъ—безобразіе. Я вамъ — обратился онъ къ моей женѣ — сейчасъ нарисую, какой костюмъ должны были бы носить женщины.

Неуспѣли мы опомниться, какъ на бумагѣ было нарисовано что-то невѣроятное: какой то сюртукъ или пальто, какіе то брюки, шляпа, зонтикъ и тутъ же выслушали мы цѣлую лекцію объ отсталости рода человѣческаго, объ его неумѣньи что либо устроить, и о томъ, какъ личности свѣтлыя и прогрессивныя находятъ мало сочувствія въ обществѣ.

Страсть къ усовершенствованіямъ, страсть къ прогресу, неуваженіе ко всему старому и общепринятому доходило у него до невѣроятныхъ размѣровъ! Въ мелочахъ, въ пустякахъ отрицалъ онъ все существующее.

Входитъ разъ горничная и спрашиваетъ у меня деньги на ваксу. Кому придетъ въ голову, что можно отрицать ваксу? У Семена Михайловича прогресъ дошелъ до того, что онъ чуть-чуть не вырвалъ у меня изъ рукъ монету, которую я отдавалъ нашей Ганнѣ на ваксу, призналъ посылку Ганны за ваксой за личную обиду и сталъ мнѣ доказывать, что онъ, проходивъ десять лѣтъ съ полкомъ, пришелъ къ убѣжденію, что вакса портитъ всякіе сапоги, и что ваксу въ домѣ держать опасно, потому что былъ у него въ Варшавѣ деньщикъ, который запачканные черные мундирные брюки вычистилъ сапожной щеткой и ваксой, изъ чего слѣдовало, что при неразвитости простонародія, изъ котораго состоитъ наша прислуга, подобныхъ опасныхъ вещей дома держать не слѣдуетъ. Затѣмъ, такъ какъ всѣ фабриканты и вообще всякіе производители, по неразвитости своей, народъ корыстный, то въ ваксу кладутъ что-то такое, съѣдающее сапожную кожу, чѣмъ даже можно отравиться, не говоря о томъ, что можно испортить сапоги. Примѣръ приводился какого-то, помнится, драгунскаго капитана, которому не спалось ночью въ деревнѣ, и какъ-то онъ, проголодав-

шись, захотѣлъ ѣсть, пошелъ отыскивать икру и, въ торопяхъ, намазалъ на хлѣбъ ваксу, вслѣдствіе чего па нѣсколько дней разстроилъ свое здоровье. Кончилось все это тѣмъ, что ваксу мнѣ было позволено купить только на этотъ разъ.

Семенъ Михайловичъ объявилъ, что онъ пріобрѣтя большую опытность въ своихъ десятилѣтнихъ хожденіяхъ съ полкомъ, умѣетъ самъ дѣлать ваксу и тутъ же отправился за матеріаломъ для этой фабрикаціи.

Коробочка ваксы, даже въ Тульчѣ, стоитъ не дороже гривенника. Семенъ Михайловичъ притащилъ матеріаловъ рубля на три. Во имя прогреса житья не стало дома; всюду дегтемъ пахнетъ, на печи наставлены огромныя полуведерныя бутыли съ какими-то прогрессивными составами, которые лопаются, брызжатъ, что-то черное попадаетъ въ супъ, словомъ, Семенъ Михайловичъ задумывается и говоритъ, что ошибка произошла потому, что не было у него вѣрныхъ вѣсовъ, и что онъ нѣсколько забылъ пропорцію составовъ...

Не вѣрилъ онъ ни во что, и это невѣріе стоило мнѣ что-то цѣлой недѣли, если не больше, удовольствія разсуждать объ — обращеніи земли вокругъ

солнца! Привезъ онъ съ собою изъ Парижа какъ-то доставшійся ему нашъ обыкновенный, академическій мѣсяцесловъ. Я не математикъ;—вѣрилъ и до сихъ поръ на слово вѣрю, что земля обращается вокругъ солнца въ 365 дней, 6 часовъ, 6 минутъ, 6 секундъ и, если не ошибаюсь, 6 терцій. Такъ ли это, не такъ ли — спорить не стану и даже диктуя эти строки, не сдѣлаю лишняго шага къ моему письменному столу справиться въ мѣсяцесловѣ: дѣйствительно ли подобная операція совершается въ вышеозначенное время? Семенъ Михайловичъ почему то былъ очень чувствителенъ къ этому вопросу. Какими-то невѣроятными вычисленіями онъ приходилъ къ совершенно другимъ выводамъ. Ему хотѣлось, во имя цивилизаціи и прогреса человѣчества, помирить григоріанское счисленіе съ юліанскимъ, потому что разница производитъ дѣйствительное неудобство. Сказалъ ли ему кто или вычиталъ онъ гдѣ, но зналъ онъ то, обще-извѣстное обстоятельство, что и то и другое счисленіе невѣрно, и рѣшился примирить ихъ — для блага рода человѣческаго и для того, чтобъ не было вражды между русскими и западно-европейцами вообще и поляками въ особенности.

Авторитетовъ онъ не уважалъ, поэтому никакимъ астрономамъ невѣрилъ. Онъ былъ человѣкъ новый, а потому рѣшился наблюдать все это самъ и сидѣлъ за этимъ цѣлыя ночи. Каждое утро, какъ я бывало сажусь за чай, отворяется дверь, входитъ Семенъ Михайловичъ и объявляетъ мнѣ, что въ сію ночь сіе открытіе изволило послѣдовать благополучно, приноситъ нѣсколько листовъ вычисленій и объявляетъ, что земля на прогулку свою вокругъ солнца употребляетъ ровно 340 дней, 11 часовъ, 7 минутъ, 12 секундъ и $1^1/_2$ терціи. Я прихожу въ сомнѣніе и начинаю безпокоиться, что годъ выходитъ больно ужъ коротокъ.

Семенъ Михайловичъ конфузится и находитъ ошибку въ вычитаніи, бѣжитъ въ свою комнату, и чрезъ полчаса я узнаю опять невѣроятную вещь, которая меня еще болѣе повергаетъ въ смущеніе, что годъ оказывается въ 389 дней, 15 часовъ, 4 и $^1/_{100}$ секунды. Возраженія дѣлаю я такія, какія дѣлаютъ люди, не имѣющіе особенно сильныхъ математическихъ способностей и даже не имѣющіе понятій о всякихъ функціяхъ, интегралахъ и тому подобныхъ таинствахъ математики. Но спорю я смѣло, потому что мои математическія свѣдѣнія все

же, — если не выше, то никакъ и не ниже свѣдѣній моего единственнаго друга въ Тульчѣ. Ошибка оказывается на этотъ разъ не въ вычитаніи, а въ дѣленіи, и возникаетъ вопросъ: какимъ путемъ лучше сдѣлать подобное вычисленіе?

Я ужъ духомъ упалъ, смирился, потому что съ утра до вечера нѣтъ же возможности доказывать несостоятельность фантазій моего сотоварища. Притомъ я усталъ вообще ото всего, черныя думы охватили душу, а Семенъ Михайловичъ находитъ, что великая загадка разъяснилась бы, если бы онъ съумѣлъ сдѣлать вычисленіе при помощи извлеченія квадратныхъ корней, каковую операцію онъ совершенно забылъ и которую и я плохо помню. Я сажусь показывать ему извлеченіе квадратныхъ корней...

Привезъ онъ съ собою изъ Парижа азбуку для всѣхъ языковъ. Въ русскомъ онъ плохо постигалъ значеніе буквы *ѣ* и разницу между *везти* и *вести*, и не весьма доступно было ему употребленіе *о* и *а*, такъ что для него не совсѣмъ извѣстно было, какъ слѣдуетъ писать: *голова, галова, ґолава* или просто *галава*. По этому случаю онъ принялъ для русскаго языка латинскую азбуку съ польской орѳографіей и убѣждалъ меня послѣдовать его системѣ.

— Семенъ Михайловичъ, — робко говорю я — если ужъ, въ самомъ дѣлѣ, правописаніе мѣнять— на что я причины никакой не вижу — то лучше же наше правописаніе сблизить съ старославянскимъ; тогда выйдетъ толкъ и толкъ серьезный, потому что славянское правописаніе такъ послѣдовательно, что если бы мы придерживались его, то наша литература стала бы доступнѣе всякимъ чехамъ, сербамъ, болгарамъ и другимъ нерусскимъ славянамъ. Буквы *ѣ* и *о* драгоцѣнности нашей азбуки.

— Отсталость, говоритъ онъ — надо писать такъ, какъ говоримъ.

Мнѣ ужъ и спорить тяжело стало...

Самое лучшее было наблюденіе Семена Михайловича надъ духомъ и составомъ французскаго языка, которому онъ немножко понаучился въ Парижѣ.

Прихожу я какъ-то домой. Въ комнатѣ Семена Михайловича слышенъ голосъ одного моего пріятеля казака, Зеновея Яковлевича ,котораго онъ поймалъ гдѣ-то на улицѣ, затащилъ къ себѣ и сталъ развивать. Развивалъ онъ его именно тѣмъ, что обучалъ латинской азбукѣ и французскому языку. Я вошелъ и, признаюсь, залюбовался, какъ этотъ казакъ учится у моего друга, помощника и един-

ственнаго соотечественника въ этомъ краѣ читать по французски, и какъ тотъ посвящаетъ его въ спряженіе глагола *être*....

Чтобъ понять всю глубокую комичность этой штуки надо сказать, что ни одно мое фармазонство такъ несмущало эту Задунайскую Русь, какъ-то, что я объяснялся съ пашей по французски и на французскомъ языкѣ составлялъ ему докладныя записки по всякимъ дѣламъ, касавшимся казаковъ. Имъ все казалось, что тайна моей силы и моего вліянія заключается именно во французскомъ языкѣ, и что объясняясь съ пашой по турецки, я бы ни одного дѣла не выигралъ. Поэтому казаки являлись ко мнѣ другъ за другомъ съ просьбой выучить ихъ по французски.

— Кабы энта я по-французски зналъ, — говаривалъ мнѣ бывало какой-нибудь Зиновей Яковлевичъ, цѣлый бы свѣтъ я повернулъ...

И что я, между прочимъ оставилъ въ этомъ краѣ по себѣ, это—безграничное уваженіе къ французскому языку. Всѣ эти Гончары, Носы, Бусурки, Дубовые, Шмаргуны, — одинъ за другимъ, вызывались даже платить мнѣ, чтобъ я только выучилъ ихъ по-французски.

Плохой педагогъ вообще, я за это не брался, да и какъ выучить французскому языку сорокалѣтняго казака, который русскую грамоту-то знаетъ довольно плохо, начавши свое образованіе часословомъ и заключивъ оное псалтыремъ.

Семенъ Михайловичъ мой не затруднялся, сидитъ—и заставляетъ спрягать казака глаголъ être: j'étais, tu étais, il était, ell'éta (était).

Мнѣ стало конфузно и совѣстно.

— Откуда вы, батенька мой, замѣтилъ я отводя Семена Михайловича въ сторону, —elle éta (était) выкопали?

— Какъ же, вѣдь женскій родъ il était — онъ былъ, elle éta (était) она была.

— Да помилуйте, чему вы его учите? Во французскомъ imparfait не имѣетъ особаго окончанія.

— Разсказывайте! Я въ нынѣшнемъ году только изъ Парижа пріѣхалъ, такъ я французскій языкъ слышалъ мѣсяца три тому назадъ, а вы ужъ два года, какъ во Франціи не были!...

Не съ кѣмъ мнѣ было въ Тульчѣ говорить. Единственное развитое существо, которое тамъ было, братъ мой Иванъ, было ужъ на томъ свѣтѣ. Потеря была такъ страшна, что развѣ только че-

ловѣкъ терявшій пойметъ, почему я бросился на шею Семену Михайловичу, когда тотъ явился въ Тульчу. — Безъ брата, при видѣ его могилы, торчавшей на горѣ, подъ которой построена русская церковь, приходилось мнѣ плохо, а не видѣть этой горы и могилы брата нельзя было, потому что православное кладбище приходилось на горѣ прямо противъ моихъ оконъ....

Въ острогѣ нѣсколько разъ припоминалъ я Семена Михайловича, припоминалъ потому, что-то же одиночество, которое я испытывалъ въ Тульчѣ, вновь вызывало нужду имѣть около себя что-нибудь живое, собаку, птицу, паука наконецъ. Вотъ такой-то собакой, птицей, паукомъ былъ для меня въ Тульчѣ Семенъ Михайловичъ, и былъ для меня загадкою потому именно, что въ немъ отражалось все, что проводилось нами, такъ называемыми нигилистами, отражалось такъ грубо и пошло, какъ человѣкъ умный и даже очень умный Жанъ Жакъ Руссò отразился въ Мирабó, въ человѣкѣ весьма умномъ и порядочномъ, съ которымъ каждый потолковалъ бы съ удовольствіемъ. Мирабó, въ свою очередь, отразился въ Робеспьерѣ, Робеспьеръ въ Сантерѣ, Сантеръ въ какомъ-нибудь санкюлотѣ, и все

то благородное и высокое, что могъ только выработать человѣкъ, все это опустилось, подешевѣло, опошлилось, размѣнялось на мѣдные гроши и приняло безобразную форму.

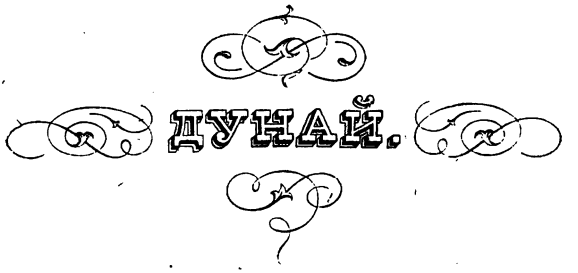
Тоска меня взяла. Мнѣ стало отвратительно, стало невозможно въ Тульчѣ. Кромѣ казаковъ да Семена Михайловича, кругомъ меня никого нѣтъ. Мужикъ-казакъ говоритъ, по крайней мѣрѣ, о дѣлѣ, о своихъ тяжбахъ, о повышеніи цѣны на соль, о плутняхъ противъ него кого-нибудь изъ тульчанскихъ нашихъ согражданъ; событіями во Франціи или въ Италіи казакъ интересуется какъ чѣмъ-то постороннимъ. Онъ знаетъ то, что есть Франція, что въ этой Франціи происходятъ разные леварюціи и что отъ нечего дѣлать пріятно объ нихъ потолковать потому, что надо же съ хорошимъ человѣкомъ время провести.

Семенъ Михайловичъ относился ко всѣмъ симъ предметамъ весьма неравнодушно, потому что онъ былъ человѣкъ образованный и развитый, которому доступны квадратные корни, который слышалъ нѣсколько о томъ, что воздухъ состоитъ изъ кислорода, азота и водорода, и о томъ, что люди всѣ равны. На послѣднемъ пунктѣ Семенъ Михай-

ловичъ былъ помѣшанъ. Во имя подобныхъ принциповъ этотъ господинъ дрова рубилъ, огурцы солилъ, рыбу ловилъ, буфетчикомъ въ трактирѣ татарина Ахметки дѣлался, метался во все, для того чтобы убѣдить мужиковъ, что всѣ люди равны. Нѣсколько разъ приходилось мнѣ быть молчаливымъ свидѣтелемъ подобныхъ проповѣдей. Говорилъ онъ горячо и — отдамъ я ему нѣкоторую честь — не совсѣмъ глупо, но мужики его не понимали, не понимали равенства между собою и даже имъ!

Я не видалъ болѣе страннаго порожденія прогресса. Онъ ко всему относился критически и въ то же время ни предъ чѣмъ не затруднялся, за все брался и твердо вѣрилъ въ то, что развитый человѣкъ способенъ на все, что стоитъ только понять и все можно сдѣлать!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ.



VI.

Старецъ Никола. — Добыванье шрифта. — Дунай. — Семенъ Михайловичъ въ роляхъ гребца и кормчаго. — Орелъ-рыболовъ. — Въ Галацѣ.—Буря. — Плавня. — Саранча. — Обитатели плавни.

Семенъ Михайловичъ, человѣкъ XIX в., все признавалъ пустяками, во все метался, за все брался, и ни въ чемъ не конфузился. Похожденія его на Дунаѣ начались слѣдующимъ, весьма нехитрымъ манеромъ.

Былъ у меня въ самыхъ устьяхъ Дуная, близъ Змѣинаго Острова, одинъ закадычный другъ и пріятель, не больно грамотный, но очень хорошій человѣкъ, то былъ старообрядческій инокъ, старецъ Никола. Знакомы мы съ нимъ были ужъ давно. Никола занимался сначала сапожнымъ мастерствомъ, потомъ столярничалъ, потомъ угораздило его какъ-то сдѣлаться учителемъ старообрядчес-

кихъ дѣтей, и наконецъ честолюбіе его разыгралось до того, что онъ возъимѣлъ желаніе сдѣлаться переплетчикомъ. Переплетчикомъ онъ и сдѣлался, но затѣмъ ему захотѣлось быть типографщикомъ, для чего, какъ извѣстно, надо раздобыться шрифтомъ. Шрифтъ можно достать или въ Галацѣ или въ Браиловѣ. Старецъ Никола взялъ лодку и вверхъ по Дунаю прогребъ сутокъ трое, чтобъ пріѣхать въ Тульчу посовѣтоваться со мной: гдѣ, какъ и какой шрифтъ можно достать? Въ мои свѣдѣнія по типографской части отецъ Никола имѣлъ глубочайшую и непоколебимую вѣру. Ему казалось, что человѣкъ грамотный долженъ умѣть печатать, и не только печатать, но даже рисовать виньетки, переплетать книги, потому что одно слово грамотный человѣкъ. Ему казалось, что нельзя быть писателемъ, не умѣя быть наборщикомъ и что писаніе и переписыванье одно и то же дѣло: каллиграфія, по убѣжденію старца Николы, есть вообще необходимое послѣдствіе всякаго образованія.

— Ученый ты человѣкъ, Василій Ивановичъ, не разъ говорили мнѣ въ Тульчѣ, — а вотъ пишешь

ты хуже всякой бабы! Скажи таперича, чему жъ ты учился? Пишишь ты хуже Луки Демьяныча!

Пріѣзжаетъ Никола.

— Нельзя ли, Василій Ивановичъ, отыскать здѣсь въ Тульчѣ шрихту?

— Зачѣмъ тебѣ, отче, шрифтъ нуженъ?

— Печатать хочу азбуку; первое дѣло, пріятно, а второе дѣло, все мальчишекъ жалко, никакого просвѣщенія не получаютъ! Жалко смотрѣть, выроститъ иной безъ грамоты, а отчего выросъ безъ грамоты? Оттого, что азбуки нѣтъ! Церковную ему азбуку достать—родитель въ сумленіе придетъ, что, дескать, старообрядческую вѣру покинетъ, потому что тамъ напечатано не Исусъ, а Іесусъ...

Мысль Николы была, въ самомъ дѣлѣ, не дурна. Помимо всякихъ политическихъ интересовъ, помимо всякаго нашего вліянія на старообрядцевъ, въ самомъ дѣлѣ, надо же было сдѣлать что-нибудь, чтобъ достать имъ церковный шрифтъ. Жестоко было бы отказать имъ въ возможности образовываться. Но у насъ, въ Тульчѣ, достать шрифту было, разумѣется, невозможно, потому что наша Тульча такой благословенный городъ, гдѣ все достанете, гдѣ

даже кринолины продаются, но шрифта не то что церковнаго, а какого-нибудь французскаго ни за какія ковришки не купите.

— Ѣдемъ, отче Никола, въ Галацъ, тамъ достанемъ.

— Что жъ, Василій Ивановичъ, ѣдемъ, на то я и проволокся сюда.

— Ѣдемъ, отче Никола, отчего не ѣхать?

И думаю я, грѣшный человѣкъ, что вотъ задамъ я себѣ недѣли двѣ отдыха отъ смерти брата, отъ фантазій Семена Михайловича, даже отъ этой самой зеленой Тульчи. По крайней мѣрѣ, хоть на нѣсколько дней оторвусь я ото всѣхъ нашихъ здѣшнихъ тульчанскихъ дрязгъ, сплетень, а наипуще не буду видѣть этого Семена Михайловича...

Старецъ Никола, помнится, сидѣлъ у меня за чаемъ. Обѣдать онъ у меня, разумѣется, не могъ, потому что, какъ извѣстно, иноки мяса не ѣдятъ и до такой степени отвыкаютъ ото всего скоромнаго, что, въ самомъ дѣлѣ, не въ состояніи ѣсть его. Разъ какъ-то силой почти заставилъ я одного изъ старообрядческихъ иноковъ скоромнаго поѣсть, и его чуть-чуть не вырвало, и немудрено: можно сдѣ-

лать такую отвычку отъ мяса, что самый запахъ его становится противнымъ.

— Ну, коли хочешь, чтобъ я съ тобой поѣхалъ, ужъ такъ и быть, съѣздимъ. Любопытство меня беретъ посмотрѣть Галацъ и Браиловъ. Такъ поѣдемъ, посмотримъ, отче.

—Ѣдимъ, посмотримъ, говоритъ отче, поправляя свои золотыя кудри и поглаживая свое, какъ блюдечко, круглое рябоватое лицо.

— Грести кто будетъ?

— Давай, Василій Ивановичъ, я буду больше грести.

— Ну, а если устанешь? Вверхъ по Дунаю грести дѣло не легкое?

— А ты хорошо гребешь?

— Худо не худо, отче, а все ужъ не хуже тебя.

— Такъ ѣдемъ.

Полный радости и совершенно довольный тѣмъ, что можно покинуть недѣли на двѣ, на три нашу зеленую Тульчу, объявляю я о семъ предметѣ пашѣ и моей покойной женѣ. Паша согласился отпустить меня, изъявляя притомъ всевозможнаго рода сожалѣнія, что какъ трудно ему будетъ въ эти двѣ недѣли справляться безъ меня съ нашими русскими

дѣлами. Но покойная жена моя взглянула на вопросъ совершенно иначе.

— Ты это уѣзжаешь на двѣ недѣли въ Молдавію?

— Ну да.

— А Семенъ Михайловичъ?

— Ну что жъ, Семенъ Михайловичъ останется, я радъ, что уѣзжаю отъ него.

— Ну нѣтъ, чувствительно благодарна, возьми его съ собой. Онъ не позволитъ мнѣ, во имя развитія и принциповъ, заказать такой обѣдъ, какой я захочу.

Я опѣшилъ.

— Такъ ты Семена Михайловича посылаешь со мной?

— Не то, что посылаю, а ни за какія блага на свѣтѣ не останусь съ нимъ безъ тебя!

— Да чѣмъ же онъ тебя безпокоитъ?

— Да безпокоитъ тѣмъ... хуже, чѣмъ безпокоитъ, учитъ, учитъ, учитъ! Тебя въ Тульчѣ не будетъ, вдругъ войдетъ Семенъ Михайловичъ и скажетъ, что самоваръ не поставленъ на надлежащемъ мѣстѣ на столѣ, и что, во имя цивилизаціи, мнѣ вдругъ ни съ того, ни съ сего не слѣдуетъ наливать уксусъ въ салатъ. Онъ на все способенъ, онъ способенъ на

то, что вдругъ позоветъ людей и велитъ передѣлать заборъ. Я очень уважаю все прогрессивное, но Семенъ Михайловичъ, признаюсь, въ ужасъ меня приводитъ. Бери его съ собой.

Что мнѣ было дѣлать? Я хотѣлъ бѣжать отъ моего пріятеля, но бѣжать пришлось именно съ нимъ. Старца Николу онъ ужъ припугнулъ своей цивилизаціей до такой степени, что онъ только слушалъ его, но ничего ему не возражалъ.

— Я ѣду завтра, объявляю я дома женѣ и кухаркѣ-горничной Ганнѣ, — въ восемь часовъ.

— Я ѣду съ вами, объявляетъ мнѣ Семенъ Михайловичъ.

— Ѣдемте, вздыхаю я.

— Ѣдемте, говорятъ старецъ Никола и припутавшійся тутъ черный инокъ Василій, очень умный и очень хорошій человѣкъ, неполучившій, разумѣется, ни малѣйшаго образованія, но съ которымъ не только ѣхать, но даже и жить можно было.

Онъ тоже ѣдетъ съ нами въ Галацъ.

— Ѣдемте, старцы, говорю я, чувствуя себя въ расположеніи духа мокрой курицы или вымоченной кошки, поглядывая на Семена Михайловича, который ни съ того, ни съ сего сдѣлался намъ дорож-

нымъ товарищемъ, и отъ котораго отвязаться нельзя, потому что, въ самомъ дѣлѣ, нельзя же оставить его дома.

— Семенъ Михайловичъ, спрашиваемъ я, старецъ Никола и старецъ Василій, вы съ водой дѣло имѣли?

— Кто десять лѣтъ съ полкомъ проходилъ, Василій Ивановичъ, тотъ, я думаю, все знаетъ, все умѣетъ!

И мы садимся въ лодку, да еще вдобавокъ въ ту лодку, которую досталъ откуда-то старецъ Никола, и плывемъ.

Дунай тихъ. Мѣрно, въ ритмъ ударяются весла. Гребу я, гребетъ златокудрый инокъ Никола, старецъ Василій держитъ руль. Семенъ Михайловичъ умѣстился на днѣ лодки, взглядывая на насъ отрицательно, какъ критикъ, и заявляя, что грести мы не умѣемъ, потому, находитъ онъ, что все-таки удары веселъ нашихъ попадаютъ недостаточно въ тактъ, и что взбрызги воды не плещутся на одинаковую вышину, что я и старецъ Василій, мы оба, фальшивимъ, и что если бы онъ...

— Я съ водой мало знакомъ, говоритъ онъ,— но если бы присѣсть, я гребъ бы, разумѣется, не

такъ. Не стыдно ли вамъ, господа? А еще говорили на берегу, что грести умѣете, развѣ такъ гребутъ какъ вы? Вонъ, ударили теперь, какъ не съумѣть въ одно время погрузить весло и вытащить? Силы у васъ, что ли, не хватаетъ? А ты, старецъ Никола, весломъ-то какъ забралъ — а?

И мы всѣ сидимъ и молчимъ, и дѣйствительно думаемъ, что этотъ человѣкъ, который на водѣ не бывалъ, но десять лѣтъ проходилъ съ полкомъ, за поясъ насъ заткнетъ своимъ умѣньемъ управлять лодкой.

Когда вы долго гребете, тогда гребете легко, но первыя четверть часа начинается страшная боль въ плечахъ и въ предплечьяхъ, которая отнимаетъ у васъ силу. Невскій перевозчикъ можетъ хоть сто разъ въ день перемахать Неву. Гребете вы ловчѣе его, но первый часъ гребля васъ изнемогаетъ послѣ долгой отвычки до невозможности, весла падаютъ изъ рукъ.

— Садитесь, Семенъ Михайловичъ! — и начинается что-то невѣроятное.

Весло въ правой рукѣ впередъ, весло въ лѣвой рукѣ назадъ, вода плещетъ; какъ-то брызги попадаютъ въ лицо, лодка вертится. Никола, сидящій

на рулѣ, даже помочь не можетъ. Всѣ мы — пловцы, я, старецъ Никола и старецъ Василій, но ничего мы сдѣлать не можемъ. Лодка качается, того и гляди, что кувырнешься.

— Семенъ Михайловичъ, что вы дѣлаете? говоримъ мы хоромъ.

— Я съ водой мало знакомъ и въ первый разъ гребу, но все-таки лучше васъ.

— Ну ужъ, батюшка мой, лучше насъ! Этакъ лодку можно опрокинуть.

— Дайте, немножко разойдутся руки, я не привыкъ, а только я видѣлъ то, что вы не такъ гребете. У меня пойдетъ впередъ.

— Да и у насъ идетъ впередъ, да только безъ этого раскачиванія, мы ударяли веслами ударъ въ ударъ.

— Эхъ, кто проходилъ съ полкомъ десять лѣтъ, того учить нечего. Впрочемъ, правду скажу, грести я не мастеръ, пустите меня на руль.

И мы пускаемъ.

На лодкѣ и вообще гдѣ людямъ приходится быть сбитыми въ кучу, есть естественная потребность сохранять миръ, есть необходимость вѣрить другъ въ друга: мужъ, во что бы то ни стало, старается

вѣрить въ свою жену; жена, во что бы то ни стало, считаетъ своей обязанностью вѣрить въ своего мужа; дѣти увѣряютъ себя, что отецъ ихъ умнѣйшій и ученѣйшій человѣкъ на свѣтѣ; прислуга вѣритъ въ то, что баринъ не оставитъ ее въ минуту нужды. На лодкѣ Семенъ Михайловичъ, во всякомъ случаѣ, если не заслуживаетъ довѣрія, то довѣріемъ пользуется, потому что не выкинуть же его за бортъ. Онъ плыветъ съ вами, и какъ человѣкъ, котораго можете достать рукой въ лодкѣ, все-таки вамъ свой, потому что лодка сближаетъ, гибнуть вы ему не дадите, потому, наконецъ, что на этой скорлупкѣ я, старецъ Василій, старецъ Никола, да Семенъ Михайловичъ, мы составляемъ нашъ маленькій міръ, отрѣзанный отъ всего міра водой. Мы тутъ люди свои, мы сближены, волей-неволей, и какъ бы мы не хотѣли этого, но интересы у насъ общіе. Вотъ почему и мнѣніе Семена Михайловича для насъ не фраза, а мнѣніе. Всѣ мы настоящіе гребцы, старецъ Никола и старецъ Василій сверхъ того еще рыбаки, на что я не имѣю претензіи и не заявляю ея. Каждый изъ насъ, если за руль возьмется, то руль не сломится въ его рукѣ, а Семенъ

Михайловичъ говоритъ: «кто десять лѣтъ проходилъ съ полкомъ и т. д»...

Путешествіе производится чрезвычайно трудно. Мои честные старцы въ совершенное недоумѣніе приходятъ: какимъ образомъ образованный человѣкъ взваливаетъ на себя претензію въ знаніи, котораго не имѣетъ? Отъ меня, человѣка книжнаго и грамотнаго, отъ человѣка, принадлежащаго обществу, которое, на ихъ взглядъ, кажется высшимъ, они ожидаютъ разрѣшенія тѣхъ вопросовъ и тѣхъ задачъ, которые для нихъ, для ихъ общества совершенно невозможны.

— Мы народъ простой, темный, говорятъ они,— а вамъ, господамъ, одно слово, барамъ, все извѣстно. Вы въ понятіи состоите, а у насъ все по простотѣ дѣлается...

Ѣдемъ мы и нѣсколько разъ перемахиваемъ черезъ Дунай, и рѣжутъ нашу рыбацкую лодку его сильныя волны. Журавль и цапля нѣсколько разъ приходятъ въ испугъ, не пугается одинъ только дунайскій орелъ, который стоитъ черной точкой надъ нами въ небѣ и стоитъ негодуя на насъ, что нельзя насъ забрать въ когти. Это тотъ самый дунайскій орелъ, который, какъ говоритъ Задунайская

Русь, рыбалитъ держась одной лапой за льдину, другую запускаетъ онъ въ холодную мартовскую воду, заворачиваетъ ее внизъ, выхватываетъ рыбицу и плыветъ торжественно на льдинѣ, взглядывая то по сторонамъ, то въ воду. Онъ плыветъ спокойно и смѣло,—въ него никто не выстрѣлитъ, потому: для чего, и кто станетъ тратить порохъ и свинецъ на него? Каждый залюбуется, смирно постоитъ и скорѣе пожелаетъ лапу пожать или погладить этого великаго рыболова, чѣмъ уходить его на мѣстѣ...

Мы плывемъ, плывемъ, нарушая согласіе нашего общества каждую минуту.

— Я десять лѣтъ съ полкомъ проходилъ, я все знаю, меня учить теперь ужъ нечему!—слышимъ мы, временные жильцы этой полугнилой остроконечной лодки.

Мы плывемъ, плывемъ и доплываемъ до Галаца.

Семенъ Михайловичъ какъ тѣнь, неотступно слѣдитъ за мной, и слѣдитъ не потому, чтобъ его интересовала вода, чтобъ волны были ему знакомы, чтобъ умѣнье владѣть рулемъ и парусомъ доставляло ему удовольствіе, ему все равно,

но онъ развитой человѣкъ, оставаться равнодушнымъ къ житейскому вопросу — а вопросъ все-таки житейскій — онъ не можетъ, и онъ ввязывается, не понимая того, что онъ дѣлаетъ, въ управленіе лодкой. Мы просимъ его, чтобъ онъ отступился, потому что хорошо ли, худо ли мы управляемъ лодкой, но все-таки мы ею управляемъ, все-таки каждый изъ насъ не въ первый разъ держитъ весло, и не первый разъ крѣпитъ въ рукѣ своей руль. Семенъ Михайловичъ, потому что онъ умѣетъ дѣлать ваксу, потому что онъ умѣетъ квасить капусту, предполагаетъ, что онъ вслѣдствіе своего развитія, вслѣдствіе того, что онъ умѣетъ вычислить время обращенія земли вокругъ солнца, и что онъ пострадалъ за «правое дѣло», не можетъ не знать, какимъ манеромъ управляется лодка!

Мы попали въ Галацъ. Не добившись шрифта для типографіи старца Николы, мы сдѣлали все, что могли, т. е. побродили по Галацу и по Браилову, познакомились съ болгарами и со скопцами. Со мной произошла исторія, которую я разсказалъ въ статьѣ моей «Святорусскіе двоевѣры», и затѣмъ опять сѣли на ту же самую рыбацкую лодку и отправились домой.

Недалеко отъ Тульчи есть мѣсто, гдѣ Дунай раздѣляется на двѣ половины, и гдѣ волны бьютъ въ стрѣлку довольно сильно. Вѣтеръ былъ крѣпкій; старца Василія мы оставили въ Браиловѣ, въ лодкѣ былъ я, старецъ Никола и Семенъ Михайловичъ. Старецъ Никола гребъ. Семенъ Михайловичъ дѣлалъ видъ, будто присматриваетъ за парусомъ, онъ сидѣлъ на днѣ лодки.

— Вѣтерокъ-то силенъ, говоритъ мнѣ старецъ Никола.

— Не плохъ, отвѣчаю я.

— Ишь ты, какъ поддаетъ.

— Да такъ поддаетъ, что парусъ сейчасъ придется снять, говорю я.

— Придется снять, подтверждаетъ старецъ Никола.

— Ну-ка, Семенъ Михайловичъ, снимайте, говорю я.

— Почему я стану снимать?

— Да потому, что вы сами говорите, что загребаете черезчуръ ужъ сильно и рулемъ черезчуръ сильно заворачиваете лодку, да и сами проситесь, чтобъ къ чему-нибудь пригодиться. Вотъ вамъ дѣло!

Такое замѣчаніе поражаетъ моего друга и прія-

теля. Онъ повинуется, свертываетъ парусъ и выдергиваетъ мачту. Но цивилизація не даетъ ему покою; не можетъ онъ не отнестись съ презрѣніемъ къ нашимъ практическимъ знаніямъ; онъ намъ нѣсколько разъ задавалъ вопросъ: на какомъ основаніи мы такъ гребемъ и такъ руль держимъ? и мы не нашли для него отвѣта; не только для него, но для самихъ себя. Почему мы такъ дѣлаемъ, мы не знаемъ. Онъ правъ, не правы мы, но иначе дѣлать мы не можемъ, а особенно въ то время, когда нужно пересѣчь это страшное пространство стрѣлки подобной рѣки, какъ Дунай.

Парусъ положенъ. Лодка летитъ, какъ стрѣла, благодаря направленію руля, которое я ей даю, и благодаря дружнымъ ударамъ весла старца Николы.

Семенъ Михайловичъ негодуетъ. Мы, неумѣющіе сознательно-научно объяснить, почему мы такъ держимъ лодку, а не иначе, кажемся ему людьми неразвитыми.

— Я поставлю сейчасъ парусъ, говоритъ онъ.

— Нельзя, отвѣчаю я.

— Отчего нельзя? спрашиваетъ онъ.

— Оттого, что у меня нѣтъ никакого желанія, чтобъ опрокинулась лодка.

— Да вѣдь вы же плавать умѣете?

— Умѣю.

— Умѣете плавать и боитесь, а я не умѣю и вовсе не боюсь.

— Семенъ Михайловичъ, я боюсь того, что лодка опрокинется,—а также потому, что я плавать умѣю.

— Это какъ?

— А такъ:—не будь васъ, я поплыву, а меня смущаетъ ваше присутствіе. Вы первый за меня уцѣпитесь, за меня, умѣющаго плавать, и вы меня утопите. Что мнѣ останется тогда дѣлать? Треснуть васъ въ високъ или самому пойти съ вами ко дну? Положеніе мое будетъ такое конфузное, что трудно мнѣ будетъ сдѣлать выборъ, а лучше сидите смирно и не мѣшайте мнѣ здѣсь, въ самомъ опасномъ мѣстѣ, управлять лодкой такъ, какъ я знаю.—Почему я такъ дѣлаю, я вамъ не съумѣю объяснить и хоть бы вы не десять, а сто лѣтъ проходили съ полкомъ, объяснить вамъ этого я бы не съумѣлъ.

И опять мы мчимся, присматриваясь къ теченію и приноравливаясь къ бурунамъ, которые бьютъ объ острова, которые отдѣляютъ Тульчу отъ Измаила. Я веду лодку такъ, какъ умѣю; мо-

жетъ быть, я веду ее невѣрно, можетъ быть, ее провести можно лучше, но я никогда еще не задавалъ себѣ вопроса, почему именно на такомъ, а не на другомъ основаніи повертываю я рулемъ направо, а не налѣво?...

— Парусъ надо поставить, говоритъ Семенъ Михайловичъ.

— Сидите ужъ лучше смирно, потому что если вы поставите парусъ, то парусъ насъ погубитъ.

— Да вѣдь вѣтеръ въ сторону къ Тульчѣ.

— Ну да, вѣтеръ, разумѣется, попутный, да онъ насъ погубитъ, потому что мы на самомъ страшномъ мѣстѣ Дуная.

— Э, какой вы трусъ!

Семенъ Михайловичъ вскакиваетъ, становится ногами на бортъ лодки и начинаетъ вытаскивать мачту.

— Сидѣть смирно! командую я.

— Что жъ?

— Сидѣть смирно, садитесь на дно!

— Вы съ ума сошли?

— Очень можетъ быть, но я знаю лодку. Хоть я не умѣю ни грести, ни рулемъ править, все жъ я знаю на столько, что не могу не видѣть, что

если вы поставите парусъ, то мы разомъ перелетимъ черезъ стрѣлку и погибнемъ!

— Ну такъ я вамъ докажу!

— Сидѣть смирно и не двигаться!

— Какъ вы смѣете?

(Старецъ Никола сидитъ и торжественно улыбается).

— Смѣю.

— А вотъ я встану и поставлю парусъ!

— Не смѣете.

— О-го!

Семенъ Михайловичъ, сѣвшій во время этого разговора на дно лодки, сталъ приподыматься и браться за мачту.

Правой рукой я держалъ руль, лѣвую руку я протянулъ къ нему, взялъ за шиворотъ и пригнулъ его ко дну лодки.

— Что вы дѣлаете?

— Шевельнетесь вы или будете спокойно лежать?

— Какъ вы смѣете?

— Мы съ вами будемъ говорить, когда доберемся до того берега, а теперь извольте слушаться. Я теперь хозяинъ.

(Старецъ Никола все улыбается.)

— Да гдѣ жъ логическое основаніе, чтобъ я васъ слушался?

— Логическое основаніе тутъ (я все держу его за шиворотъ) такое, что вы, Семенъ Михайловичъ, не шевелитесь, первое дѣло, не шевелитесь; логическое основаніе то, что если вы пошевельнетесь, то вамъ придется плохо! Логическое основаніе мое такое, что я двинуться вамъ не дамъ. Разочтемся на томъ берегу.

— Вы дурную шутку шутите, Василій Ивановичъ: на томъ берегу мы можемъ съ вами расчесться.

— Не посмѣете, держите голову внизъ, такъ глубоко, на самомъ днѣ лодки, какъ мнѣ вздумалось васъ ткнуть! Покуда я на тотъ берегъ васъ не доставлю, путемъ, можетъ быть, совершенно не раціональнымъ, до тѣхъ поръ вы не двинитесь! Не двигайтесь, повторяю, слушайтесь меня!

— Это, однако, подло!

— Ругаться я опять-таки, Семенъ Михайловичъ, не позволю вамъ; но за всякое сопротивленіе я, теперешній хозяинъ лодки, имѣю полное право, при помощи старца Николы, выкинуть васъ за бортъ!

Старецъ Никола торжественно встряхнулъ сво-

ими кудрями, и взглянулъ на меня и Семена Михайловича съ такимъ выраженіемъ, что ни я, ни Семенъ Михайловичъ не пришли въ сомнѣніе, на чьей сторонѣ будетъ стоять сей смиренный инокъ.

— Что жъ это, вы убійство затѣваете?

— Нѣтъ, Семенъ Михайловичъ (старецъ Никола молчитъ), а мы сами отъ убійства спасаемся.

— Но это подло!

— Это подло, но если вы опять приподымитесь и опять подвергнете насъ риску, то я опять васъ носомъ ткну въ воду, которая натекла въ середину лодки!

— Да вѣдь вы умѣете плавать?

— Потому-то это и будетъ сдѣлано, что мы умѣемъ плавать...

Мы очутились наконецъ на другомъ берегу, вышли изъ лодки, какъ наилучшіе друзья, какъ будто этотъ человѣкъ, вчетверо сильнѣе меня, не испыталъ того, что его держали за шиворотъ...

Измаилъ отъ Тульчи всего въ двадцати пяти верстахъ. У меня тамъ были знакомые, къ которымъ я и заѣхалъ. Прогостивъ дня четыре и развязавшись со своими дорожными товарищами, старцемъ Николой и съ чернымъ попомъ Васи-

ліемъ, я, въ сопровожденіи неизбѣжнаго моего сотоварища Семена Михайловича, отправился въ Тульчу, весьма тяготясь имъ, но признавая его за такое же неизбѣжное зло, какъ неизбѣжно для всякаго Донъ-Кихота имѣть своего Санчо-Панзу.

Послѣ долгаго сидѣнія въ лодкѣ мнѣ очень хотѣлось пройдтись пѣшкомъ, но затруднялъ меня маленькій, взятый съ нами въ это путешествіе, чемоданчикъ. Гордіевъ узелъ этого затрудненія Семенъ Михайловичъ разрубилъ.

— Кто десять лѣтъ проходилъ съ полкомъ, тотъ подобнымъ вопросомъ, что пройдти пѣшкомъ двадцать пять верстъ, не затруднится. Я самъ понесу чемоданчикъ, если вамъ онъ въ тягость.

— Несите.

И мы отправились.

Прогулка вышла великолѣпная. Плоскіе берега нижняго Дуная, населенные множествомъ цапель, журавлей, утокъ, драхвъ, бабы-птицы, надъ которыми носится несмѣтное множество ястребовъ, соколовъ и орловъ, чрезвычайно живописны. Камышъ шумитъ, а камышъ этотъ чуть не въ два раза выше человѣческаго роста, и Дунай, весной разливаясь, затопляетъ его такъ, что черезъ эту

самую плавню мнѣ случалось переѣзжать весной на лодкѣ и видѣть, какъ изъ воды торчатъ лишь верхушки этого камыша, и какъ надъ этими верхушками въ недоумѣніи носятся разныя мелкія пташки, не зная куда присѣсть. Гнѣзда ихъ тутъ были, тутъ они родились, выросли, нѣсколько разъ улетали отсюда куда-то далеко, далеко на югъ, можетъ быть, въ какую-нибудь Абессинію, на зиму... Прилетали назадъ, на старое пепелище, а здѣсь ужъ нѣтъ ни тѣхъ кочекъ, на которыхъ водятся такіе вкусные для нихъ червячки, ни тѣхъ травокъ, съ которыхъ можно пособрать зерна для себя и для дѣтей. Все вода, верхушки камышей торчатъ, да изрѣдка развѣ чья-нибудь лодка проплыветъ. И вотъ носятся тоскливые крики пташекъ, и не слыхать обычнаго русскаго говора...

Мы шли этой плавней; я, какъ болѣе легкій на ходу и необремененный никакимъ чемоданомъ, да еще, въ добавокъ, имѣющій интересъ идти не рядомъ съ Семеномъ Михайловичемъ, шелъ почти одинъ, упиваясь этимъ теплымъ, благоухающимъ воздухомъ.

Дня съ три передъ этимъ на плавню опустилась саранча и покрыла ее точно снѣгомъ. Я шелъ,

ступая по какому-то желтому, точно золотому, полю; саранча въ этомъ мѣсяцѣ (сентябрь былъ) парится. Считая, что разстояніе отъ Измаила или Смагилова, — какъ изволятъ его называть наши тульчанцы, — до Тульчи всего верстъ двадцать пять, и считая, что шагъ мой равняется приблизительно аршину, выйдетъ, что я сдѣлалъ около тридцати семи тысячъ, пятисотъ шаговъ, и что если на каждый шагъ мой я раздавилъ — беру меньше — двѣ пары саранчи, то выйдетъ, что въ этотъ переходъ я уничтожилъ почти 150,000, безъ малаго, живыхъ существъ! Ступить мнѣ некуда было, подошвы сапогъ скользили, подо мной все желто. Занимательнѣйшимъ образомъ парются подъ моими ногами эти прожорливыя насѣкомыя, такъ похожія на нашихъ стрекозъ; вызванный мною въ Тульчу невольный сопутникъ и мимовольный другъ Семенъ Михайловичъ давилъ этихъ насѣкомыхъ съ такимъ же усердіемъ, какъ и я.

Плавня — это одних изъ самыхъ замѣчательныхъ уголковъ Европы. Съ Запада можно смотрѣть на Востокъ съ презрѣніемъ, но какъ съ похвальбой говорятъ наши казаки, что «одно слово, милый человѣкъ, Тульча, значитъ, все», такъ, я думаю, ка-

кой-нибудь жилецъ плавни, если бы ему разсказали объ Европѣ, о цивилизаціи, о вопросахъ, о прогрессѣ и о XIX в., посмотрѣлъ бы на свои родные камыши, на журавлей, на орловъ, и отнесся бы къ Европѣ и къ XIX вѣку съ такимъ презрѣніемъ, съ какимъ относится онъ и къ той же Тульчѣ!

Плавня заселена всѣмъ, что есть талантливѣйшаго въ острогахъ Бессарабіи, Новороссійскаго края и вообще Юго-Россіи, всѣмъ тѣмъ, что умѣло съ цѣпи сорваться, а умѣть съ цѣпи сорваться штука все-таки не простая. Цѣлыя книги можно бы написать о нравахъ плавни...

На двадцатипятиверстномъ переходѣ отъ Измаила до Тульчи, если кого вы встрѣтите, то ужъ непремѣнно человѣка, который собственнымъ ухомъ слышалъ, какъ хруститъ живое тѣло, когда въ него втыкается ножъ...

Господа, живущіе на плавнѣ, иногда ссорятся другъ съ другомъ. Если ссора вышла небольшая, но пріятель все-таки мѣшаетъ, то тотъ отправляется съ нимъ напримѣръ на охоту, на прогулку. Ручейковъ и такъ называемыхъ на югѣ ериковъ множество.

— Я знаю дорогу, говоритъ пріятель.

— Знаешь, такъ показывай.

— Вотъ здѣсь черезъ канаву перешагнуть нельзя, а вотъ здѣсь можно.

Онъ шагаетъ, сапогъ — если сапоги есть — наливается водой, но онъ перескакиваетъ на противуположный край.

— Вотъ промочилъ ноги, говоритъ тотъ, который съумѣлъ ему насолить, — а здѣсь вотъ шагнуть ближе.

— Ахъ, я дуракъ, отвѣчаетъ первый, — совсѣмъ, братецъ ты мой, забылъ, что тутъ точно досточка лежитъ, и что лѣто-сь положилъ ее знакомый человѣкъ.

— Да иди жъ скорѣй, а то въ село Четаллы не поспѣемъ, Василакъ корчему закроетъ, разбойникъ.

И разлюбезный человѣкъ ставитъ ногу на досточку; досточка свертывается какъ слѣдуетъ, берега ерика крутые, добрый пріятель хохочетъ и кричитъ:

— Задѣлъ ты меня, самъ, братецъ мой! животъ свой здѣсь между молдавской и турецкой землей и загуби, а я въ смерти твоей не причастенъ!..

Другой способъ раздѣлываться съ пріятелями,

существующій въ плавнѣ, тоже недуренъ: раздѣ-
зають пріятеля до-нага, какъ мать на свѣтъ роди-
ла, и оставляютъ его на ночь привязаннымъ къ
акой-нибудь лозѣ. Плавня днемъ кишитъ птицей,
очью птица спитъ, кромѣ всякихъ совъ и фили-
овъ, но камары заявляютъ свое существованіе. Че-
вѣкъ, привязанный часовъ въ десять вечера къ
реву,—часамъ къ четыремъ будетъ ужъ не чело-
комъ, а трупомъ...

Я шелъ, обгоняя Семена Михайловича, несша-
по принципу, изъ демократизма, чемоданчикъ,
ıъ саженъ на пятнадцать впередъ, и скользилъ
кучамъ саранчи, объѣдавшей всякія травки и
інки этого острова.

Ужъ было темно, даже совсѣмъ смерклось, ког-
ы дошли до сулинскаго гирла, которое прохо-
, противъ нашей Тульчи. Тульча горѣла своими
ными огоньками. Я выкликнулъ лодку.

Іеня обдало благоуханіемъ нашихъ тульчан-
ь садовъ, лай собакъ привѣтствовалъ насъ, и
ıутились дома...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

VII.

Первыя впечатлѣнія новаго знакомства. — Краснопѣвцевъ. — Его біогрфія. — Потебня. — Центральный комитетъ въ Польшѣ. — Генералъ Воссакъ. — Австрійская полиція и австрійскій острогъ. — Вѣготво. — Положеніе эмигранта на Западѣ. — Въ Парижѣ. — Угаръ. — Пріѣздъ въ Тульчу. — Замѣтные и незамѣтные люди.

При входѣ въ комнату, я замѣтилъ какого-то господина невысокаго роста, съ черной бородкой; съ перваго взгляда онъ показался мнѣ евреемъ.

— Вотъ еще русскій эммигрантъ, сказала мнѣ жена.

У меня поджилки дрогнули: до такой степени былъ проученъ симъ матеріаломъ.

— Петръ Ивановичъ Краснопѣвцевъ *)

— Изъ офицеровъ? спросилъ я, имѣя глубо-

---

*) Лицо это выведено здѣсь съ его настоящимъ именемъ, отчествомъ и фамиліей — такъ какъ его уже нѣтъ на свѣтѣ.

чайшую ненависть ко всѣмъ офицерамъ, благодаря Семену Михайловичу.

— Артиллерійскій капитанъ.

Я раскланялся, пожалъ руку, соблюлъ всякій порядокъ гостепріимства и ознакомленія, и отчаянно посматривалъ на него, думая, что одной каторги было мало, такъ другая подбавилась, и покоряясь тому общему правилу, что на бѣднаго Макара всѣ шишки валятся, и что пришла бѣда—отворяй ворота.

Вечеръ прошелъ довольно благопристойно. Семенъ Михайловичъ, покуда я, усталый, переоблачался, ѣлъ, чай пилъ, не то чтобъ разсказывалъ, а больше намекалъ насчетъ моей водобоязни и своего геройства, насчетъ того, какъ онъ изслѣдовалъ характеръ и вѣрованія двоевѣровъ, у которыхъ онъ спалъ, и вообще знакомилъ Краснопѣвцева съ характеромъ Тульчи, причемъ обходился съ нимъ, какъ съ человѣкомъ пріѣзжимъ, немножко по-начальнически, немножко по-наставнически. «Ты, братецъ, къ намъ попалъ, а такъ какъ въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не ходятъ, такъ пойми жъ ты, каковъ нашъ уставъ».

И на другой день за Петромъ Ивановичемъ ка-

чествъ никакихъ не открылось, оказался человѣкъ весьма смирный, весьма неглупый и весьма хорошій. Исторія его была такова:

Покойникъ Потебня, орудовавшій незадолго передъ тѣмъ русскими въ Польшѣ, былъ однимъ изъ его короткихъ пріятелей, и Петръ Ивановичъ принадлежалъ, по его милости, къ «центральному комитету русскихъ офицеровъ въ Польшѣ». Центральный комитетъ этотъ, руководимый Потебней, сдѣлалъ дѣло невѣроятное. Почти всѣ наши юные офицеры сочувствовали полякамъ въ ихъ демонстраціяхъ, помогали имъ какъ могли, и, какъ я уже говорилъ выше, даже Семенъ Михайловичъ съумѣлъ какимъ-то манеромъ попасть не то въ его члены, не то въ его агенты. Но трусливый, болѣе прогрессивный, чѣмъ послѣдовательный, онъ добился только того, что претворился въ эмигранта, попалъ въ Познань, въ Парижъ и наконецъ ко мнѣ въ Тульу; что же до Петра Ивановича, то онъ отнесся къ дѣлу, по-своему, послѣдовательнѣе. Онъ былъ прежде всего не фразеръ, цивилизацій особыхъ не завлялъ, и прямо взялъ, да и очутился въ отрядѣ Боссака.

Наши войска оттѣсняли повстанцевъ и дотѣс-

нили, помнится мнѣ, до Радзивилова, или до какого-то другаго мѣста на нашей границѣ съ Австріей.

Петръ Ивановичъ очутился въ Галичинѣ, гдѣ, вслѣдствіе нашего договора съ Австріей о взаимной выдачѣ всѣхъ бѣглыхъ, оставаться бѣглому человѣку вообще не слѣдуетъ; нужно бѣжать. Петръ Ивановичъ садится въ вагонъ, чтобы ѣхать, не помню, куда. Вдругъ къ нему подходитъ полицейскій, снимаетъ фуражку и крайне вѣжливо спрашиваетъ:

— Ihre Legitimations karte? т. е. вашъ паспортъ.

У Петра Ивановича былъ видъ, выданный ему черезъ Rząd Narodowy, т. е., во всякомъ случаѣ, документъ весьма подозрительнаго свойства. Онъ былъ обозначенъ въ немъ не то какимъ-то нѣмцемъ, не то полякомъ. Полицейскій посмотрѣлъ ему въ лицо и уразумѣвъ — что было, разумѣется, весьма не хитро — что Краснопѣвцевъ не галичанинъ, а повстанецъ, — пригласилъ его не ѣхать далѣе, а послѣдовать за нимъ.

Подобныя приглашенія дѣлаются вообще весьма деликатно. Общественное спокойствіе ничѣмъ не нарушается, никто не видитъ, что человѣка арестуютъ, никто не догадывается, что съ нимъ разговари-

ваетъ не пріятель, а полицейскій, и что его приглашаютъ не въ гости, а въ тюрьму. Полицейскій имѣетъ причину скрыть это обстоятельство; арестантъ имѣетъ точно также причину не показывать, съ какимъ стариннымъ знакомымъ имѣетъ онъ дѣло, уже потому одному, что̀ публика никогда не защититъ; смутное сознаніе объ этомъ у арестуемаго есть всегда, даже если бы онъ былъ не политическій, а просто-на-просто свой человѣкъ, т. е. воръ, фальшивый монетчикъ, убійца.

Петръ Ивановичъ себя не выдалъ. Когда совершенно незнакомый господинъ подошелъ къ нему, раскланялся и сдѣлалъ видъ, будто напоминаетъ ему о старомъ знакомствѣ, Краснопѣвцевъ обошелся съ нимъ какъ дѣйствительно со старымъ знакомымъ.

Этотъ старый знакомый попросилъ его, несмотря ни на какую старую дружбу и на заявленіе, что за билетъ ужъ заплачено, слѣдовать за нимъ, Петръ Ивановичъ очутился.... въ австрійскомъ острогѣ.

Австрійскій острогъ, при всей западной цивилизаціи, едва ли не хуже нашего: у насъ если одиночное заключеніе существуетъ, какъ я ужъ выше

совсей подробностью разсказалъ, то существуетъ какъ исключеніе; въ Австріи же и въ Пруссіи оно доходитъ до невозможныхъ размѣровъ. Я ничего не уменьшалъ и ничего не преувеличивалъ въ моемъ разсказѣ о лучшемъ помѣщеніи въ Кишиневскомъ острогѣ; разсказы же Петра Ивановича и нѣкоторыхъ другихъ моихъ знакомыхъ польскихъ эмигрантовъ познакомили меня съ лучшими помѣщеніями Австрійскихъ остроговъ — и я могъ сравнить ихъ съ русскими. — Кишиневская тюрьма, дѣйствительно, имѣетъ въ себѣ лучшій номеръ, и къ этому лучшему номеру можно, въ самомъ дѣлѣ, притерпѣться. Дежурный офицеръ все-таки входитъ посмотрѣть васъ, смотритель все-таки навѣдывается и все-таки имѣетъ право сказать съ вами нѣсколько словъ, выражая соболѣзнованіе или даже негодованіе, все-таки ежедневно вы слышите человѣческій голосъ. Всѣмъ этимъ обязаны мы русскому варварству и нашей отсталости; въ образованныхъ же краяхъ цивилизація несравненно выше, и потому надзоръ за арестантомъ до такой степени строгъ, что возможности перекинуться съ нимъ словами, кому бы то ни было, рѣшительно никакой нѣтъ. Арестантъ утромъ встаетъ, слыша,

что въ корридорѣ раздается звонокъ. Въ двери слышится громъ и гулъ, раскрывается нѣчто въ родѣ заслонки, и влетаетъ къ нему кружка воды и четверть каравая хлѣба. Проходитъ нѣсколько часовъ, время обѣда подходитъ, опять тотъ же шумъ, и влетаетъ кусокъ хлѣба и какое-нибудь варево, доходящее до степени супа; вечеромъ тоже. Сторожъ, который къ нему войдетъ вымести полъ или справиться о томъ, живъ ли онъ или умеръ, не имѣетъ права даже двумя-тремя словами съ нимъ перекинуться. У насъ если къ арестанту и не входитъ ни мать, ни жена, ни родные, то, по крайней мѣрѣ, сторожъ его и смотритель, когда онъ съ ними сживется, и они къ нему привыкнутъ, зачастую дѣлаются его пріятелями...

Не помню теперь, долго ли, коротко ли, содержался бѣдный Краснопѣвцевъ во Львовѣ. Австрія, какъ извѣстно, открыто польскому повстанію не помогала, но сколько могла, не препятствовала этому взрыву національаго чувства.

Въ Вѣну пришла наша нота о томъ, что въ Величинѣ или въ Галиціи *) собираются шайки

*) Галиціей я называю западную часть польскихъ земель, ставшихся Австріи, т. е. все пространство отъ рѣки Сяна

эмигрантовъ, нужно было что-нибудь сдѣлать, и тогдашнему намѣстнику Галицко-Володимірскаго королевства графу Голуховскому пришло предписаніе о томъ, чтобъ онъ велъ дѣла какъ-нибудь поблагопристойнѣе. Завелась система, умнѣйшая изъ всѣхъ системъ, какія только извѣстны. Кто умѣетъ попасться, тотъ, стало быть, не умѣетъ дѣловъ обдѣлывать, стало быть, его щадить нечего. Ловить станемъ всѣхъ: кто годенъ для работы, тотъ не попадется и съумѣетъ самъ уйти; кто не годенъ, того отвести подъ разстрѣляніе или на висѣлицу, или и выдать не жалко. Система эта, какъ видите, весьма неглупа и имѣетъ, съ точки зрѣнія австрійскаго правительства, полнѣйшее оправданіе: реляцій объ убитыхъ солдатахъ не печатается, печатаются реляціи объ убитыхъ полковникахъ и генералахъ.

Петръ Ивановичъ съумѣлъ угодить именно не въ полковничью категорію, сплоховалъ, оказался неловкимъ, его и взяли.

(«знай Ляше — по Сянъ наше») на сѣверъ до Кракова, гдѣ города исключительно польскіе или, пожалуй, еврейскіе. Ту же часть страны, которая лежитъ отъ рѣки Сяна на югъ вплоть до Буковинской границы я называю Галичиной.

Очутился онъ въ Оломуцѣ. Порядокъ тамъ оказался снисходительнѣе. Съ повстанцами, которыми австрійская крѣпость была наполнена, австрійское правительство обходилось довольно мягко.

Не только что всякія облегченія доставлялись имъ, но даже позволялось имъ гулять по городу. Поляки были тогда въ модѣ, имъ сочувствовали, они представлялись чѣмъ то въ родѣ кандіотовъ, гарибальдійцевъ, болгаръ, дѣло ихъ считалось не только правымъ — это было бы пустяки — но возможнымъ и исполнимымъ, и къ нимъ относились съ сочувствіемъ. Было ли или не было секретнаго предписанія изъ Вѣны, но начальство Оломуцкой крѣпости выпускало заточенныхъ гулять по городу.

Краснопѣвцевъ, воспользовавшись этимъ, бѣжалъ.

Онъ очутился въ Парижѣ въ томъ страшномъ положеніи, въ которомъ вообще видитъ себя польскій или русскій эмигрантъ. Эмигрантъ вообще предполагаетъ, что на Западѣ за то, что онъ отстаивалъ то, что называется свободой и прогрессомъ, каждый встрѣчный бросится ему на шею. Онъ ѣдетъ, во имя дѣла и во имя своихъ

убѣжденій, съ полной вѣрой, что поселится между людьми, согласными съ его дѣломъ, уважающими всѣ его убѣжденія, вѣрующими въ то самое, во что и онъ вѣритъ. Но увы! не только во Франціи или въ Англіи, но въ самой Америкѣ на него смотрятъ какъ на дикаго звѣря. Дѣла его никто не знаетъ и если какіе-нибудь энтузіасты и начнутъ ему помогать, то все это будетъ не болѣе, какъ самая мизерная милостыня... Эмигранта за границей никто не уважаетъ. Свѣдѣніе сіе увы, пріобрѣтено довольно долгимъ и довольно горькимъ опытомъ.

На эмигранта смотрятъ всѣ французы, англичане, нѣмцы, швейцарцы, словомъ всѣ народы, которымъ только законъ разрѣшаетъ оказывать ему гостепріимство, какъ на человѣка, который такъ глупо и неловко велъ свое дѣло, что не только ничего не сдѣлалъ, а остался въ дуракахъ и подвергся изгнанію.

Гарибальди пользуется уваженіемъ не столько за геройство, сколько за покореніе королевства обѣихъ Сицилій. За геройство никто людей не уважаетъ, храбрость вещь грошовая, дерзость копейки не стоитъ, уважаютъ только тѣхъ людей, которые добились того, что задумали, а эмигрантъ ни-что

иное для западнаго европейца, какъ человѣкъ не удавшійся, какъ лиса, отбѣжавшая отъ винограда: зеленъ, молъ, да ягоды незрѣлы, лакомъ кусъ, да не для нашихъ устъ! И вотъ является эмигрантъ къ западному европейцу съ весьма искреннимъ заявленіемъ добросовѣстности своего направленія и своихъ поползновеній. И отнесется къ нему этотъ европеецъ, какой нибудь англичанинъ, вѣжливо, даже пожалуй къ обѣду къ себѣ пригласитъ, но уваженія къ нему возъимѣть, повѣрьте, не возъимѣетъ!

Для Семеновъ Михайловичей, душъ чистыхъ и блаженныхъ, подобныя отношенія оставались совершенно непонятны, но для Петровъ Ивановичей онѣ весьма скоро дѣлались удивительно ясны.

Семенъ Михайловичъ съумѣлъ сдѣлаться учителемъ военной гимнастики въ Батиньйольской школѣ, Петръ Ивановичъ даже на это не съумѣлъ пригодиться, даже хуже сдѣлалъ: ни съ кѣмъ въ Парижѣ изъ эмиграціи не съумѣлъ познакомиться, что, во-первыхъ, неловкость, а во-вторыхъ, въ эмигрантскомъ міркѣ преступленіе.

Нѣсколько разъ, разсказывалъ онъ мнѣ, какъ повалъ онъ, капитанъ артиллеріи, холодный и глоод-

ный въ строющихся домахъ на лѣсахъ; нѣсколько разъ даже онъ не находилъ чѣмъ прокормиться. Кто-то подвелъ его подъ распоряженіе парижской полиціи объ эмигрантахъ, т. е. доставилъ ему право на вспоможеніе отъ французскаго правительства, вспоможеніе, которымъ, разумѣется, существовать нельзя. До сихъ поръ безъ содроганія не могу я вспомнить разсказовъ Краснопѣвцева о томъ, какъ онъ сидѣлъ бывало по цѣлымъ часамъ въ полиціи, ожидая, покуда будетъ выданъ ему несчастный золотой — ежемѣсячное вспоможеніе.

Не въ моготу стало Краснопѣвцеву.

Перебиваясь со дня на день, жилъ онъ съ какими-то старыми сподвижниками, двумя поляками, которымъ въ эмиграціи пришлось не весьма дурно: они были герои, они сражались за родину, они говорили всюду и всѣмъ, что они поляки. Краснопѣвцевъ и этого не могъ сказать. Если онъ говорилъ, что «я дрался за правое дѣло», то ему отвѣчали— т. е. не отвѣчали, а намекали — что вы, милостивые государи, все-таки измѣнники, потому что вы прежде, чѣмъ человѣкъ, вы русскій, стало быть, вы, кромѣ измѣны, ничего не сдѣлали! Будь онъ капитанъ польской повстанской службы, онъ могъ бы всѣмъ

французамъ въ глаза глядѣть, но такъ какъ онъ былъ россійскій артиллерійскій капитанъ, то ему было совѣстно не то что французовъ, не то что поляковъ, а самого себя! Семенъ Михайловичъ, какъ я уже говорилъ, ушелъ отъ дѣла; Петръ Ивановичъ былъ, съ своей точки зрѣнія, послѣдовательнѣе: онъ сунулся, очертя голову, въ повстаніе, и — самъ къ себѣ потерялъ уваженье! И вотъ исторія его разыгрывается тѣмъ, что въ Парижѣ, живучи съ поляками, и не слыхавъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ русскаго языка, Краснопѣвцевъ начинаетъ лелѣять мысль — о самоубійствѣ.

Самоубійства совершаются во Франціи, какъ извѣстно, отравленіемъ окисью углерода. Жаровня водится въ каждомъ домѣ. Поляки, съ которыми онъ жилъ, куда-то ушли и, по разсчету, должны были воротиться часовъ шесть спустя послѣ его смерти.

Краснопѣвцевъ развелъ жаровню, хватилъ что-то съ полбутылки рому, легъ на диванъ и, подставивъ жаровню подъ ноги — заснулъ. Глядя на красные уголья, онъ мало-по-малу терялъ сознаніе и чувствовалъ то сладкое — не скажу сладострастное, какъ онъ меня увѣрялъ — состояніе ожиданія смерти...

Товарищи его однако какими-то судьбами вернулись раньше, чѣмъ предполагалось и, подымаясь по лѣстницѣ, услышали извѣстный запахъ окиси углерода. Запахъ этотъ въ Парижѣ для каждаго приходящаго обозначаетъ, что совершается самоубійство.

Зная эту французскую систему самоубійства, товарищи первымъ долгомъ поставили вышибить дверь и нашли Краснопѣвцева подлѣ жаровни съ опущеннымъ колѣномъ, которое ужъ исжаривалось на угольяхъ. Разумѣется были приняты всѣ мѣры, какія можно было тутъ принять, отодвинута была жаровня, колѣно было облито холодной водой, позванъ былъ медикъ, и медикъ изъ своихъ. Въ польской эмиграціи ихъ много, и эмиграція не лечится вообще, безъ особенной нужды, у чужихъ.

Несчастный пришелъ въ себя. Если бы сожители его вошли получасомъ позже, то, по всей вѣроятности, Краснопѣвцева не стало бы на свѣтѣ...

Тоскующій, все и вся ненавидящій, расхаживалъ онъ по Парижу, когда пришло извѣстіе, что я сзываю въ Тульчу русскихъ выходцевъ. Ему было все равно, куда ни тянуться — къ чорту,

въ Америку, въ Австралію, и — онъ очутился у меня, ища работы и какого-нибудь position sociale.

И вотъ какъ Семенъ Михайловичъ на другой же день оказался товарищемъ невыносимымъ, такъ мрачный Краснопѣвцевъ тутъ же привлекъ къ себѣ не только мое расположеніе, но вся Тульча отнеслась къ этой живой и теплой душѣ весьма неравнодушно. Онъ никого не училъ, никакихъ сектъ заводить не думалъ, онъ никому ничего не говорилъ, но каждый встрѣчавшійся съ нимъ сознавалъ, что этотъ человѣкъ не пророкомъ себя объявилъ, не просвѣщать пріѣхалъ или перестроивать наши мельницы, а просто пріѣхалъ искать какого-нибудь пріюта.

Петръ Ивановичъ принадлежалъ къ личностямъ, далеко впередъ не выдающимся. Требовать отъ него какой бы то ни было иниціативы даже и въ голову никому бы не пришло. Вести онъ не могъ, но его вести было не трудно, и его увели — въ польскіе отряды Бóссака, гдѣ онъ дрался, по всей вѣроятности, храбро. Но это былъ человѣкъ въ душѣ чистый и беззащитный, беззащитный до невозможности.

Есть умные и неумные люди, отъ роду имѣ-

ющіе талантъ отличаться тѣмъ или другимъ. Есть умные люди, которыхъ, какъ говорятъ, весь городъ знаетъ, и всѣ на нихъ обращаютъ вниманіе; имена ихъ пользуются громкой извѣстностью, портреты ихъ чуть что не продаются на улицахъ, каждый льстится познакомиться съ ними. По общему мнѣнію, міръ только ими и держится и по ихъ приговору исторія рода человѣческаго оборачивается. Есть люди съ тяжелой походкой, пройдетъ, такъ такъ ступитъ, что громко станетъ; есть люди съ такимъ выраженіемъ лица, что пройдетъ, взглянетъ и рублемъ подаритъ. Это люди замѣтные, объ нихъ говорятъ, пишутъ, некрологи ихъ составляютъ. Но есть личности вовсе не пошлыя, даже очень умныя, которымъ удалось уродиться такими, что даже сами о своемъ дѣтствѣ ничего любопытнаго не разскажутъ. Есть бездна очень умныхъ и порядочныхъ людей, которые дѣлали и дѣлаютъ до невѣроятности много, и никто объ нихъ не знаетъ, какъ есть красавицы, которыхъ каждый замѣчаетъ на улицѣ или въ гостинной, и есть красавицы, которыя отличаются тѣмъ свойствомъ, что никто ихъ не замѣтитъ.

Даже лицо Краснопѣвцева было чрезвычайно

хорошее, на каждое его движеніе можно было залюбоваться, — и этого никто не замѣчалъ. Есть фигуры, которыя нуждаются въ отзывѣ, есть книги, которыя цѣнятся только потому, что объ нихъ много кричали, есть картинки, которыя понятны только тогда, когда подъ ними есть подпись. Выдаваться самому и своимъ собственнымъ умомъ дойти до того, чтобы быть замѣтнымъ — штука не всѣмъ достающаяся въ удѣлъ! Мнѣ кажется, если бы Краснопѣвцевъ сталъ что-либо писать, никто бы и писанія его не замѣтилъ. Онъ написалъ бы такъ кротко, такъ тихо, такъ незамѣтно, что едва ли бы нашелся издатель для его книги, а книга его, можетъ быть, была бы умнѣе и дѣльнѣе книги какой-нибудь знаменитости.

И подобная-то беззащитная личность попала въ Тульчу.

Семенъ Михайловичъ ужъ побывалъ учителемъ, прикащикомъ, буфетчикомъ (въ чайной у Ахметки), насказалъ, что новую секту составитъ, новое ученье предложитъ, далъ замѣтить свое существованіе, и каждый его замѣчалъ, замѣчалъ не за его умъ, а просто за то, что тотъ самъ о себѣ шумъ дѣлалъ!

Петръ Ивановичъ отличился совершенно другимъ манеромъ: Петръ Ивановичъ имѣлъ талантъ прятаться. Какъ теперь вижу эту невысокую фигуру съ черненькой бородкой, съ черненькими глазами, съ длиннымъ носомъ и съ лицомъ, такъ вопіюще похожимъ на еврейское, въ длинномъ черномъ пальто и въ сапогахъ по колѣно (въ сапогахъ, подаренныхъ Бóссакомъ). Фигура эта все ёжится, застегивается, запахивается и прячется, не то что отъ міра, но даже отъ пріятелей; все присаживается въ уголокъ, и удивляюсь я, какъ я раньше не догадался, что жизнь ему была въ тягость! Какъ онъ отодвигался отъ лучшихъ своихъ пріятелей, какъ онъ уходилъ ото всего, какъ ему ложка, которой онъ мѣшаетъ свой стаканъ чаю, была ненавистна и конфузила его своимъ блескомъ, такъ все преслѣдовало его своимъ величіемъ! Онъ уходилъ, уходилъ, уходилъ, онъ все думалъ уйти, пока не ушелъ...

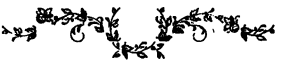
Уйти окончательно помогъ ему я и помогъ совершенно невольно...

Мы съ нимъ сдѣлались большіе пріятели на третій или на четвертый день по его прибытіи — а когда онъ прибылъ, я ужъ не вѣрилъ ни въ какія

возможности пустить какую нибудь пропаганду изъ Тульчи.—Я понялъ, что отъ Петра Ивановича даже и требовать какой-нибудь помощи рѣшительно невозможно, что на что я его ни приглашу, хоть бы даже на то, чтобъ допрашивать нашихъ казаковъ о томъ, въ чемъ они нуждаются, онъ совершенно не годится и именно по своей застѣнчивости.

И я оставилъ его въ покоѣ.

Семенъ Михайловичъ, пріѣхавшій мѣсяца за три до него, ужъ съумѣлъ, какъ я уже говорилъ выше, перемѣнить мѣстъ двадцать, съ умѣлъ заявить мнѣ, что хочетъ сдѣлаться агрономомъ, даже указалъ клокъ земли, который я долженъ былъ выхлопотать у паши и, не успѣвши еще осмотрѣть его, ужъ чертилъ мнѣ на планѣ расположеніе своего будущаго сада, двора и проч., а Петръ Ивановичъ безъ всякаго шума, весьма тихо и скромно сдѣлался школьнымъ учителемъ въ американской школѣ.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

VIII.

Ѳедоръ Ивановичъ Флокенъ. — Его біографія. — Методисты. — Болгары и унія. — Миссіонеры. — Флокенъ въ Варнѣ. — Водвореніе его въ Тульчѣ. — Молокане. — Настоятель молоканскій Иванъ Кондратьевичъ. — Лукъ и табакъ. — Американскіе граждане изъ русскихъ мужиковъ. — Благодать. — Грѣхопаденіе. — Пророкъ и его сподвижницы. — Гаврила Лебедь. — Школа.

Въ Тульчѣ существовало и, по всей вѣроятности, существуетъ по сію пору американское училище для русскихъ дѣтей, заведенное Ѳедоромъ Ивановичемъ Флокеномъ, протестантскаго методистскаго епископальнаго американскаго согласія, миссіонеромъ между славянами. Происхожденіемъ своимъ эта школа обязана взглядамъ нѣмцевъ на насъ русскихъ. Отецъ Флокена лѣтъ съ пятьдесятъ тому назадъ переселился изъ Баваріи въ Новороссійскій Край. Онъ былъ медикъ и медицину сдѣлалъ своимъ способомъ существованія.

Ѳедоръ Ивановичъ, сынъ его, родился въ Рос-

сіи и воспитывался въ Одесской гимназіи до 1848 года. Этотъ годъ обезпокоилъ даже насъ, русскихъ мальчишекъ, не говоря ужъ о Парижѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ, и въ то же время потребовалъ въ Баваріи набора. Въ Баваріи, какъ извѣстно, принята была тогда почти та же система, которая процвѣтаетъ теперь почти во всей цивилизованной Европѣ и которой, слава Богу, мы да англичане еще не усвоили: именно законъ о томъ, что каждый, достигшій извѣстнаго возраста, обязанъ года три, четыре пробыть въ солдатахъ.

Законъ этотъ, принятый въ Баваріи, требовалъ, чтобъ Ѳедоръ Ивановичъ, тогда, можетъ быть, семнадцати или восемнадцатилѣтній гимназистъ, поѣхалъ домой и отслужилъ бы установленный срокъ службы. Избавиться отъ этого весьма непріятнаго положенія можно было немедленнымъ переходомъ въ русское подданство; но, во-первыхъ русское подданство для баварца казалось въ то время, если не унизительно, то, по меньшей мѣрѣ, стѣснительно, и, обсудивши на семейномъ совѣтѣ всѣ сіи вопросы, родные Ѳедора Ивановича отправивили его въ Соединенные Штаты, не давъ ему кончить курса и научиться чему-либо пут-

ному. Человѣкъ отъ природы умѣренный и аккуратный, исполнительный, честный, онъ содержалъ въ себѣ, какъ чечевичное стекло въ своемъ фокусѣ, всѣ лучшія стороны нѣмца, не имѣя въ то же время нѣмецкихъ недостатковъ. Флокенъ съ первыхъ же дней своего пріѣзда въ Нью-Іоркъ отыскалъ себѣ какое-то мѣсто на фабрикѣ и не задумался пойти въ кочегары или во что-то подобное, потому что не хотѣлъ даромъ ѣсть хлѣбъ, потому что смотрѣлъ на жизнь такъ серьёзно, какъ смотрятъ только нѣмцы, сочинившіе Brodstudium и произведшіе на свѣтъ такую массу талантовъ, Brobgelehrte, именно то, что не удалось англичанину, италіянцу, французу, и чего, положительно можно предсказать, лѣтъ на двѣсти впередъ, не удастся русскому.

Отъ юности моея мнози борятъ мя страсти!

говоритъ извѣстный стихъ, въ которомъ слышится, дѣйствительно, вопль души, обуреваемой страстями, сомнѣніями и сознаніемъ, что съ ними справиться нельзя. Слишкомъ лѣтъ съ тысячу поетъ этотъ стихъ нашъ братъ русскій, духовные и міряне, и все не можемъ совладать съ обуревающими насъ страстями. Бушуютъ страсти въ молодости, бушуютъ страсти въ зрѣломъ возрастѣ и въ глубокой старости и

нашъ братъ русскій безъ нихъ не обойдется. Писать по транспаранту, ходить по линейкѣ мы не умѣемъ! Дойдетъ напр. русскій человѣкъ до того, что на Апраксиномъ дворѣ построитъ лавку, торгуетъ, кажется, лѣтъ съ десять какъ бы и слѣдовало, анъ вдругъ хватитъ сѣдина въ бороду и бѣсъ въ ребро, да хватитъ такъ, что сразу — не говоря худаго слова явится неизмѣримый въ таліи кучеръ, рысаки, актерка какая-нибудь пристегнется, и все разлетится въ прахъ. Мы, русскіе, народъ не надежный, и изъ насъ Ѳедоровъ Ивановичей выходитъ крайне мало.

Флокенъ представляетъ всѣ тѣ совершенства, которыхъ въ нашемъ братѣ не водится. Въ юности онъ не увлекался, а учился въ гимназіи, какъ слѣдуетъ хорошему ученику, т. е. если и совершалъ кое-какія шалости, свойственныя крайне юному возрасту, то только такія, за которыя посѣкаютъ, но изъ гимназіи не исключаютъ. Попавъ въ Америку, онъ что-то черезъ полгода изъ кочегара сдѣлался первымъ машинистомъ, замѣтнымъ въ своемъ кружку и весьма уважаемымъ членомъ методистской церкви. Въ эту методистскую церковь попалъ онъ, какъ мнѣ самъ разсказывалъ, весьма случай-

но: былъ онъ лютеранинъ и слѣдовалъ, какъ вообще лютеране, безъ всякихъ рефлексій, lutherische kirche. Товарищъ завелъ его на методистскій митингъ. Проповѣдникъ, котораго ему пришлось слушать, говорилъ, разумѣется, живѣе и лучше лютеранскаго или кальвинскаго пастора, которые отличаются всѣмъ на свѣтѣ, кромѣ живаго слова. Мертвѣе лютеранскихъ и кальвинскихъ пасторовъ-проповѣдниковъ я не знаю.

Краснорѣчіе методистскаго проповѣдника и полная жизни и движенія методистская секта, епископальнаго согласія, задѣла за живое юношу. Онъ сталъ благочестивѣе, онъ сталъ вдумываться въ вопросы о предозначеніи (милости Божіей), о свободной волѣ, о благодати, и его выбрали сначала въ какіе-то странствующіе миссіонеры, потомъ рукоположили въ діаконы, въ пресвитеры и сдѣлали проповѣдникомъ. Методизмъ отличается отъ всѣхъ прочихъ христіанскихъ воззрѣній тѣмъ, что ставитъ вопросъ, какимъ методомъ нужно спастись, если только благодать Господня, которая выше всего, предназначила мнѣ быть спасеннымъ. Предполагать, что я своими дѣлами могу заслужить рай, считается дерзостью, доходящей до безумія. Буду

я спасенъ или не буду, про то только Господь знаетъ, мое же дѣло — слѣдовать его заповѣдямъ. Но какъ же слѣдовать его заповѣдямъ? Надо же какой-нибудь методъ избрать? Методъ этотъ и состоитъ въ соблюденіи десяти заповѣдей ветхаго Завѣта и двухъ новаго, которыя сводятся на то, что помогай, по мѣрѣ силъ, ближнему, веди жизнь трезвую, не сквернословь, не дерись, а это переводится на то, что будь порядочнымъ человѣкомъ, т. е. работай и будь хорошимъ хозяиномъ, хорошимъ отцомъ, хорошимъ мужемъ, хорошимъ гражданиномъ, честнымъ человѣкомъ...

Честный и порядочный человѣкъ, всегда чисто умытый, прилично одѣтый, хорошо себя ведущій, не напивающійся до положенія ризъ Ѳедоръ Ивановичъ миссіонерствовалъ, проповѣдывалъ съ той аккуратностью и съ тѣмъ безстрастіемъ, которыя возможны только при методической жизни методистовъ. Былъ ужъ онъ гдѣ-то въ Пенсильваніи, какъ вдругъ господа поляки сочинили обращеніе болгаръ въ унію. Протестанты, услыхавъ объ этомъ и предполагая, что подобная вещь невозможна, рѣшили, что вмѣсто того, чтобъ обращать болгаръ въ унію, слѣдуетъ обратить ихъ въ протестантство, и сразу нагрянуло

въ Турцію нѣсколько человѣкъ англійскихъ и американскихъ миссіонеровъ. Изъ ненависти къ католицизму, миссіонеры принялись за дѣло и стали эманципировать болгаръ отъ поклоненія иконамъ, отъ моленія святымъ такъ неудачно, какъ и слѣдовало быть. Ѳедоръ Ивановичъ былъ извѣстенъ какъ человѣкъ, родившійся въ Россіи и знавшій русскій языкъ. Когда возникъ вопросъ о совращеніи болгаръ, онъ какимъ-то манеромъ узналъ, что болгаре славяне, что болгарскій языкъ славянскій, и чтобъ отличиться передъ своей церковью, вызвался быть миссіонеромъ. Центромъ его дѣятельности назначили Варну, гдѣ онъ обращалъ болгаръ въ протестантство и ни одного болгарина, разумѣется, не обратилъ, потому что изо всѣхъ славянскихъ народовъ чуть ли не самый равнодушный къ религіознымъ вопросамъ это именно болгаре. Они въ унію обращались и, пожалуй, въ хлыстовство пойдутъ во имя освобожденія отъ турокъ; но покуда они не убѣждены, что унія, хлыстовство, протестантизмъ, дѣйствительно, выручитъ ихъ отъ ярма, — пальцемъ о палецъ не ударятъ во имя богословскихъ вопросовъ. Время Богумильства и всякаго сектанства для нихъ давнымъ давно прошло.—Полу-

чать жалованье, жить на счетъ миссіи методическому человѣку, какъ Ѳедоръ Ивановичъ, не приходилось, потому что это нарушало методу, и онъ испросилъ себѣ разрѣшеніе переселиться въ Тульчу, гдѣ, во-первыхъ, есть болѣе знакомые ему русскіе, а главное дѣло, гдѣ водятся молоканы, какъ извѣстно, почти тѣ же самые протестанты.

Ничѣмъ такъ нельзя обрадовать нашего молокана, какъ сказать ему, что онъ протестантъ и что есть гдѣ-то въ Англіи и въ Америкѣ очень умные и очень хорошіе люди, которые тоже молятся не на иконы, не признаютъ святыхъ, не вѣрятъ въ мощи и считаютъ литургію, нашу умную, поэтическую литургію, излишней роскошью, что молиться можно своими словами или по псалтырю, что всѣ эти поэтическія молитвы Исаака, Сирина, Дамаскина и подобныхъ имъ святыхъ отцовъ— смертный грѣхъ. Но мучитъ и оскорбляетъ молоканъ до глубины души сознаніе того, что они все-таки мужики, а потому они принимаютъ, какъ нельзя лучше, каждаго, даже хоть на столько образованнаго господина, какъ Флокенъ, если онъ съ ними поведетъ себя какъ равный съ равнымъ. Во-первыхъ, съ американскими молокана-

ми можно потолковать о тѣхъ вопросахъ, которые для нихъ весьма трудны; во-вторыхъ, передъ ними можно похвастаться своими отрицаніями, которыя у нихъ идутъ дальше, чѣмъ у протестантовъ католической церкви. Молоканы — протестанты церкви восточной. Библія у нихъ славянская, т. е. по LXX толковникамъ; дни считаютъ по нашему календарю, носятъ русскія имена и даже справляютъ имянины, несмотря на отрицаніе святыхъ, затѣмъ считаютъ грѣхомъ бороду брить, курить, даже дошли до отрицанія водки и, вслѣдствіе происхожденія ихъ вѣры изъ іудейства и хлыстовства, не ѣдятъ свинины и если имѣютъ возможность, то заводятъ своихъ собственныхъ мясниковъ.

Пріѣздъ Флокена къ нимъ въ Тульчу, пріѣздъ, очевидно, совершившійся только для нихъ, польстилъ имъ до невозможности.

— Значитъ, это, братецъ ты мой, въ Америкѣ объ насъ знаютъ, по всему свѣту слава о молоканствѣ пошла, въ газетахъ будетъ распечатано, и теперь увидимъ, кто правѣе, мы ли, что по Семену Матвѣевичу [1]) идемъ, и дѣтей не крестимъ, или

[1]) Уклейну.

они, что крестятъ? Вонъ у нихъ пѣсни есть духовныя отъ своего ума, вотъ теперь и увидимъ, да еще покажемъ имъ, какъ это отъ писанія показано, слѣдуетъ ли отъ своего ума какія пѣсни сочинять?...

Въ это самое время (это было въ 1862 или въ 1863 г.) въ Тульчѣ находился Иванъ Кондратьевичъ, молоканскій настоятель [1]), звѣзда первой величины, который произвелъ въ Тульчѣ дѣло невѣроятное: въ Тульчѣ было и есть сорокъ молоканскихъ дворовъ, изъ которыхъ до появленія Ивана Кондратьевича вышло что-то чуть не десять «собраній» [2]). Одни расходились съ другими по вопросу о лукѣ: ѣденіе лука считали дѣломъ грѣховнымъ, потому что кто луку поѣстъ, отъ того лукомъ пахнетъ, а запахъ лука, какъ извѣстно, не совсѣмъ благоуханный. Вопросъ о лукѣ состоялъ въ томъ самомъ, на чемъ споткнулись и старообрядцы: тѣ и другіе толковали, что такое значитъ въ писаніи, что въ послѣднія времена явится корень

---

[1]) Настоятель у молоканъ то же самое, что у протестантовъ пасторъ.

[2]) Согласія, секты.

горести, выспрь прозябаяй. Старообрядцы сочинили, что это—табакъ, молоканъ угораздило принять его за лукъ. Иванъ Кондратьевичъ, человѣкъ свѣжій, все-таки родившійся въ Россіи и все-таки хоть не въ Богъ знаетъ какомъ, а не совсѣмъ въ темномъ купеческомъ молоканскомъ обществѣ выросшій, явился реформаторомъ и съумѣлъ слить всѣ эти собранія въ одно. Появленіе его въ Тульчѣ было весьма загадочно, такъ что къ нему отнесся съ большимъ уваженіемъ американскій консулъ въ Тульчѣ изъ евреевъ, который ужъ и передъ тѣмъ производилъ между нашими молоканами пропаганду совершенно своей особенной спеціальности, а именно выдавалъ имъ американскіе паспорты и дѣлалъ всякихъ Сидоровъ Петровыхъ и Петровъ Сидоровыхъ гражданами заатлантической республики. Операцію сію совершалъ онъ не даромъ, а за приличное вознагражденіе и обѣщалъ имъ какія-то невѣроятныя земли около Тульчи въ ихъ потомственное владѣніе.... Далѣе онъ предлагалъ имъ, что если они отъ своихъ единовѣрцевъ въ Россіи достанутъ деньги, то черезъ американское посольство, при помощи англійскаго и прусскаго, можно будетъ вызвать ходатайство Европы за ихъ

свободу вѣроисповѣданія въ Россіи такъ, какъ хлопочутъ протестантскія державы за свободу вѣроисповѣданія въ Испаніи или за права сыновъ Израэля въ Дунайскихъ Княжествахъ.

Великіе философы и большіе отрицатели, но все-таки прежде всего мужики, молоканы почесывали спины и говорили, что такое дѣло они въ Тульчѣ не затѣятъ, покуда не снесутся съ молоканами тамбовскими, саратовскими, кавказскими и со всѣми прочими, живущими въ Россіи. На эту пору Иванъ Кондратьевичъ и появился въ Тульчѣ. Бойкій, ловкій, искренній молоканъ, замѣчательный проповѣдникъ, онъ не могъ не сойтись съ этимъ американцемъ изъ евреевъ и не могъ не понять, что штука, предлагаемая имъ, все-таки выгодная, что если и не удастся заставить Прусію, Англію и Америку вступиться за молоканъ въ Россіи, то, по меньшей мѣрѣ, можно при этомъ самому заявить свое существованіе.

Консулъ доставилъ Ивану Кондратьевичу случай представиться въ Цареградѣ американскому посланнику, который, видя такую любопытную птицу, какъ русскій протестантъ, пригласилъ на созерцаніе его посланника прусскаго (Графа де Сенъ-

Симонъ де Брассьѐръ) и англійскаго (Бульвера), которые выслушали Ивана Кондратьевича, разумѣется, при помощи переводчика, и очень внимательно, собрали всевозможныя свѣдѣнія о молоканствѣ въ Россіи и почему-то поцѣловались съ нимъ. Это разсказывалъ мнѣ одинъ свидѣтель этого происшествія, который, къ сожалѣнію, не умѣлъ передать его подробности.

Такой замѣчательный человѣкъ, какъ Иванъ Кондратьевичъ, и такой спеціалистъ по религіозному отрицанію, какимъ былъ Ѳедоръ Ивановичъ Флокенъ, сразу же сошлись въ Тульчѣ.

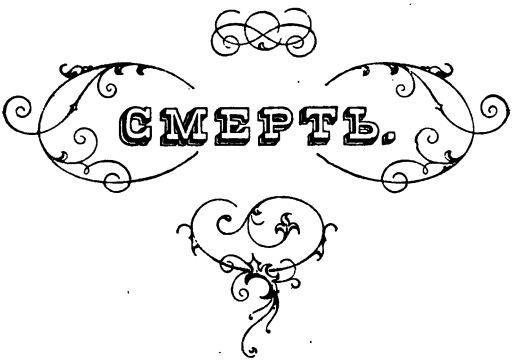
Иванъ Кондратьевичъ тотчасъ замѣтилъ, что для него, по его ученію, чрезвычайно легко сблизиться съ молоканами, такъ какъ у нихъ, кромѣ обряда, ровно ничего нѣтъ, ни одного положительнаго вѣрованія, ни одного догмата, за исключеніемъ: «вина не пей», «не сквернословь», «въ церковь не ходи», «на иконы не молись», «святыхъ въ молитвахъ не поминай», «свинины не ѣшь» и «бывай на собраніяхъ».

Флокенъ, съ другой стороны, богословъ, кромѣ библіи, ничего не читавшій, страдалъ вопросомъ о благодати и считалъ первымъ своимъ дол-

гомъ разъяснить оный Ивану Кондратьевичу. Иванъ Кондратьевичъ постигъ, что спасеніе совершается не собственными дѣяніями, а благодатью Божіей, и понялъ сей вопросъ такъ, что если есть благодать въ сердцѣ и если отъ Господа Бога онъ къ спасенію предназначенъ, значитъ, гуляй ты, душа россейская, во всѣ тяжкія, т. е., онъ понялъ его совершенно такъ, какъ могъ понять его какой-нибудь саратовскій мужикъ.

— Безъ благодати въ сердцѣ, говоритъ миссіонеръ, — нельзя добраго дѣла сдѣлать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.



IX.

Эпоха школъ.—Школа Флокеева. — Новое поколѣнье тульчанцевъ.— Настоятель молоканскій Иванъ Ивановичъ. — Учительство Краснопѣвцева. — Веревка и ремень. — Смерть.—Погребеніе.

Я ужъ говорилъ выше, что у нашихъ сектантовъ вообще, а у тульчанскихъ въ особенности нѣтъ страсти сильнѣе желанія выдти въ люди и себя показать. Двѣсти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ у насъ офиціально существуетъ расколъ, слово раскольникъ было равнозначительно со словомъ невѣжда, мужикъ, изувѣръ; имъ и хочется показать теперь, что они могутъ пользоваться такимъ же уваженіемъ, какъ раскольники западной церкви, т. е. протестанты. Ихъ обижаетъ, что протестантскую кирку можно гдѣ угодно поставить, и что кирка пользуется уваженіемъ; а домъ для собранія построить запрещается; что костелъ кра-

суется вездѣ, а моленная прячется за уголъ. Стремленіе къ образованію у всѣхъ нашихъ сектантовъ проявилось въ настоящее время до такой степени, что нынѣшнюю эпоху исторіи русскаго раскола, кажется, всего вѣрнѣй будетъ назвать эпохою школъ.

Молоканамъ хотѣлось завести свою школу, но ихъ всего въ Тульчѣ сорокъ дворовъ, и всѣ они народъ не особенно богатый, хотя и считаются въ Тульчѣ лучшими хозяевами. Чтобъ завести школу, все-таки капиталовъ у нихъ недостаточно—нехватитъ и хватить не можетъ, потому что при той трудности, съ которой полуграмотные люди раскошеливаются на всякія книжныя дѣла, они никакъ не собрали бы денегъ для заведенія училища. Американцы же, какъ и всѣ другіе протестанты, съумѣли чрезвычайно ловко соединить дѣло церкви съ дѣломъ развитія, и къ чести всѣхъ миссіонерскихъ обществъ надо сказать то, что они смотрятъ на миссіонера не столько какъ на проповѣдника ихъ сектъ, сколько какъ на распространителя цивилизаціи.

— Прежде всего, говорятъ они,—пусть учатся, а когда выучатся, тогда признаютъ наше какое-ни-

будь методистское, баптистское, наконецъ мормонское исповѣданіе...

Флокенъ и завелъ въ Тульчѣ школу и, дѣйствительно, школа вышла недурная; братъ мой былъ въ ней учителемъ, я одно время тамъ преподавалъ, Семенъ Михайловичъ—покуда Флокенъ его не выгналъ—заводилъ тамъ новую систему ариѳметики, вообще, въ школѣ проходятся: языки русскій, французскій, нѣмецкій и отчасти англійскій, ариѳметика, географія, исторія, даже геометрія, даже рисованіе и черченіе, и — молоканскіе дѣти не только не будутъ не похожи на своихъ отцовъ, но бездна между ними ляжетъ великая. При томъ образованіи, которое они получаютъ, они не могутъ не возчувствовать огромнаго уваженія къ наукѣ, и многіе изъ учениковъ, всякіе Ваньки, Сеньки, Петьки, Митьки и Гришки ужъ говорятъ по-французски, пишутъ даже по-нѣмецки, и если бы въ Тульчѣ была библіотека и туда заходили бы какія-нибудь русскія книги и газеты,—«Сынъ Отечества» — единственный органъ, получаемый въ Тульчѣ,—то новое поколѣніе тульчанскихъ обитателей со страстью вдалось бы въ изученіе нашей литературы и поняло бы всѣ наши вопросы. Но на-

шей литературы тамъ нѣтъ, за исключеніемъ весьма немногихъ книгъ, стало-быть имъ придется читать только тѣ сочиненія, которыя тамъ достанутъ, а на тридцать тысячъ жителей Тульчи не найдется болѣе пяти-шести человѣкъ, у которыхъ водятся какія-либо книги. Тамъ есть четыре медика, библіотеки которыхъ — если полку книгъ можно назвать библіотеками — состоятъ изъ сочиненій спеціальныхъ. Обратиться съ просьбою о книгахъ они могутъ только къ Флокену, а у Флокена всѣ книги иностранныя и почти исключительно богословскія, за исключеніемъ развѣ Tristram Shandy, который, и то какимъ-то совершенно неизвѣстнымъ образомъ, у него очутился — другихъ книгъ не найдется. Волей-неволей, новое поколѣніе тульчанцевъ должно проникнуться уваженіемъ ко всему западному вообще, а къ американскому въ особенности, послѣдствіемъ чего будетъ то, что всѣ представители его, какъ вышеупомянутый Гаврила Лебедь, подѣлаются методистами, и совершится это такимъ манеромъ:

Библейскія и миссіонерскія общества заводятъ школы съ весьма честнымъ желаніемъ просвѣщать всякихъ дикихъ. Кончившихъ курсъ въ этихъ шко-

лахъ, гдѣ-нибудь въ землѣ Кафровъ, въ Индіи, въ Китаѣ, въ Гренландіи, въ Добруждѣ, приглашаютъ они довершать образованіе въ бостонскихъ, ньюіоркскихъ и филадельфійскихъ университетахъ; а въ этихъ университетахъ прежде всего проходится богословіе. Стало быть тѣ Сеньки, Гришки и Ваньки, которыхъ я посвящалъ въ таинства a+b=c, c—a=b, и которые, на честное слово, вѣрили мнѣ, что Тумбукту въ Африкѣ, и что открытіе Америки послѣдовало въ 1492 г., волей-неволей подѣлаются тамъ Simon, Gregory, John. Всѣ эти питомцы Запада явятся въ Тульчу американскими подданными, распустивъ бакенбарды, въ бѣлыхъ галстукахъ, въ лакированныхъ сапогахъ. Они, безъ сомнѣнія, введутъ въ молоканство крещеніе и причащеніе, и сдѣлаются такими настоятелями, какихъ, при русскомъ складѣ ума и при русскомъ духѣ молоканства, будутъ пускать въ дома, въ какіе заперта дверь всякимъ нашимъ несчастнымъ лютеранскимъ и кальвинскимъ пасторамъ, въ которыхъ мы, кромѣ смѣшнаго, ничего не видимъ, и вслѣдствіе того никуда не приглашаемъ. На сколько тутъ интересы православія пострадаютъ, объ этомъ ужъ и говорить

нечего, но если подобное обстоятельство, какъ появленіе образованныхъ раскольниковъ, неизбѣжно, то лучше же было бы, чтобъ оно совершилось нашими собственными русскими средствами, чѣмъ вмѣшались бы въ него United States.

Случалось мнѣ наблюдать такое обстоятельство: армянинъ, григоріанскаго исповѣданія, не зная армянскаго языка, на вопросъ, кто онъ такой? отвѣчалъ мнѣ всегда — а я нарочно ставилъ такіе вопросы — «бенъ ермини имъ (я армянинъ)». Армянинъ-католикъ всегда скажетъ: «бенъ католыкъ имъ». Стóитъ болгарину, арнауту принять какую-нибудь вѣру, привезенную изъ-за границы, онъ немедленно отвергнетъ свою народность! Это доходитъ до того, что для горсти болгаръ — католиковъ, называемыхъ досихъ поръ павликіанами, даже молитвенники печатаютъ не церковными, а латинскими буквами на томъ же болгарскомъ языкѣ. Ужъ если необходимо появленіе у насъ всякихъ протестанствъ, мормонствъ и тому подобныхъ удовольствій, то ужъ лучше пусть они будутъ наши собственныя, и пусть Ванька сдѣлается Иваномъ Ивановичемъ, а никакъ не ка-

кимъ-нибудь Джонни, и Ѳедоръ никогда не достигнетъ до Фридриха...

Чтобъ ближе скрѣпить свой союзъ съ молоканами, Флокенъ предложилъ принять мѣсто учителя русскаго языка одному изъ настоятелей (пасторовъ) Ивану Ивановичу (фамиліи никакъ не могу вспомнить), человѣку развитѣйшему изо всѣхъ и бывшему въ Тульчѣ однимъ изъ лучшихъ представителей русской народности, т. е. пользующемуся большимъ уваженіемъ, и между своими, и у турокъ.—Иванъ Ивановичъ, человѣкъ очень умный, довольно добрый, но не крайне грамотный; впрочемъ, учить дѣтей азбукѣ и ариѳметикѣ онъ могъ, и его присутствіе въ школѣ, съ нѣкоторой зависимостью отъ Флокена, какъ отъ платящаго жалованье, ставило его въ зависимость отъ миссіонерскаго общества,—слѣдовательно сближало его со всѣмъ американскимъ міромъ, т. е. со всѣмъ методистскимъ.—Въ виду этого можно было разсчитывать, что и онъ признаетъ ученье о благодати, необходимость крещенія, причащенія и священства. Жалованья Ивану Ивановичу было положено одиннадцать червонцевъ, т. е. тридцать три рубля, что по Тульчѣ было суммой болѣе чѣмъ немаловажной.

Въ то самое время, когда Краснопѣвцевъ очутился у меня со своей кроткой задумчивостью и со своей хандрой, Ивану Ивановичу, у котораго довольно большое хозяйство и есть кожевенный заводъ, какъ-то понадобилось оставить школу, и ему хотѣлось найти человѣка, который могъ бы занять его мѣсто временно, за что онъ давалъ четыре червонца въ мѣсяцъ. На нашъ взглядъ было бы несправедливо работать самому за одиннадцать, и сваливать работу на другаго за четыре, почти за треть цѣны;—но что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай—судить о томъ, что происходитъ въ одномъ мірѣ, по взглядамъ другаго, несправедливо. Иванъ Ивановичъ, по тульчанскимъ понятіямъ, поступалъ безусловно честно—онъ этимъ давалъ кусокъ хлѣба бѣдняку, бездомному, безпріютному человѣку, не обижая и себя, потому что онъ имѣетъ дѣтей, которыхъ у Краснопѣвцева не было; притомъ ему, Ивану Ивановичу, большому хозяину, деньги нужны, и онъ въ правѣ предложить не только четыре червонца, но даже полтора.

Тогда мнѣ и Краснопѣвцеву это показалось, разумѣется, дико; но принять мѣсто нужно было, помимо всякихъ разсужденій, на томъ основаніи,

что Петру Ивановичу при его совѣстливости, застѣнчивости и при томъ самомъ скверномъ изо всѣхъ чувствъ, что онъ въ мірѣ человѣкъ никому не нужный, всѣмъ лишній, что онъ тяготитъ меня тѣмъ, что у меня живетъ, надо было дать какой-либо выходъ.

Преподавалъ онъ съ величайшимъ терпѣніемъ и съ величайшею кротостью. Ваньки, Мишки, Петьки, Гришки любили его какъ нельзя болѣе, потому что и не любить его нельзя было. Работалъ онъ съ 8 часовъ до 12 и съ 2 до 4-хъ. Работалъ добросовѣстно, но работа эта его тяготила. Онъ никогда ничего не говорилъ, но его мучило сознаніе того, что Флокенъ поступилъ съ нимъ несправедливо, а Флокенъ опять-таки не могъ поступить иначе, потому что въ интересахъ миссіонерскаго общества, отъ котораго онъ получалъ жалованье и для котораго онъ искренно трудился, связь съ Иваномъ Ивановичемъ была для него важнѣе, чѣмъ съ Петромъ Ивановичемъ Краснопѣвцевымъ...

Какъ всѣ люди, забитые судьбой, какъ всѣ люди, которые тяготятся своимъ существованіемъ, словомъ, какъ русскій человѣкъ, у котораго на сердцѣ свинцовая гиря лежитъ, Петръ Ивановичъ пилъ, и пилъ временами сильно...

Какъ-то разъ возвращаюсь я отъ паши. На встрѣчу мнѣ попадается Петръ Ивановичъ.

— Знаете ли вы, говорю я, — что въ вашей судьбѣ произойдетъ перемѣна? Иванъ Ивановичъ хочетъ опять возвратиться въ школу, и вамъ слѣдуетъ поискать новаго мѣста.

Онъ горько улыбнулся, сказалъ что-то обыкновенное, дѣлая видъ, что относится равнодушно къ этому извѣстію, и мы разошлись.

Проходитъ что-то недѣля. Это было, сколько помнится, въ февралѣ мѣсяцѣ 1865 г. Въ воскресенье приходитъ ко мнѣ Краснопѣвцевъ въ сильно возбужденномъ состояніи.

— Удавлюсь я, Василій Ивановичъ, удавлюсь!

— Полноте вздоръ говорить, Петръ Ивановичъ, не удавитесь, честное слово, говорю вамъ, что не удавитесь.

— Отчего вы думаете, что не удавлюсь?

— Да оттого думаю, что не удавитесь, что вы толкуете объ этомъ съ такимъ усердіемъ, что сами себѣ даже не вѣрите. Вы постоянно говорите, что вы удавитесь, а общая примѣта, что тѣ, которые много говорятъ о самоубійствѣ, почти никогда не бываютъ самоубійцами!

— А вотъ возьму и удавлюсь.

— Чтобъ прекратить разговоръ, Петръ Ивановичъ, я вамъ скажу, что я вамъ даже пособіе къ тому окажу. Я вамъ даю вотъ эту веревку, цѣлыхъ саженей пять въ длину, которая протянута въ саду, и замѣтьте, что веревка крѣпкая, новая, прочная, и что какъ петлю на ней затянете, такъ ужъ не сорветесь.

— За дружеское предложеніе, Василій Ивановичъ, благодарю васъ покорнѣйше и спасибо за угощеніе, но въ веревкѣ вашей я не нуждаюсь, потому что я этотъ вопросъ обдумалъ. Давиться слѣдуетъ не на веревкѣ,—а на ремнѣ, а ремень у меня есть; вотъ здѣсь на поясѣ.

— Почему жъ на ремнѣ?!...

— Потому, Василій Ивановичъ, на ремнѣ, что веревка все-таки изъ пакли, пакля будетъ мнѣ колоть шею, нитки будутъ рѣзать и потомъ, когда я стану болтаться, такъ веревка будетъ раскручиваться; а ремень обойметъ мнѣ шею плотно, мягко, хорошо. Вотъ на этомъ самомъ ремнѣ, помните мое слово, удавлюсь.

Затѣмъ разговоръ перешелъ на какіе-то другіе

предметы. Мы поболтали, пошутили, совершенно забыли о ремнѣ и о веревкѣ, и онъ ушелъ.

Это было въ воскресенье.

Въ понедѣльникъ, утромъ, присылаютъ ко мнѣ отъ Флокена спросить, не у меня ли ночевалъ Краснопѣвцевъ?

— Зачѣмъ ему у меня ночевать? Онъ у меня никогда не ночуетъ.

(Въ то время у него была ужъ своя квартира).

— Да онъ дома не ночевалъ!

— Куда жъ онъ дѣвался?

— Да въ томъ-то и штука, что по всей Тульчѣ ищемъ. Онъ всегда ночуетъ дома, человѣкъ акуратный, мы его ищемъ всюду, — дома не ночевалъ, въ школу не пришелъ. Сходите къ пашѣ или примите какія-нибудь мѣры, вы вѣдь казакъ-баши.

Не успѣлъ я принять этихъ мѣръ и выдти на улицу, какъ одинъ мой сосѣдъ, молоканъ, бѣжитъ и говоритъ, что на мельницѣ кто-то удавился.

Страшная мысль мелькнула у меня въ головѣ.

Сосѣдъ мой, Ицекъ, еврей-корчмарь, бѣжитъ съ мельницы.

— Слышали, кто-то удавился? Я бѣгалъ смотрѣть.

— А я только бѣгу...

— Это тотъ, что прежде у васъ жилъ. Я тоже бѣгалъ, говорили, что изъ нашихъ, и побѣжалъ посмотрѣть. По лицу, дѣйствительно, изъ нашихъ, а оказывается, что нѣтъ.

На краю города, подъ мельницей, въ снѣгу, лежалъ на спинѣ Петръ Ивановичъ съ ремнемъ на шеѣ.

Лицо было сине, глаза какъ-то прищурились, и ротъ искривился въ такую насмѣшливую улыбку, какъ будто говорилъ: «Ну, что взяли? Ну, вотъ вамъ и конецъ. Не вѣрили, что сдѣлаю, а вотъ и сдѣлалъ. Что вы тутъ около меня стоите и смотрите? Удивляетесь?»

Казалось, что онъ не мертвъ, а что только притворяется, что онъ только подсмѣивается надъ всѣми; казалось, что онъ даже съ жизнью примирился, и что вдругъ, получивши какое-нибудь невѣроятное наслѣдство или невѣроятное мѣсто, онъ торжествуетъ и съ насмѣшкой посматриваетъ на все окружающее, — торжественно, дружески, съ видомъ человѣка, который говоритъ: «Ну, вотъ я васъ всѣхъ съ носомъ оставилъ».

Оказалось по слѣдствію, что работникъ на

мельницѣ, придя туда, должно быть часовъ въ 6 утра, увидѣлъ на концѣ мельничнаго крыла удавленника. Какъ случилось, что вчера шестерни сломались, что ось крыльевъ остановилась, и какъ угораздило Краснопѣвцева повѣситься именно на концѣ мельничнаго крыла — я объяснить не могу. Почему именно на мельничномъ крылѣ рѣшилъ кончить свою жизнь этотъ добрый и смирный человѣкъ — тоже не знаю. Работникъ перепугался, снялъ его и положилъ въ сторону, перепугался еще больше, хозяину не сказалъ, сбѣгалъ въ кабакъ, выпилъ для храбрости и чтобъ душу отвести, всѣмъ разсказалъ. Слѣдствія, разумѣется, производить не нужно было никакого — я объяснилъ пашѣ, въ чемъ дѣло.

Скверное чувство хоронить товарищей, своими руками опускать въ могилу тѣхъ, съ кѣмъ жилъ, хлѣбъ-соль ѣлъ, сжился, котораго считалъ своимъ.

До похоронъ трупъ лежалъ у меня.

Эмиграція собралась на похороны, разумѣется, безъ всякихъ обрядовъ, — всѣ мы шли съ понуренными головами. Могила была выкопана за городомъ въ виноградникѣ, гдѣ-то въ полѣ, — снѣгъ

хрустѣлъ; мы несли гробъ, — принесли, — своими руками спустили въ могилу, — я плакалъ...

... Горсть эмигрантовъ, поляковъ и русскихъ, заброшенная политической волной въ какую-нибудь Тульчу, несетъ на своихъ рукахъ гробъ брата эмигранта, который умеръ на чужой сторонѣ, самъ отъ своихъ рукъ, можетъ быть, вспоминая передъ тѣмъ, какъ затягивалъ на шеѣ петлю, — отца, сестеръ, дѣтство свое, все, все самое дорогое въ жизни...

Шли мы за этимъ гробомъ, — сами изгнанники, люди, оторванные отъ своихъ родныхъ, отъ всего святаго, каждый сирота, — и чувствовали мы, что мы, волей-неволей, братья, и что несемъ брата. Чужія руки не спускали Краснопѣвцева въ могилу. Одинъ только присталъ къ намъ какой-то, Богъ знаетъ откуда, забравшійся въ Тульчу великій пьянчуга и отличный столяръ нѣмецъ, который потребовалъ, чтобъ ему дозволили оказать выходцу послѣднюю услугу: сдѣлать гробъ безплатно. Я на это согласился съ тѣмъ условіемъ, чтобы доски были мои. — Нѣмецъ этотъ провожалъ трупъ.

Какъ-то пусто стало въ нашей средѣ.

Есть родство по крови, есть родство по свой-

ству, есть родство по одинаковости занятій и есть родство по взаимности положенія. Эмигрантъ умеръ — и какъ говорятъ — каждый эмигрантъ сочтетъ себя обязаннымъ явиться на похороны. Полякъ ли онъ будетъ, венгерецъ, итальянецъ ли, русскій ли, — всѣ свои.

Даже теперь, хотя я уже не эмигрантъ, а опять гражданинъ, равноправный каждому другому гражданину Земли Русской, я едва ли воздержусь, гдѣ-нибудь за границей, не пойдти на похороны эмигранта. Девять лѣтъ прожить въ изгнаніи, среди всякихъ лишеній и нравственныхъ страданій — не улицу перейдти!..

С. П. Б.
Апрѣль и Май
1868 г.

ВОЗВРАТЪ.

Глава первая. РАЗОЧАРОВАНІЯ.

Пріѣздъ мой въ Яссы изъ Галичины. — Мое нравственное состояніе. — Цареградскія разочарованія и Тульчанскія неудачи. — Смерть своихъ. — Выѣздъ на Западъ.— Жизнь въ Вѣнѣ.—Впечатлѣнія отъ политическихъ споровъ. — Результаты.—Будущность славянства. — Поѣздка въ Галичину 1

Глава вторая. ВЪ ЯССАХЪ.

Новости изъ Россіи. — Взглядъ на Россію нашихъ заграничныхъ сектантовъ. — Наши утописты и практики. — Разговоръ съ безпоповцемъ о бунтѣ. — Филипповецъ пьетъ здоровье Синода и Государя. — Обрядность и государственный инстинктъ русскихъ. — Молдаване и Россія. — Взглядъ на насъ прочихъ народностей въ Молдавіи. 27

Глава третья. **ВОЗВРАЩЕНІЕ.**

Какъ воротиться? — Разговоръ съ консуломъ. — Упадокъ силъ. — Скопецъ Константинъ Степановичъ. — Его горе о Россіи и любовь къ ней. — Мытье коляски разрубаетъ гордіевъ узелъ.—Желѣзная музыка.— Почему пало наше торговое вліяніе на Турцію? . 61

Глава четвертая. **СДАЧА.**

Причины молчанія о сдачѣ. — Благословеніе. — Обходъ заставы. — „Здравствуй, Мать-Земля Русская!“ — Молдавскій офицеръ.—На своей почвѣ.—Изгнаніе изъ Россіи. — Хлопоты съ молдаванами. — Закадычные друзья. — Арестъ 87

Глава пятая. **АРЕСТАНТЪ.**

Заявленія. — Обыскиванье. — Бѣльцы. — Пріѣздъ въ Кишиневъ. — Полиція. — Дворянская половина. — Поступленіе въ острогъ. 109

Глава шестая. **ВЪ ОСТРОГѢ.**

Лучшее помѣщеніе. — Отчаяніе.—Окошечко.—Находки.— Обѣдъ. — Мѣры предосторожности. — Докторъ. — Бумага. — Одиночное заключеніе. — Отъѣздъ въ Петербургъ. 137

Глава седьмая. **АРЕСТОВАННАЯ ОСОБА.**

Жандармы. — Марево. — Арестованная особа. — Молоко и яйца. — Землякъ Березовскаго. — По поводу опро-

кинувшейся телеги. — Пинскія болота. — Бѣлорусы. — Близость Петербурга. — Городъ Островъ. — № 4-й 175

Глава восьмая. НА ВОЛѢ.

Освобожденіе 211

ПЕРЕЖИТОЕ.

Глава первая. ВЪ СЕМЬѢ И УЧИЛИЩѢ.

Жертвы новой русской исторіи. — Исповѣдь. — Какъ и почему я сдѣлался эмигрантомъ? — Декабристы. — Впечатлѣнія дѣтства. — Старые боги. — Натуральная школа. — Училище. — Идеализмъ и реализмъ. — Вопросы и сомнѣнія. — Урокъ географіи. — Трофеи войны. — Петрашевцы. — Французскіе романы. — Крымская война. 239

Глава вторая. ПО ВЫХОДѢ ИЗЪ УЧИЛИЩА.

Воинственныя увлеченія. — Философія Лао-цзы и маньчжурская флексія. — Правительство и общество. — Добролюбовъ. — Рукописная литература 271

Глава третья. ЗАПРЕЩЕННЫЯ КНИГИ.

Молоканскій настоятель въ Тульчѣ. — Правдоискатели. — Нигилисты. — Вѣрованія и ученье ихъ. — Прихвостни Запада. — Запрещенныя книги. 285

Глава четвертая. ПРАВДОИСКАТЕЛИ.

Правдоискатели. — Русская эмиграція. — Мое заявленіе въ русскомъ генеральномъ консульствѣ въ Лондонѣ. — Зачѣмъ я пріѣхалъ въ Турцію? — Пропаганда. — „Земли и Воли". — Атаманство. — Родовое начало и усобица. — Славяне и Варяге. — Призывъ эмигрантовъ въ Добруджу. — „Колоколъ". — Семенъ Михайловичъ Мудровъ 305

Глава пятая. МУДРОВЪ.

Зало. — Прокламаціи.—Тульчанская аристократія.—Фармазоны. — Книга попа Кузьмы. — Обрядность. — Женскій костюмъ.—Прогрессивная вакса.—Новая теорія обращенія земли вокругъ солнца. — Новое спряженіе французскихъ глаголовъ. 329

Глава шестая. ДУНАЙ.

Старецъ Никола. — Добыванье шрифта. — Дунай. — Семенъ Михайловичъ въ роляхъ гребца и кормчаго. — Орелъ - рыболовъ. — Въ Галацѣ. — Буря. — Плавня. — Саранча. — Обитатели плавни 353

Глава седьмая. КРАСНОПѢВЦЕВЪ.

Первыя впечатлѣнія новаго знакомства. — Петръ Ивановичъ Краснопѣвцевъ. — Его біографія. — Потебня. — Центральный комитетъ въ Польшѣ. — Бо́ссакъ. — Австрійская полиція. — Австрійскій острогъ. — Бѣгство. — Положеніе эмигранта на Западѣ. — Въ Парижѣ. — Угаръ. — Пріѣздъ въ Тульчу. — Замѣтные и незамѣтные люди. 383

Глава восьмая. **ЦИВИЛИЗАЦІЯ И РАСКОЛЪ.**

Ѳедоръ Ивановичъ Флокенъ. — Его біографія. — Методисты. — Болгары и унія. — Миссіонеры. — Флокенъ въ Варнѣ. — Водворенье его въ Тульчѣ. — Молокане. — Настоятель молоканскій Иванъ Кондратьевичъ. — Лукъ и табакъ. — Американскіе граждане изъ русскихъ мужиковъ. — Благодать. — Грѣхопаденье. — Пророкъ и его сподвижницы. — Гаврила Лебедь. — Школа. 405

Глава девятая. **СМЕРТЬ.**

Эпоха школъ. — Школа Флокена. — Новое поколѣнье тульчанцевъ. — Настоятель молоканскій Иванъ Ивановичъ. — Учительство Краснопѣвцева. — Веревка и ремень. — Смерть. — Погребеніе. 421

42 9

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

OCT 4 '75 H

BOOK DUE AND

JUN - 4 1979

WIDENER

SEP 10 1996

BOOK DUE

WIDENER

NOV 26 1996